This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

ДЕННИЦА.

Денница

ДЕННИЦА.

Альманахъ 1900 года,

ИЗДАННЫЙ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ

П. П. ГНѢДИЧА,
К. К. СЛУЧЕВСКАГО и
І. І. ЯСИНСКАГО.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
СКЛАДЪ ИЗДАНІЯ ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ
«НОВАГО ВРЕМЕНИ» (А. С. СУВОРИНА).

Типографія А. С. Суворина. Эртелевъ пер., д. 13

ОТЪ РЕДАКЦІИ.

исключительно участникамъ «Пятницъ» стихотворенія, повѣсти, разсказы, драматическія произведенія и историко-литературные очерки.

Завѣтная мечта редакціи—посильное воскрешеніе полузабытыхъ издательскихъ предпріятій незабвенной пушкинской плеяды. Время, минувшее съ тѣхъ дней, прошло далеко не безслѣдно для русской литературы: оно сказало свое могучее слово, преобразившее внѣшнюю сторону проявленій художественнаго творчества. Но сущность послѣдняго, во имя которой сплотился въ единое Нѣчто нашъ тѣсный кружокъ, остается неизмѣнною.

Да послужитъ-же и этому товарищескому почину маякомъ на пути къ неизмѣнно-Прекрасному неугасимая денница русской поэзіи — божественный Пушкинъ!..

ПОЭЗІЯ.

Д. Михаловскій.

Водная бездна пылаетъ въ закатѣ багряномъ,
Солнце заходитъ, прощается день съ океаномъ.

Въ горныхъ ущельяхъ давно уже ночь наступила,—
Ширится, крѣпнетъ, растетъ ея темная сила;

День убѣгаетъ отъ ней,—точно страхомъ волнуемъ,
На́скоро волны прощальнымъ даритъ поцѣлуемъ;

Гонится ночь по его лучезарному слѣду...
Вотъ онъ угасъ, и она—торжествуетъ побѣду!

Гр. А. Голенищевъ-Кутузовъ.

НА ЮЖНОМЪ БЕРЕГУ КРЫМА.

Мнѣ берегъ этотъ милъ и дикой красотой
Кругомъ столпившихся утесовъ, и узоромъ
Пестрѣющихъ холмовъ, и неба синевой,
И моря южнаго плѣнительнымъ просторомъ.
Но всѣхъ его красотъ дороже для меня—
Душѣ лишь внятное, незримое для ока—
И въ сумракѣ ночей, и въ яркомъ блескѣ дня
Дыханіе Востока!

Внимаю-ль, какъ журчатъ таинственно ручьи
Подъ влажной зеленью въ ущельяхъ межъ скалами,
Скрипучую-ль арбу встрѣчаю на пути,
Въ горахъ влачимую лѣнивыми волами,
И пѣснь унылую татаринъ въ ней поетъ;
А тамъ, гдѣ стелется по склону виноградникъ,
За стѣнкой, на конѣ, какъ призракъ, промелькнетъ
Въ чалмѣ угрюмый всадникъ...

Иль въ чуткой тишинѣ, когда угаснетъ день,
И кипарисная въ саду моемъ аллея

Кидаетъ черную, задумчивую тѣнь,
Подъ взоромъ мѣсяца въ молчаньѣ цѣпенѣя,
И тихая волна, лепеча въ полуснѣ,
Ласкаетъ край скалы, къ водѣ склоненной низко;
Все шепчетъ, говоритъ и напѣваетъ мнѣ:
Востокъ! Онъ—близко, близко...

И жадно съ берега въ таинственный просторъ
Подолгу я смотрю—и тамъ, въ дали туманной,
Красою знойною мой оналяя взоръ,
Рисуется въ мечтахъ мнѣ край обѣтованный,
Встаетъ усопшій міръ—и свѣтитъ вновь очамъ,
И просится душа на древній кличъ Пророка,
Туда,— къ развалинамъ, пустынямъ и гробамъ
Священнаго Востока!

Ялта, 1897 г.

К. Фофановъ.

СТАНСЫ.

Не золото-ли—кровь земли?
Не слёзы-ли ея—алмазы?
А мы, идущіе въ пыли,
Не жертвы-ли ея заразы?

Земля насъ, бѣдныхъ, родила;
Земля насъ, смертныхъ, уничтожитъ...
Она сокровища взяла,
Но взять любви она не можетъ!

Любовь не ей принадлежитъ,
Любовь не рождена отъ хлѣба
И снова къ небу воспаритъ,
Здѣсь созерцая волю Неба...

Гатчина, ноябрь 1899 г.

Ѳ. Черниговецъ.

На лазурномъ, безоблачномъ небѣ
Появилася черная тучка.
Разрастаясь, она охватила
Половину широкаго неба...
Вдругъ внезапно она, подъ порывомъ
Налетѣвшаго вихря, шатнулась,—
Заклубилась и вдаль понеслася.
Разражаясь раскатами грома
И зигзагами яростныхъ молній,
Пролилася она надъ полями,
Оживила поблекшія нивы
И спалила убогія хаты...
Роковыя, стихійныя силы
И бѣдою, и благомъ чреваты!

На челѣ и въ очахъ твоихъ ясныхъ
Замелькала тревожная думка,
И лицо твое, полное жизни,
Омрачилось тяжелымъ раздумьемъ:
Въ сердцѣ видимо крѣпнетъ рѣшимость,
И сверкаютъ, какъ молніи, очи!...
И куда-жъ повлечетъ тебя воля,

Подъ порывомъ нахлынувшей страсти?
Оживишь-ли ты чью-нибудь душу,
Захирѣвшую въ буряхъ житейскихъ,
Неизмѣнной любовью и лаской?..
Иль сожжешь дуновеніемъ страсти
Не одно горемычное сердце?..
Красота—сила грозной стихіи,
Равнодушной и къ злу, и ко благу!

В. Величко.

ПОТОМОКЪ ДОНЪ-ЖУАНА.

ДРАМАТИЧЕСКІЙ ОТРЫВОКЪ, ВЪ СТИХАХЪ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Донъ-Жуанъ, испанскій грандъ, 32 лѣтъ.
Пакита, третьеразрядная куртизанка, 17 лѣтъ.

Дѣйствіе происходитъ въ предмѣстьѣ Севильи, въ концѣ XVIII вѣка.

Комната Пакиты, бѣдно меблированная. Противъ сцены — окно, выходящее въ садъ, озаренный луною. Сбоку—дверь и окно, выходящія на улицу. У другой стѣны—кушетка; посреди комнаты—столъ, на которомъ видны остатки ужина. Пламя канделябра зыблется отъ дуновенья вѣтерка, вносящаго въ открытое окно бѣлые лепестки. Донъ-Жуанъ полулежитъ на кушеткѣ, нѣжно обхвативъ станъ Пакиты и прильнувъ къ ея устамъ.

ДОНЪ-ЖУАНЪ [послѣ долгаго, страстнаго поцѣлуя].

Еще, еще! [Опять цѣлуетъ.] Какъ ты ласкать умѣешь!
Мутится умъ, и сердце замираетъ,—
И кажется, что въ этомъ поцѣлуѣ
Всего себя, всю душу изолью,

И съ вѣчностью мгновеніе сольется,—
Что вспыхнетъ міръ въ сіяніи любви,
Сгоритъ въ огнѣ ея самообмана! [Цѣлуетъ.]
Пакита mia! Знаешь-ли, въ природѣ,
Въ лазури неба, солнцемъ осіянной,
Всего милѣй денница и закатъ;
Изъ поцѣлуевъ—первый и послѣдній!
Какая сладость въ первомъ поцѣлуѣ!
Онъ весь горитъ надеждой, ожиданьемъ
И, главное, сладчайшею земной
Приманкою: соблазномъ любопытства!
А любопытство!... О!... [Пакита глядитъ изумленно. Донъ-Жуанъ покровительственно смѣется.]
Не поняла?
Ну, все равно! Кто въ болтовню пустился,
Тотъ разсуждаетъ больше для себя!...
Ты главное [страстно цѣлуетъ], ты это, понимаешь,—
А прочее... довольно безразлично!... [Послѣ паузы.]
Но... любопытствомъ я не такъ прельщенъ;
Отъ частыхъ опытовъ оно слабѣетъ....
А знойный день,—разгаръ мятежной страсти,—
Что̀ краткій мигъ самозабвенья, сна!...
Нѣтъ, я люблю багрянецъ предзакатный!
Люблю, испивъ до дна восторговъ чашу,
Сливать уста въ лобзаніи прощальномъ!
Оно полно̀ воспоминаньемъ жгучимъ;
Послѣдній звукъ гармоніи любви,
Дрожа, звенитъ и—тихо замираетъ!
И въ сладостной истомѣ благодарность
Біенью сердца трепетнаго вторитъ!
Ты благодарна мнѣ?

ПАКИТА.

О, да, сеньоръ! [Восторженно.]
Самъ Донъ-Жуанъ, котораго всѣ дамы...

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Ха, ха, ха, ха! Не то, совсѣмъ не то!
Цвѣточекъ мой! Опять не понимаешь!
Скажи мнѣ просто,—любишь хоть немножко?
Скажи,—тебѣ хоть кажется, что любишь?!

ПАКИТА.

О, да, сеньоръ! Да изъ-за васъ всѣ дамы,—
И знатныя какія!—на клочки
Готовы изорвать и съѣсть другъ друга!
И, говорятъ, предъ ликомъ Приснодѣвы
За васъ сама супруга командора
Все теплитъ свѣчи, плачетъ....

ДОНЪ-ЖУАНЪ [нахмурившись].

Замолчи!... [Ласково.]
Я отдохнуть пришелъ къ тебѣ, малютка,
Пришелъ искать свободную любовь,
Иль призрака любви недостижимой,—
Безъ глупыхъ слезъ, торжественныхъ обѣтовъ,
Зароковъ, клятвъ, приличій, предразсудковъ,
Рабовладѣльческихъ лукавыхъ чаръ
И моря лжи,—моей, чужой... и всякой!...
[Встаетъ и нервно ходитъ по комнатѣ, потомъ останавливается.]
Ты думаешь, онѣ *меня* любили?!...
Нѣтъ, не меня! Легенду обо мнѣ! [Смѣется злобно.]
Совсѣмъ, какъ ты! [Передразниваетъ ее фальцетомъ.] «Да изъ-за
васъ всѣ дамы»!... [Смотритъ на нее съ ненавистью.]

ПАКИТА [въ испугѣ].

Сеньоръ... Я глупость, можетъ быть, сказала...
Простите мнѣ! [Собирается заплакать.] Обидѣть васъ, повѣрьте,
Я не хотѣла! [Плачетъ.]

ДОНЪ-ЖУАНЪ [нѣжно обнимаетъ ее].

Нѣтъ, mio tesoro!
Нѣтъ, я шучу! [Кладетъ ей руки на плечи.] Ты мнѣ скажи одно:
Что̀, если-бъ я,—да, я, вотъ этотъ самый,—
Былъ не безпутнымъ грандомъ Донъ-Жуаномъ,
Предметомъ сплетенъ, зависти и басенъ,—
А пастухомъ... Энрико или Хозе...
Тамъ, гдѣ-нибудь, въ ущельяхъ нашей Сьерры,
И мы съ тобой тамъ встрѣтились,—скажи,
Могла-бы ты... любила-бы, такъ пылко
Ласкала-бы, какъ нынѣ?...

ПАКИТА [глядитъ секунду ему въ глаза и порывисто кидается къ нему на шею].

О, сеньоръ!
Да кто-же васъ... [Страстно цѣлуетъ.] Красавецъ мой! Блаженство!

ДОНЪ-ЖУАНЪ [отвѣчая на ласки].

Нѣтъ, ты не лжешь! Не знаю, почему,—
Но вѣрю я тебѣ! Такъ слѣпо вѣрю,
Какъ никогда! Ты правдой дышешь вся,—
Ты, на кого взглянуть не захотѣли-бъ
Всѣ эти... эти нѣжныя кривляки!

[Проходитъ съ Пакитой по комнатѣ, а затѣмъ садится, обнявъ ея станъ, и глядитъ ей въ глаза.]

ПАКИТА [дрожащимъ голосомъ, стыдливо опуская глаза].

Сеньоръ!...

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

О, какъ ты дивно хороша!
Душой дитя, а страстію вакханка!
Я изъ твоихъ объятій выхожу,—
Какъ-бы изъ волнъ, кипучихъ и бодрящихъ,

Сверкающихъ жемчужнымъ переливомъ!
Изъ томныхъ кущъ садовъ благоуханныхъ,
Мечтательной луною осіянныхъ!
Изъ пурпура чарующей зари!...
Кто научилъ такимъ волшебнымъ ласкамъ
Тебя, дитя?! Никто! Сама природа:
Лазурь небесъ, цвѣты, потоки, птички!...
И что̀ во мнѣ сильнѣе говоритъ,—
Я не пойму: истома сладострастья,
Мечта любви, иль смутный откликъ счастья?!
Унылый духъ внезапно пробужденъ
Уже давно невѣдомымъ желаньемъ!

[Цѣлуетъ ее и потомъ на минуту задумывается.

Хочу съ тобой, какъ съ другомъ, говорить!
Немного вѣдь друзей у Донъ-Жуана!

ПАКИТА.

Такой сеньоръ! Ужели?

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Ты не спорь!
Такихъ, какъ я, любить... никто не станетъ!
Да, можетъ быть, мнѣ дружбы... и не надо...

ПАКИТА.

Вѣдь вы-же добрый, ласковый...

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Пожалуй...
Да, я не злой.. Отъ скуки мнѣ случалось
И помогать...

ПАКИТА [радостно].

Не дальше, какъ сегодня!

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Почемъ ты знаешь?

ПАКИТА.

Старая Лучилла
Вѣдь только-что была здѣсь передъ вами:
Пролепетать въ восторгѣ чуть могла,—
Пришла сказать, что больше ей не нужно
Ничьихъ подачекъ! Вы озолотили...

ДОНЪ-ЖУАНЪ [разсѣянно].

Ахъ, нищенка?... Ну, это пустяки!
Къ тому-жъ она по своему типична:
Глаза! Лохмотья! Просится къ Рибейрѣ
На полотно! Ну какъ ей не подать?!

ПАКИТА.

Вамъ всѣ грѣхи отпустятся за это...

ДОНЪ-ЖУАНЪ [насмѣшливо].

Да, будь богатъ—и все тебѣ простятъ!
Недорого-жъ ты цѣнишь всепрощенье!..

ПАКИТА [съ убѣжденіемъ, наивно].

Вы добрый!...

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Полно!.. [Послѣ паузы.] Знаешь-ли, дружокъ,
Теперь ужъ нѣтъ костровъ, допросовъ, пытокъ!
Хоть взять меня: самъ грозный Торквемада,
Когда-бъ воскресъ и къ намъ сюда явился,—
Меня не сталъ-бы ревностно ловить,
Чтобъ снарядить поспѣшно къ вѣчной жизни,
Какъ пращура когда-то моего!
О вѣрѣ всѣ свободнѣй разсуждаютъ...

ПАКИТА [со вздохомъ].

Ужасно, да!

ДОНЪ-ЖУАНЪ [смѣясь].

Такъ вотъ, одинъ пріятель
Мнѣ предсказалъ, что на томъ свѣтѣ мнѣ
Предрѣшено въ собаку воплотиться
Да за грѣхи вилять хвостомъ и бѣгать
По улицамъ среди влюбленной своры...
Ну, а за то, что былъ я добродушенъ
Хоть иногда,—лизать у нищихъ раны,
Примѣръ благой двуногимъ подавать!...

ПАКИТА [въ ужасѣ].

Испанскій грандъ... въ собаку превратится?!
До этого предъ Богомъ не допуститъ
Санъ-Мигуэль, влюбленныхъ покровитель!
Какъ вамъ не грѣхъ... Какъ вамъ не грѣхъ, сеньоръ,
Надъ бѣдной дѣвушкой смѣяться?!...

ДОНЪ-ЖУАНЪ [цѣлуя ее].

Ладно!
Я пошутилъ!... Поговоримъ серьезно...
О небесахъ мы разсуждать не станемъ,
А на землѣ Санъ-Мигуэль твой плохъ,
Иль помощи его я недостоинъ!...

ПАКИТА.

Опять меня пугаете, сеньоръ!
Оставьте-же! И будемъ веселѣе!
[Подбѣгаетъ къ столу, наливаетъ два стакана вина, подноситъ Донъ-Жуану и чокается съ нимъ.]
Стаканъ вина! Пьемъ за любовь! [Капризно.] Ну, что-же?!

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Пью за тебя! [Иронически.] Любовь! Насмѣшка злая!...

ПАКИТА.

Неблагодарный! Чуть не вся Севилья...

ДОНЪ-ЖУАНЪ [саркастически хохочетъ].

Что́ всѣ онѣ любовью называютъ,
Чѣмъ мучаютъ и мучатся за что?!
[Злобно глядя въ пространство, говоритъ быстро и прерывисто.]
Взять на арканъ, принизить человѣка,
Опутать сѣтью страховъ, ласкъ, упрековъ,
Какъ на статьяхъ придирчивыхъ закона,—
На преходящей страсти, на грѣхѣ,
На лжи построить храмъ, возжечь куренья
И плоть свою воздвигнуть, какъ кумиръ!..
[Ходитъ по комнатѣ.]
Ты полюбилъ,—такъ стой-же на колѣнахъ,
Ни о другихъ, ни о другомъ не думай!
Забудь стремленья, знанье, совѣсть, честь!
Въ Мадонну вѣришь,—позабудь Мадонну,
Иль пріурочь къ служенью своему!
Умѣй ласкать обманутаго мужа
И свѣту лги, какъ рыцарь благородный!
А главное—кумиръ боготвори
Безъ устали, безъ разума, безъ мѣры!
Не то—попреки, ревность и угрозы
Самоубійствомъ! Глупыхъ слезъ потоки—
И нѣтъ конца скорбямъ самолюбивымъ!
А что́ въ душѣ? Куда веселье скрылось?—
Не все-ль равно?!... И смыслъ, и цѣль въ одномъ:
Пригнуть къ землѣ, сдавить тебя и съузить!...
[Садится рядомъ съ Пакитой.]

Какъ ты сейчасъ сказала презабавно,—
Испанскій грандъ, въ собаку превращенный!
Виляй хвостомъ—и со двора ни-ни!...
Какое море глупости и скуки!
Кто далъ права мгновенному на вѣчность,
Кто можетъ сердце въ цѣпи заковать?! [Иронически.]
Любовь, любовь!... [Страстно цѣлуетъ ее.]
Вотъ я тебя люблю
За то, что ты боишься святотатства,
Не хочешь красть ни воли, ни души,
За поцѣлуй заплатишь поцѣлуемъ,
На вспышку страсти—пламенемъ отвѣтишь!
За время, жалкое условье жизни,
Возьмешь презрѣнные червонцы.... Да!
Чуть не забылъ! [Достаетъ кошелекъ и хочетъ вручить его Пакитѣ.]

ПАКИТА [отодвигаясь, машетъ рукой].

Не надо! Нѣтъ, не надо!...

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Ну, что̀ за вздоръ?! Бери, моя краса!
Безъ глупостей!

ПАКИТА [плачетъ].

О, Донъ-Жуанъ! Мнѣ больно!..
Я... не могу... отъ васъ...

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Вѣдь кушать надо!
Нужны тебѣ мантильи, вѣера...

ПАКИТА.

Сеньоръ!.. Клянусь...

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Бери-жъ! О чемъ ты споришь?!
Стыдишься, что-ль?!.. Э!.. Всѣмъ должно быть стыдно,
Кто грѣшенъ въ томъ, что держитъ эту гадость [указываетъ на деньги].
И служитъ ей, иль ею покоряетъ
Живыхъ людей и волю ихъ гнететъ!..
Вотъ я и грандъ, а ты... торгуешь тѣломъ...
И что-жъ?!.. Мой прадѣдъ въ Мексикѣ набралъ
У дикарей кровавую добычу—
И такъ запасливъ былъ, что грабежомъ
На много лѣтъ потомковъ осчастливилъ! [Кладетъ кошелекъ вторoну.]
И покупать могу я, что̀ угодно...
Кто чистъ изъ насъ?! Кому стыдиться надо?! [Машетъ рукой и подставляетъ стаканъ.]
Ну, дай вина! Запьемъ весь этотъ вздоръ!

ПАКИТА [грустно, наливая вино].

Сеньоръ! Меня не любите вы!... Впрочемъ,
Ка̀къ я глупа! Какая тутъ любовь?!
Вѣдь мы сегодня..... видѣлись впервые!...
Сегодня здѣсь,—а завтра вы... [Плачетъ.]

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Не плачь! [Вторoну.]
Каррамбо! Ну, зачѣмъ онѣ всѣ плачутъ?!
И эта тоже!.. [Къ ней.] Милая, пойми!
Не все-ль равно: минута, годъ, полвѣка?!
Все—краткій мигъ!.. Лишь не было-бы лжи!
[Выпиваетъ залпомъ вино и ставитъ стаканъ на столъ. Потомъ садится къ ней.]
Видала-ль ты, какъ тучъ перистый свитокъ,
Вдругъ озаренъ сіяніемъ денницы,

Насквозь проймется розовымъ огнемъ
И поплыветъ въ восторгѣ по лазури?
Вотъ мигъ любви! Продлить его отраду,
Иль сократить—по силамъ лишь судьбѣ!..

ПАКИТА.

Но счастья нѣтъ, когда столь мимолетно...

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Дитя! Найди, гдѣ счастье на землѣ?!
Все призрачно, какъ сонъ, и быстротечно!..
Сегодня мы съ тобою повстрѣчались—
И вотъ, простимся, можетъ быть, навѣки...

ПАКИТА [судорожно обнимая его].

Нѣтъ, нѣтъ, Жуанъ! Я... не могу...

ДОНЪ-ЖУАНЪ [всторону, съ досадой].

Опять!..

ПАКИТА [съ ужасомъ].

Придетъ... другой!.. Я не хочу...

ДОНЪ-ЖУАНЪ [въ гнѣвѣ].

Довольно!
Не о другихъ пришелъ я говорить! [Хватаетъ кошелекъ.]
Возьми-жъ свои червонцы!

ПАКИТА [всторону, восторженно].

Онъ ревнуетъ!
О, счастье! [Къ нему.] Милый, ты вѣдь не спѣшишь?!
[Беретъ кошелекъ.]
Ну, я возьму! [Бросаетъ кошелекъ въ уголъ комнаты.] Забросимъ
ихъ подальше!
Вотъ такъ!.. Теперь... Не взять-ли мнѣ гитару?

Я много знаю пѣсенъ барцелонскихъ!
Вѣдь я сама...

[Хочетъ достать со стѣны гитару. Въ это время съ улицы доносится звучный голосъ, поющій народную пѣсню.]

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Постой! Поютъ!.. Послушай!..

[Обхвативъ ее за талію, подходитъ къ окну.]

ПѢСНЯ [постепенно удаляется].

«Дремлетъ Сьерра-Невада,
Бродитъ сизый туманъ.
Блееть бѣлое стадо...
Я веду караванъ.

«За барановъ моихъ круторогихъ
И за муловъ моихъ крѣпконогихъ
Я піастровъ златыхъ получу—
И по тропкамъ знакомымъ, по кручамъ,
На конѣ серебристомъ, летучемъ,
Я, какъ вѣтеръ, домой прилечу!

«Дома—тишь и прохлада!
Плещетъ рѣчки волна...
Кто стоитъ тамъ, у сада?—
Ты, красотка-жена!»

[Хоръ подхватываетъ послѣднюю строчку каждаго куплета. Поющіе удаляются. Пакита, слушавшая въ волненіи, срываетъ гитару со стѣны и продолжаетъ пѣсню.]

ПАКИТА [поетъ].

«Поцѣлуешь, обнимешь, а дѣти,—
Наши дѣтки всѣхъ лучше на свѣтѣ,—
Прибѣгутъ шаловливой гурьбой!..

И какъ-будто я не былъ въ дорогѣ,—
Отъ вина разгуляются ноги,
И споемъ, и попляшемъ съ тобой!..

«Горе черною тучей
Отлетитъ далеко!
Все съ виномъ и качучей,
Все съ любовью легко! .»

[Садится въ раздумьѣ на кушетку.]

ДОНЪ-ЖУАНЪ [подходя къ ней и садясь].

Да, милый другъ! Пожалуй, въ этомъ счастье!
Сойдутся люди—и другъ другу скажутъ:
—«Давай дѣлить и трудъ, и скорбь, и радость!
Совьемъ гнѣздо... Тепло и мягко будетъ...
Мы птенчиковъ хоть пару заведемъ,
Здоровенькихъ, и пухлыхъ, и румяныхъ:
Алонзо-сынъ, торреадорикъ съ виду,
А дочь-пѣвунью назовемъ Пепитой...
Ты будешь кружева плести, и въ домѣ,
И въ садикѣ возиться цѣлый день,
И козъ доить, и корму сыпать муламъ;
А я стада къ Невадѣ погоню,
Тесать я буду камни на дорогѣ,
Иль поступлю къ алькаду въ писаря.
И заживемъ! По вечерамъ мы будемъ,
Когда не слишкомъ сонъ насъ одолѣетъ,—
И пить, и пѣть, плясать и цѣловаться!
А подростутъ Алонзо и Пепита,—
За насъ пускай потрудятся тогда,
А мы себѣ на солнцѣ грѣться будемъ!»...

[Пакита плачетъ.]

Но что съ тобой, дитя мое? Ты плачешь?..

ПАКИТА.

Такъ, ничего... Я вспомнила... Пройдетъ...

ДОНЪ-ЖУАНЪ [отечески].

Ка́къ надъ тобой судьба, однако, шутитъ!
Ты создана для радостей семьи,—
А между тѣмъ... ты здѣсь!.. А сколько гордыхъ
И знатныхъ дамъ, которымъ все дано,—
Матроны съ виду, сердцемъ... куртизанки!

[Цѣлуетъ ей руку]

Ты лучше тѣхъ, что за меня въ соборѣ
Предъ статуей Мадонны свѣчи жгутъ!..
Скажи мнѣ, какъ попала ты въ...

ПАКИТА.

Въ несчастье?
Мать умерла... Отецъ мой былъ убитъ...

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Онъ, вѣрно, былъ... бандитомъ?

ПАКИТА.

Нѣтъ, товары
Онъ по ночамъ возилъ съ чужихъ судовъ...
А занимался больше рыболовствомъ...
Ну, вотъ, къ нему придрались альгвазилы—
И...

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Понимаю!..

ПАКИТА.

Братъ былъ у меня,
Красавецъ—братъ! Онъ хоть погибъ со славой!
Онъ былъ однимъ изъ видныхъ бандрильеровъ—

И быкъ его рогами на аренѣ
Пронзилъ... Ка́къ всѣ тогда рукоплескали!
Цвѣтовъ, цвѣтовъ мнѣ сколько нанесли!..
[Послѣ минуты раздумья.]
Потомъ... потомъ...

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Ну, прочее понятно...
[Нѣжно.]
Дитя мое! Не знаю, почему,—
Ты дорога, безмѣрно дорога мнѣ!
Какъ дочь, какъ другъ, какъ милая сестра!
[Цѣлуетъ ее въ лобъ.]
И какъ-то... стыдно мнѣ передъ тобою!..
Ты хочешь быть моей сестрой и другомъ?

ПАКИТА [растроганно].

Ахъ, мой сеньоръ!.. [Донъ-Жуанъ нѣжно ее обнимаетъ.]

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Душою сиротливой
Хочу къ тебѣ прильнуть...

ПАКИТА [задумчиво].

Сеньоръ... Скажите...
Мнѣ мысль одна пришла, Богъ вѣсть, съ чего...
Вѣдь вы любили много... Дѣти... были?
У васъ... есть дѣти?..

ДОНЪ-ЖУАНЪ [вздрогнувъ, въ волненіи].

Ты откуда знаешь?!.. [Глухо.]
Да, дочь была...

ПАКИТА.

Она жива?

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Не знаю...

[Отходитъ къ столу, садится спиной къ Пакитѣ и украдкой подноситъ платокъ къ глазамъ. Послѣ минутнаго молчанія, Пакита подбѣгаетъ къ нему и нѣжно его обнимаетъ.]

ДОНЪ-ЖУАНЪ [неискренно смѣется и машетъ рукой].

Э! Пустяки! Я что-то слабъ сегодня!
Не узнаю себя! [Пакита предлагаетъ вина.]
Налей, пожалуй! [Смакуетъ вино и смотритъ, прищурясь, на свѣтъ.]
Прекрасный цвѣтъ. Приличный аликанте! [Ѣстъ виноградъ.]
И виноградъ отмѣнный у тебя!..
Ну, спой теперь! Недолго до разсвѣта!
Что-жъ ты молчишь?

ПАКИТА [въ грустномъ раздумьѣ].

Я думала всегда,
Что Донъ-Жуанъ—счастливецъ несравненный:
Богатъ, любимъ и всѣми избалованъ!..
А вотъ теперь выходитъ...

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Что несчастенъ?..
Не знаю, право, есть-ли счастье въ мірѣ?..
Пожалуй,—то, о чемъ сейчасъ намъ пѣли...

ПАКИТА [оживляясь].

И вы могли-бъ! У васъ богатство, все!..
Дворцы, помѣстья! Не къ чему работать...

ДОНЪ-ЖУАНЪ [мрачно].

этомъ-ли бѣда?!..
ѣствіе... и дѣти...

Нѣтъ, не могу!.. Я не такой породы!..
Слыхала-ль ты о пращурѣ моемъ?
Мой предокъ...

ПАКИТА.

Кто?

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Донъ-Мигуэль Маньяра...

ПАКИТА [весело, всплеснувъ руками].

Ахъ, Боже мой! Какъ это интересно!
Онъ пращуръ вашъ?! Да какъ-же не слыхать?!
Вѣдь я о немъ наслушалась преданій
Въ монастырѣ, гдѣ грамотѣ училась!
Какой онъ былъ красивый и... жестокій,
Сердецъ какъ много женскихъ онъ разбилъ,
И какъ владѣлъ онъ шпагой въ совершенствѣ!
Бывало, намъ игуменья сама
Разскажетъ все, потомъ начнетъ креститься
И говоритъ:—«Не думайте о немъ!
Вѣдь сатанѣ не долго и подслушать!»...

ДОНЪ-ЖУАНЪ [хохочетъ].

Вотъ хорошо! Сама-же разсказала,—
А послѣ вамъ и думать не велитъ!

ПАКИТА [наивно].

Ну, это такъ... она для поученья...

ДОНЪ-ЖУАНЪ [насмѣшливо].

Для поученья!... Дѣдъ былъ въ томъ-же духѣ!
Онъ былъ морякъ и—зналъ всѣхъ женщинъ міра:
Зеленыхъ, красныхъ...

ПАКИТА [въ ужасѣ].

Неужли́ зеленыхъ?!
Должно быть, грѣхъ! [Крестится.]

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Лиловыхъ, темнобурыхъ...

ПАКИТА [дѣлая гримасу].

Опять насмѣшки!

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Воинъ смѣлый былъ:
За короля погибъ и за отчизну!

ПАКИТА.

Вотъ хорошо! И вамъ-бы послужить!
Вы были-бы Испаніи красою!..

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

За короля онъ умеръ... А притомъ
Ухаживалъ весьма за королевой
И, говорятъ, съ такимъ большимъ успѣхомъ,
Что поддержать династію съумѣлъ...

ПАКИТА [нравоучительно и наивно].

Какъ хорошо! Ему грѣхи Мадонна
За это всѣ...
[Донъ-Жуанъ хохочетъ. Пакита обиженно.]
Чему смѣетесь вы?!

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Ха-ха-ха-ха! Невинна, какъ ребенокъ!
[Нѣжно цѣлуетъ ее и опять хохочетъ. Вдали слышенъ благовѣстъ. Донъ-Жуанъ омрачается.]
А я... Меня избаловали рано

И научили лгать, лукавить, мучить
И съ тѣмъ шутить, что̀ шуткамъ недоступно!
Что дѣлать?!. Всѣ, всѣ требовали лжи,
И вѣчныхъ клятвъ, и страсти неизмѣнной!
Вначалѣ самъ летѣлъ на это пламя
И жадно самъ искалъ такой любви,
Въ которой грѣхъ былъ жгучею приправой!..
Потомъ... привычка... можетъ быть, и кровь...
Должно быть, предкамъ это легче было:
Они не знали мыслей неотвязныхъ,
Ни слабости!.. Попроще были тѣ!..
Я самъ порой не радъ,—а вотъ, невольно,
Само собою какъ-то...

ПАКИТА [кладетъ ему руки на плечи].

Донъ-Жуанъ!
А можетъ быть, еще не поздно...

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Поздно!
Нѣтъ! Насъ съ тобой въ одинъ толкнули ѡмутъ:
Тебя—нужда, меня—моя судьба!..
[Нахмурившись, смотритъ на часы, потомъ подходитъ къ зеркалу и крутитъ усы.]
Прощай, дружокъ! Пора!..

ПАКИТА [бросаясь къ нему].

Постой! Куда ты?!
О, Донъ-Жуанъ! Любимый! Погоди!

ДОНЪ-ЖУАНЪ [насмѣшливо и раздражительно].

Нельзя! Тамъ ждутъ!..

ПАКИТА [тревожно].

Кто?!

ДОНЪ-ЖУАНЪ [указывая въ сторону, откуда доносится звонъ.]

Колоколъ соборный!

ПАКИТА [про себя, прерывисто].

Она! Она!.. [Бросается на кушетку ничкомъ и рыдаетъ.]

ДОНЪ-ЖУАНЪ [всторону, раздражительно].

И тутъ не избѣжишь!..

[Подходитъ къ ней, выраженіе лица его смягчается, и онъ гладитъ ее по головѣ.]

Совсѣмъ дитя! И любитъ какъ! Пакита!..
Не плачь, мой другъ! Я, можетъ быть, приду!
Ну, я приду навѣрно! [Беретъ ее за плечо.]
Слышишь?! Полно!..

ПАКИТА [безсвязно.]

Я... н-ничего!.. Я знаю... Я не смѣю... [Бросается къ нему на шею.]
Я объ одномъ прошу тебя, Жуанъ!
[Снимаетъ съ шеи образокъ и отдаетъ его Донъ-Жуану.]
Вотъ образокъ Сантъ-Яго... Обѣщайте,
Что будете всегда...

ДОНЪ-ЖУАНЪ [цѣлуетъ образокъ и надѣваетъ].

Благодарю!

ПАКИТА.

Съ нимъ мой отецъ всегда былъ неразлученъ...
Забылъ надѣть лишь разъ и—былъ убитъ!..
Носите!.. Я прошу лишь...

ДОНЪ-ЖУАНЪ [фатовато, надѣвъ шляпу и подойдя къ двери].

А не просишь,
Чтобъ я пришелъ?

ПАКИТА [полушепотомъ, въ волненіи].

Какъ знаете!.. [Крѣпко обнимаются.]
Идите!..

[Легонько выталкиваетъ его въ дверь.]

ДОНЪ-ЖУАНЪ [изъ-за сцены].

Прощай, сестра!

ПАКИТА [посылаетъ въ его сторону воздушный поцѣлуй].

Прощай, fratello mio!..

[Садится и задумывается. Звонъ колокола все громче. На дворѣ почти разсвѣтало.]

ГОЛОСЪ НИЩАГО СЪ УЛИЦЫ.

Подайте мнѣ, кто вѣруетъ въ Мадонну!
Слѣпцу подайте именемъ Христа!

[Пакита вздрагиваетъ, хватаетъ кошелекъ съ полу и подаетъ его въ окно.]

Спасибо вамъ! Господь васъ не оставитъ!

ПАКИТА

[Опять садится у стола и задумывается, широко раскрывъ глаза. Потомъ замѣчаетъ забытый на столѣ платокъ и схватываетъ его.]

Его платокъ! [Цѣлуетъ и прячетъ въ корсажъ.]
Бѣдняжка Донъ-Жуанъ!..

ЗАНАВѢСЪ.

Пассанауръ, Тифлисской губ.
Сентябрь 1899 г.

А. Будищевъ.

I.

ОТШЕЛЬНИКЪ.

1.

Господь! Укрой меня десницею святою,
Стопы нетвердыя на путь благой направь,
Дай силы, крѣпость дай, горѣть лишь предъ Тобою
И отъ лукаваго избавь!
Всю ночь безъ сна стою я на молитвѣ,
Звеня веригами, во мракѣ стѣнъ нѣмыхъ...
Мнѣ тяжко, Господи, мнѣ трудно въ этой битвѣ
Съ воспоминаньемъ лѣтъ былыхъ.
И тщетно я всю ночь, одѣтый власяницей,
Въ слезахъ взываю предъ Тобой:
Отъ козней дьявола Твоей святой десницей
Укрой!

2.

Какая ночь! Мнѣ душно, душно въ кельѣ;
Я распахнулъ окно; прохлада притекла:
И вспомнилась мнѣ ночь, когда въ живомъ весельѣ
Душа всѣ радости пила.

Со мною ты была; пастушеской свирѣли
Унылый звукъ намъ вѣтеръ приносилъ...
Какою ласкою глаза твои горѣли,
Какъ счастливъ я былъ тамъ, какъ я тебя любилъ!

3.

Но, Боже! Прошлое забыть я долженъ нынѣ,
Съ прошедшимъ порвано послѣднее звено,
Я самъ пришёлъ сюда — къ таинственной пустынѣ,
Гдѣ слово Господа лишь бодрствуетъ одно.
Исчезни, сатана, передъ лицомъ Господнимъ,
Какъ исчезаетъ дымъ отъ свѣтлаго огня!
Скитайся тамъ, внизу, по мрачнымъ преисподнямъ,
А здѣсь видѣньями не искушай меня!

4.

Пора уснуть! Но сна боюсь я, Боже!
Лишь только сонъ глаза закроетъ мнѣ,—
Безумная мечта придётъ ко мнѣ на ложе
И рѣчи дикія зашепчетъ въ тишинѣ...

Но я усталъ. Покровы власяницы
Отъ плечъ до пояса изрѣзали мнѣ грудь...
Нѣтъ силъ... Смыкаются усталыя рѣсницы...
Пора уснуть!..

5.

О, счастье! Мы одни надъ тихою рѣкою!
Надъ нами—небеса, предъ нами—лунный мостъ.
Ни звука. Небеса бесѣдуютъ съ землёю.
И только тишина да ты, да очи звѣздъ!
Сядь ближе! Вотъ сюда! Дай руки, эти руки;
Онѣ мои,—неправда-ли, мои?
Я ихъ купилъ за дни невыносимой муки,
За слёзы, за позоръ любви!
Я ихъ купилъ за жизнь! Я ихъ добуду кровью,
Желѣзомъ и огнёмъ! За мой загробный рай!..

Соблазнъ... О, Господи! Укрой святой любовью!..
Прощай, далёкая, прощай!..

II.

* *
*

Ты, какъ тѣнь, замерла на порогѣ,
Я иду,—не могу не идти...
Видно, боги, всесильные боги,
Не хотятъ насъ сегодня спасти!

Ты меня цѣлый день избѣгала,
Я не шелъ, хоть горѣлъ, какъ въ огнѣ...
О, какою ты блѣдною стала!
Эти слезы—зачѣмъ-же онѣ?

Ты страдаешь? Мы оба преступны?
О, не мучь?.. О, отвѣть мнѣ!.. Спаси!..
Коль тебѣ эти чары доступны,—
И любовь, какъ свѣчу, погаси!

Иль не надо! Не надо, не надо
Ни мучительныхъ слёзъ, ни борьбы!
Пусть любви всемогущей отрада
Намъ не дастъ убѣжать отъ судьбы!

Пусть грозы отшумѣвшей зарница
Озаряетъ сквозь кружево шторъ
Виноватыя, блѣдныя лица
И, какъ звѣзды, мерцающій взоръ!..

В. Шуфъ.

* *
*

Нынче печальны мы оба:
Сердце и я.
Та-же въ насъ горечь и злоба,
Та-же тоска бытія.

Жили мы, помню, давно-ли
Съ сердцемъ въ-разладъ?—
Я не давалъ ему воли,
Билось оно невпопадъ.

Зналъ я, что чувства и страсти —
Хламъ и тряпье...
Было безумно отчасти
Сердце мое.

Плакало сердце, любило,
Горекъ былъ смѣхъ.
Сердцу невесело было,
Я — улыбался при всѣхъ.

Нынче-жъ такъ горько и скверно
Въ сердцѣ моемъ,
Что, согласившись, навѣрно,
Оба мы скоро умремъ.

---

3. Гиппіусъ.

Порой всему, какъ дѣти, люди рады
И въ легкости своей живутъ веселой.
О, пусть они смѣются! Нѣтъ отрады
Смотрѣть во тьму души моей тяжелой.

Я не нарушу радости мгновенной,
Я не открою имъ дверей сознанья
И нынѣ, въ гордости моей смиренной,
Даю обѣтъ великаго молчанья.

Въ безмолвьѣ прохожу я мимо, мимо,
Закрывъ лицо,—въ неузнанныя дали,
Куда ведутъ меня неумолимо
Моей души послѣднія печали.

Гарри.

ЧЕТЫРЕ СОНЕТА.

1.

Едва тобою душу озарило,
Уже мечтѣ открылся міръ иной,
И все, что сердце въ лучшихъ снахъ любило,
Блеснуло въ немъ завѣтною звѣздой.
Прозрачный лучъ отраднаго свѣтила!
Прильни ко мнѣ — и путь къ нему открой,
Чтобъ стало вновь, что сердцу близко было,
Возвращено далекою тобой.

Воздушныхъ грезъ благоуханнымъ нивамъ
Отдамся весь, средь дольнихъ нивъ скорбя,
И пусть душа, въ томленіи счастливомъ,
Несется къ нимъ, пылая и любя
Однимъ, безумно-сладостнымъ порывомъ—
Далекій міръ и близкую тебя.

2.

Жемчужныхъ облаковъ воздушная семья
Несется, вольная, какъ птицъ весеннихъ стая,
Но упоенная, блаженствуя и тая,
На землю падаетъ, алмазы слезъ лія.
Къ запекшимся устамъ цвѣтовъ земли слетая,
Ихъ сладкимъ нектаромъ груди своей поя,
Она—отрады вѣсть лазореваго рая
Цвѣтамъ, тоскующимъ и жаждущимъ, какъ я...

Изъ странъ заоблачныхъ блеснувшее видѣнье,
Не ты-ль, прекрасная жемчужина небесъ,
Была мнѣ послана какъ ангелъ утѣшенья,
Воздушное дитя лазоревыхъ чудесъ?..
Увы!.. Блаженныхъ слезъ дождя разсыпавъ звенья,
Твой образъ налетѣлъ—зажогся... и—исчезъ.

3.

Тебѣ, ища душѣ пріюта,
Я повѣрялъ свои мечты,
А ты, прекрасная,— кому-то,
Кому-то ихъ повѣришь ты?
На сердцѣ радостная смута
Блеснетъ-мелькнетъ изъ темноты,
Придетъ желанная минута
Благоуханной красоты.

Тогда, грустнѣй и безпріютнѣй,
Чѣмъ плѣнникъ въ станѣ вражьихъ ордъ,
Стряхнувъ безпечно-рѣзвыхъ трутней,
Душа поникнетъ скорбной лютней,—
И будетъ холоденъ и гордъ
Ея безмолвія аккордъ.

4.

Неосязаемъ міръ идей,
Непроницаемъ міръ явленій.
Отъ обездушенныхъ людей
Бѣжитъ, тоскуя, нѣжный геній,—
Души безлюдный мавзолей
Хоронитъ блескъ его видѣній...
Недопускаетъ откровеній
Жизнь—прихотливый чародѣй.

Стремлюсь въ загадочную высь,
Съ ея нездѣшней красотою,
Гдѣ явь съ воздушною мечтою
Въ одну гармонію слились,—
Гдѣ ты сіяешь—правдой тою,
Какою оба мы влеклись.

М. Лохвицкая.

СКАЗКА О ПРИНЦѢ ИЗМАИЛѢ, ЦАРЕВНѢ СВѢТЛАНѢ И ДЖЕМАЛИ ПРЕКРАСНОЙ.

1.

Это было въ тридевятомъ царствѣ,
Далеко, не въ нашемъ государствѣ.
Царь-вдовецъ задумалъ вновь жениться,
Въ жены взялъ онъ злую лиходѣйку,
Далъ ей власть надъ царствомъ и собою,
И своею дочерью, Свѣтланой.
Какъ ведется въ жизни и доселѣ,
И какъ въ старыхъ сказкахъ говорится,—
Не взлюбила мачиха-цáрица
Красоту, дочь царскую, Свѣтлану.
Не взлюбила, потому что всюду
Надъ вѣнцомъ дѣвическимъ царевны
Звѣздочка со звономъ чуднымъ плы́ла
И горѣла ярче звѣздъ небесныхъ.

2.

Какъ-то разъ красавица Свѣтлана
У окна, задумавшись, сидѣла,
Золотую косу разметала,
Скатный жемчугъ бѣлыми руками
Въ ожерелье царское низала.
Въ небѣ солнце красное садилось,
Всѣ лучи по счету собирало,
Собирало, что колосья въ полѣ,
И въ снопы червонные вязало.
Лучъ послѣдній солнцу не давался,
Какъ стрѣла скользнулъ къ окну царевны,
Заигралъ на яхонтахъ и лалахъ
И погасъ на бармахъ драгоцѣнныхъ.
Улыбнулась тихая Свѣтлана.
Подняла задумчивыя очи,
Смотритъ — видитъ, изъ-за синей дали
За лучомъ къ ней вольный соколъ мчится;
Быстро-быстро по златому слѣду
Онъ впорхнулъ въ царевнино окошко
И промолвилъ говоромъ понятнымъ:
—«Не пугайся, милая Свѣтлана!
Я не птица, я не соколъ вольный,
Я царевичъ славный и могучій,
Я царю надъ Югомъ и Востокомъ
И зовуся принцемъ Измаиломъ».

3.

Былъ сынокъ у мачихи-царицы,
Какъ верблюдъ, рожденъ съ двумя горбами.
День и ночь—съ бездѣлья, иль отъ скуки—
Онъ ходилъ вкругъ терема Свѣтланы.

Разъ по-утру къ матери родимой
Сынъ-горбунъ стучится спозаранку:
—«Выйди, выйди, матушка-царица,
Встань съ постельки, свѣтъ мой, потрудися!
Не съ пустымъ пришелъ къ тебѣ я дѣломъ,
Съ доброй вѣстью о царёвой дочкѣ,
О твоей заботѣ неустанной,
О моей сестрицѣ богоданной.»
Вышла мать и двери отворила:
—«Что тебѣ, мое родное чадо?
Отчего ты, неслухъ, колобродишь!
Ни заря, ни свѣтъ меня тревожишь?»
—«Ты слыхала-ль, матушка-царица,
Чтобы птицы въ терема влетали,
Чтобъ до утра ласковыя рѣчи
Человѣчьимъ голосомъ шептали?
Ты слыхала-ль, матушка, чтобъ птицы
Пояса шелковые теряли,
Чтобы перстни птицы оставляли
Съ дорогимъ каменьемъ самоцвѣтнымъ?»
Взбѣленилась грозная царица:
—«Не люблю, когда шныряютъ птицы—
И суются всюду, гдѣ не надо,
И несутся тамъ, гдѣ ихъ не просятъ.
Ты возьми-ка лукъ твой золоченый,
Приготовь серебряныя стрѣлы,
И чтобъ я объ этой мерзкой птицѣ
Отъ сегодня больше не слыхала».

4.

Тихій сумракъ въ теремѣ высокомъ,
Только свѣтитъ звѣздочка Свѣтланы,
Кроткими лучами озаряетъ

Два прекрасныхъ и блаженныхъ лика.
—«Поздно, поздно,»—слышенъ чей-то шопотъ,—
Скоро солнце изъ-за лѣса встанетъ,
Солнце встанетъ, бѣлый день проглянетъ,
Темной ночи въ теремѣ не станетъ».
—«Милый другъ»,—въ отвѣтъ ему лепечетъ,
Какъ ручей, царевнинъ голосъ нѣжный:
«Тамъ, за далью синей, за морями,
Не забудь покинутой Свѣтланы.
За тобой любовь моя повсюду,
Полетитъ голубкой бѣлогрудой,
Отъ напастей, отъ напрасной смерти
Оградитъ широкими крылами».
Обернулся птицей королевичъ,
Порхъ въ окно—взлетѣлъ—не тутъ-то было:
Загудѣла тетива, заныла,
Заалѣли перья теплой кровью,
Застоналъ отъ боли ясный соколъ
И воскликнулъ громко, улетая:
—«Ты меня, Свѣтлана, обманула,
Звонкую стрѣлу въ меня вонзила,
Не осушишь ты очей отнынѣ,
Не найдешь ты милаго вовѣки!»

5.

Далеко, за синими морями,
Красовался городъ басурманскій—
Съ башнями, съ висящими садами,
Съ каменными бѣлыми стѣнами.
По стѣнамъ свивались плющъ и розы
Съ цѣпкими листами винограда,
А на плоскихъ кровляхъ въ часъ вечерній
Забавлялись женщины и дѣти.

Жители ходили въ острыхъ шапкахъ,
Красили и бороды, и ногти,
Торговали золотой парчою,
Бирюзой и цѣнными коврами.
Въ городѣ томъ княжилъ Суфи Третій.
Онъ носилъ цвѣтной халатъ и туфли,
Много женъ держалъ въ своемъ гаремѣ,
Но любилъ лишь дочь свою, Джемали.
Отъ жары, иль отъ другой причины,
Сталъ слабѣть онъ разумомъ и волей:
Что велитъ Джемали—то и скажетъ,
Что захочетъ дочка—то и будетъ.
А княжна, прекрасная Джемали,
Цѣлый день лежитъ въ опочивальнѣ
На широкомъ бархатномъ диванѣ,
На зеленыхъ съ золотомъ подушкахъ.
И плететъ прекрасная Джемали
Вязи розъ и листья винограда,
Слушаетъ преданія и сказки
Да игру невольницъ чернокожихъ.
Вечеромъ, закутавшись чадрою
И надѣвъ на голенькія ножки
Жемчугами вышитыя туфли,
Медленно идетъ она на кровлю.
Тамъ ковры разостланы цвѣтные,
И готова арфа золотая;
Тамъ, съ лица откинувъ покрывало,
Смотритъ въ небо гордая Джемали.
Въ небѣ черномъ ясный мѣсяцъ ходитъ,
Хороводы звѣздные заводитъ,
Серебромъ ложится свѣтъ на море
И печалью на души людскія.
И—блѣдна отъ луннаго сіянья,
Широко раскрывъ большія очи,

О любви поетъ княжна Джемали,
О любви поетъ, любви не зная,
Подъ гудѣнье арфы золотой.

6.

Разъ весной, когда цвѣли гранаты,
Слухъ пошелъ по городу трезвонить,
Что невѣсту ищетъ королевичъ
Измаилъ прекрасный, принцъ восточный.
Онъ—престола древняго наслѣдникъ
И владѣетъ царствами большими.
Онъ собой хорошъ, высокъ и статенъ,
Но печалью вѣчной затуманенъ.
Ходитъ слухъ, что лишь на той принцессѣ,
На княжнѣ иль на простой рабынѣ
Королевичъ думаетъ жениться,
Кто на мигъ печаль его разгонитъ
И засвѣтитъ ликъ его улыбкой.
Услыхавши кличъ тотъ, всполошились
Госпожи и черныя рабыни,
Кто за пляску, кто за пѣснь берется,
Чтобъ игру придумать посмѣшнѣе,
Чтобы принцу пѣснь пришлась по нраву.
Слухъ дошелъ и до княжны прекрасной,
Прогнѣвилась гордая Джемали:
—«Если принцу нужны скоморохи,
То княжна ему женой не будетъ.
Пусть возьметъ себѣ мою шутиху,
Та его навѣки распотѣшитъ:
Какъ ни ступитъ, какъ ни повернется,
Такъ его, унылаго, утѣшитъ».
Услыхавъ тогда про эти рѣчи,
Улыбнулся хмурый королевичъ,

Приказалъ собраться пышной свитѣ
И навьючить золотомъ верблюдовъ.
На слоновъ велѣлъ сложить онъ жемчугъ,
Дорогія ткани и запястья
И везти дары княжнѣ спѣсивой,
Что звалась прекрасною Джемали.
И пустились въ дальнюю дорогу
Караваны принца Измаила.
Сзади всѣхъ поѣхалъ королевичъ
На своемъ арабскомъ иноходцѣ.

7.

Не взяла прекрасная Джемали
Ни запястій, ни расшитыхъ тканей,
По коврамъ разсыпала червонцы
И въ фонтаны жемчугъ побросала.
—«У меня не мало этой дряни,
Прочь-прочь-прочь!»—посламъ она кричала.—
«Глупъ вашъ принцъ. Джемали не рабыня!
Пусть идетъ къ невѣстамъ чернокожимъ.
Я себя на жемчугъ не мѣняю,
Красотой своею не торгую,
Полюблю того—кто мнѣ пригляднѣй,
Захочу того—кого замыслю».
Услыхавъ про эту рѣчь Джемали,
Улыбнулся принцъ еще свѣтлѣе,
Свой портретъ послалъ онъ ей, точеный
На слоновой кости драгоцѣнной.
Какъ взглянула на портретъ точеный,
Вся зардѣлась гордая Джемали
И, лицо задернувъ легкой тканью,
Такъ посламъ восточнымъ отвѣчала:
—«Вы скажите принцу Измаилу,

Что, пожалуй, можетъ самъ явиться.
А дощечку я себѣ оставлю,
Я люблю забавныя игрушки».

8.

Красный свѣтъ струится отъ курильницъ,
Шелестятъ лебяжьи опахала,
На подушкахъ нѣжится Джемали,
Ловитъ ножкой туфельку сквозную.
На коврѣ у ногъ княжны прекрасной
Примостился блѣдный королевичъ,
Грустный взоръ въ ея вперяетъ очи:
—«Любите-ли вы меня, Джемали?»
—«Васъ? Люблю, пожалуй, но... не очень,
Такъ... чуть-чуть; а чтобъ не забывали—
Вотъ вамъ, принцъ!» И принца опахаломъ
По плечу ударила Джемали.
—«Бросьте шутки, имъ теперь не время»,—
Говоритъ печально королевичъ.—
—«У меня такая грусть на сердцѣ,
Что ее веселье оскорбляетъ.
У меня такая грусть на сердцѣ
Оттого, что въ васъ, моей невѣстѣ,
Я любви участливой не вижу,
И о васъ худые ходятъ слухи.
Говорятъ, княжна, что вы притворны,
Что вы злы, коварны, своевольны,
Говорятъ, что въ тайномъ подземельѣ
Вы томите плѣнниковъ прекрасныхъ».
Поблѣднѣла гордая Джемали,
Сдвинула собольчатыя брови:
—«Если зла я, лжива и коварна,
То для васъ личины не надѣну.

Я, княжна, живу—какъ мнѣ пригляднѣй,
Я люблю того—кого замыслю,
И нести повинную не стану
Всякому пустому проходимцу».
Усмѣхнулся принцъ усмѣшкой странной:
—«Не сердитесь, милая Джемали,
Отъ тоски мое сорвалось слово,
Отъ тоски по бѣлой голубицѣ,
По моей Свѣтланѣ незабвенной!»
Вспыхнула прекрасная Джемали,
Разсмѣялась весело и звонко:
—«Ахъ ты, бѣдный голубь сизокрылый,
Какъ тебя сердечнаго мнѣ жалко!
Что-же ты съ голубкой не остался,
Къ ней крыломъ любовнымъ не прижался?
То-то бы въ родимой голубятнѣ
Было вамъ и сладко, и умильно!
И зачѣмъ ты, голубь сизокрылый,
Промѣнялъ голубку на орлицу,
На змѣю коварную Джемали,
На ея проклятую любовь?»
И смѣялась гордая Джемали,
Такъ смѣялась, что блестѣли слезы,
Жемчугомъ сбѣгая по ланитамъ,
И звенѣли цѣнныя подвѣски
На ея червонной діадемѣ.
Но молчалъ печальный королевичъ,
Слушалъ, молча, смѣхъ ея веселый
И смотрѣлъ на блещущія слезы.
А въ душѣ одну таилъ онъ думу:—
—«Любите-ли вы меня, Джемали?»

9.

Брачный пиръ гремитъ на всю палату,
Дружно въ ладъ играютъ музыканты,
Славятъ гости принца Измаила
И княжну прекрасную Джемали.
Широко раскрытыми очами
Смотритъ принцъ на милую невѣсту,
Что сидитъ печальна и безмолвна,
Вся покрыта розовой чадрою.
—«Отчего печальны вы, Джемали,
Оттого-ль, что, не любя душою,
Вы меня къ себѣ приворожили
И теперь тоскуете о волѣ,
О своей свободѣ самовластной?»
—«Нѣтъ, женихъ мой, славный королевичъ,—
Отвѣчаетъ гордая Джемали,—
«Мнѣ не жаль моей дѣвичьей воли,
Ни моей свободы самовластной!
Я васъ, принцъ, ничѣмъ не чаровала,
Ни питьемъ, ни корнемъ приворотнымъ,
Ни другимъ заклятымъ волхованьемъ,—
Имъ была—одна моя любовь».
Тутъ взглянулъ ей въ очи королевичъ:
—«Отчего такъ долго вы молчали?
Есть-ли мнѣ мѣстечко въ вашемъ сердцѣ,
Любите-ли вы меня, Джемали?»

Зароптали арфы золотыя,
Звончатыя гусли заиграли,
Зазвенѣли флейты и гитары,
Отвѣчаетъ милому Джемали:
—«Я люблю васъ, принцъ, какъ любятъ розы
Яркій лучъ полуденнаго солнца,

Жажду васъ, какъ жаждутъ горъ вершины
Серебра туманныхъ облаковъ!
Я вамъ вѣрю, принцъ, какъ вѣритъ ива
Нѣжности предутренняго вѣтра,
Я ждала васъ, принцъ, какъ ждетъ пустыня
Свѣжести небеснаго дождя.
Все, что въ снахъ дѣвическихъ томило,
Все, что пѣсней дальней навѣвалось,
И что въ жизни радостнаго было,
Все о васъ мнѣ тайно говорило».

Смолкли гусли, флейты и гитары,
Призатихли арфы золотыя,
Только лютня ноетъ и томится;
Говоритъ невѣстѣ королевичъ:
—«Я хотѣлъ-бы вѣрить вамъ, Джемали,
Только сердце вѣрить вамъ не можетъ!
Все оно, безумное, тоскуетъ,
Какъ струна о счастьѣ нашемъ плачетъ».

Взялъ женихъ тяжелый брачный кубокъ,
Чуть къ нему устами прикоснулся,
А на днѣ его глубокой чаши
Ярко блещетъ перстень драгоцѣнный...
Что за диво: перстень тотъ когда-то
Отдалъ онъ покинутой Свѣтланѣ,
Той, что плачетъ въ теремѣ высокомъ,
Ждетъ къ себѣ желаннаго напрасно.
—«Кто здѣсь былъ?»—воскликнулъ королевичъ,—
«Кто коснулся нашей брачной чаши?»
Поднялись встревоженные гости,
Обомлѣли черныя рабыни.
—«Это я, другъ милый, ясный соколъ!»—
Прожурчалъ Свѣтланинъ голосъ нѣжный.

И предъ милымъ тихо на колѣни
Опустилась кроткая царевна.
—«Какъ? Ты здѣсь?»—промолвилъ королевичъ,—
«Иль любовь твоя не умирала,
Что, покинувъ теремъ свой высокій,
Ты меня за моремъ отыскала?»
—«Что скажу тебѣ я, мой желанный?»—
Отвѣчаетъ кроткая Свѣтлана.—
«Ты взгляни на посохъ мой тяжелый,
На мои заплаканныя очи.
Коли любишь—и безъ словъ повѣришь,
Вѣдь со дня, какъ ты меня покинулъ,—
Чрезъ лѣса дремучіе и горы
Странницей пошла я безпріютной.
Поперекъ свѣтъ бѣлый исходила,
Огненныя рѣки переплыла,
Башмаки желѣзные стоптала,
Все тебя, желаннаго, искала!»
Протянулъ къ ней руки королевичъ:
—«Ты приди ко мнѣ, моя Свѣтлана,
Брачный кубокъ раздѣли со мною,
Будь моей любимою женою».
—«Вонъ пошла!»—воскликнула Джемали,—
«Не напьешься ты изъ нашей чаши.
Эй, вы слуги, евнухи, рабыни,
Чтобъ я этой нищей не видала!»
—«Эй вы, слуги, евнухи, рабыни,
Я вашъ принцъ!»—воскликнулъ королевичъ:
«Взять сейчасъ-же злую эту шкурку,
Что зовется, кажется, Джемали!
Вы свяжите руки ей и ноги
И снесите въ тѣсную темницу.
Громче бейте, бубны и литавры,
Веселитесь, гости дорогіе,

Пойте, пойте славу нарѣченной,
Славьте, славьте ясную Свѣтлану».
Загремѣли бубны и литавры,
Окружили евнухи Джемали.
Ничего Джемали не сказала,
Только гнѣвнымъ смѣрила ихъ взглядомъ,
Только бровью темной шевельнула
И чадрой закуталась вѣнчальной.
Отступили ревностные слуги,
Молча пиръ оставила Джемали,
А за нею, въ страхѣ и смущеньѣ,
Вышли слѣдомъ черныя рабыни.

10.

Блѣдный свѣтъ роняетъ ясный мѣсяцъ,
Входитъ принцъ въ покои новобрачной.
Тамъ дымятся крѣпкія куренья,
Дымъ пахучій застилаетъ очи.
Въ полутьмѣ, какъ облако, бѣлѣя,
Подъ густой вѣнчальною фатою,
На широкомъ бархатномъ диванѣ,
Ждетъ его любимая Свѣтлана.
—«Дай мнѣ снять чадру твою, Свѣтлана,
Покажись мнѣ»,—молитъ королевичъ.
—«Дай увидѣть личико родное,
Насмотрѣться въ радостныя очи».
—«Милый другъ, оставь мнѣ покрывало»,—
Чуть лепечетъ голосъ заглушенный.—
«Не смотри на ликъ мой загорѣлый,
На мои заплаканныя очи».
—«Ты скажи мнѣ, жизнь моя, Свѣтлана»,—
Вопрошаетъ снова королевичъ,—
—«Отчего надъ милою головкой

Я не вижу звѣздочки лучистой?»
—«Я купаться на море ходила,
Звѣздочку, ныряя, обронила.
Тамъ она, на днѣ лежитъ глубокомъ,
Свѣтитъ рыбамъ да морскимъ царевнамъ».
Изумился очень королевичъ,
Но смолчалъ, не вымолвилъ ни слова.
Вотъ погасъ на небѣ ясный мѣсяцъ,
Занялося утро золотое.
Пробудилась раньше молодая,
Слышитъ—бредитъ-стонетъ королевичъ
И во снѣ такъ жалуется горько:
—«О, прости, прости меня, Свѣтлана!
Я тебя ласкаю и голублю,
Какъ сестру родимую, жалѣю,
Но по той душа моя тоскуетъ,
Только въ ней одной—мое блаженство!»
И отъ счастья плачетъ молодая:
—«О, проснись—я здѣсь, твоя Джемали,
Ты со мною, принцъ мой ненаглядный,
И со мной останешься навѣки!»
Пробудился принцъ, очамъ не вѣритъ:
—«Прочь, змѣя, чудовище, колдунья!
Отвѣчай, гдѣ бѣлая голубка,
Гдѣ моя любимая Свѣтлана?»
—«Глубоко, подъ синими волнами,
На пескѣ лежитъ твоя Свѣтлана,
Золотой звѣздой своей играетъ,
Глупымъ рыбамъ сказываетъ сказки.
Посмотри мнѣ въ очи, королевичъ.
Это я, съ тобой—твоя Джемали,
Та, о комъ душа твоя тоскуетъ,
Въ чьей любви находишь ты блаженство».
—«Будь-же ты»,—воскликнулъ королевичъ,—

«Не женой моею, а рабыней!
Я рабамъ служить тебя заставлю
И моимъ невольницамъ послѣднимъ».
Но кинжалъ сверкнулъ въ рукахъ Джемали,
И упалъ со стономъ королевичъ.
Отгорѣвъ, навѣкъ закрылись очи,
И уста, блѣднѣя, прошептали:
—«Любите-ли вы меня, Джемали?»

11.

Жарко пышетъ огненное небо,
Рдѣетъ въ небѣ солнце кровяное;
Широко раскинулась пустыня,
Зыблется горючими песками.
По волнамъ песчанымъ съ громкимъ плачемъ,
Какъ во снѣ, бѣжитъ княжна Джемали;
Вслѣдъ за нею вьются, словно змѣи,
Жемчугами убранныя косы.
Все по клочьямъ рвется покрывало,
По червонцу сыплются запястья,
Все бѣжитъ, торопится Джемали
И, рыдая, громко восклицаетъ:
—«Гдѣ ты, вихрь, могучій царь пустыни?
Взвѣйся ты сыпучими песками,
Заклубись ты съ облакомъ небеснымъ,
Подними, завѣй меня, былинку,
Обручись съ отвергнутой Джемали!»
Взвѣлся вихрь, могучій царь пустыни,
Заходили волны круговыя,
Поднялись песчаныя воронки,
Встрѣтившись, завились съ облаками;
Цѣлый лѣсъ растетъ вокругъ Джемали,
Страшный лѣсъ, свистящій лѣсъ пустыни.

Всѣхъ грознѣй, какъ дубъ межъ чахлыхъ сосенъ,
Движется одинъ могучій смерчъ.
—«Здравствуй, Смерчъ»,— воскликнула Джемали,—
«Я, любя, иду къ тебѣ навстрѣчу,
Для тебя я косы разметала,
Брачное сорвала покрывало.
Изсуши мнѣ сердце молодое,
Грусть мою развѣй съ пескомъ пустыни,
Взвѣй меня, прижми къ груди горючей,
Дай мнѣ счастья смерти неминучей!»
Дрогнулъ Смерчъ, могучій царь пустыни,
Воемъ-свистомъ встрѣтилъ онъ Джемали,
Захватилъ въ песчаныя объятья
И завилъ въ предсмертной, дикой пляскѣ.
Только косы длинныя взметнулись,
Только руки вскинулись, какъ крылья,
Только стонъ пронесся надъ пустыней,
И—забылась память о Джемали.

Но и смерть не властна надъ любовью,
И любовь Джемали не погибла,
А зажглась лазурною звѣздою
Надъ широкой, мертвою пустыней.
И горитъ, горитъ звѣзда пустыни,
Все ей мнится, что изъ синей дали
Вмѣстѣ съ вѣтромъ чей-то голосъ плачетъ:
—«Любите-ли вы меня, Джемали?»

П. Быковъ.

ИЗЪ ПРИРОДЫ.

1.

Пора вставать! Разсвѣтъ ужъ блещетъ
Во всей таинственной красѣ,
И солнца нѣжный лучъ трепещетъ
На свѣжей зелени въ росѣ.

Не пропусти часовъ прохлады
Въ затишьѣ ласковомъ аллей,
Гдѣ соловьиныя рулады
Звенятъ влюбленнѣй и милѣй.

Лови блаженныя мгновенья,
Когда молчитъ страстей волна,
Когда еще благоговѣнья
Природа чуткая полна,—

Когда во мглѣ голубоватой,
Подъ голубымъ шатромъ небесъ,

Ночными тайнами чреватый,
Молитвой тихой полонъ лѣсъ,—

Когда журчатъ молитву воды
Средь кленовъ скрытаго ручья,—
Чтобы съ молитвою природы
Слилась молитва и твоя...

2.

Еще полны любви и счастья небеса
И міръ земной дарятъ улыбкою привѣта;
Сіяютъ красотой нарядные лѣса,
Купаясь въ теплыхъ волнахъ свѣта.

Увлаженный росой, горя, какъ изумрудъ,
Еще такъ ярокъ, свѣжъ коверъ степи безбрежной,
И чистъ, невозмутимъ въ саду лазурный прудъ,
Обвѣянъ дрёмой безмятежной.

И манитъ старый садъ подъ пышный свой шатеръ,
Гдѣ воздухъ такъ хорошъ, живительный, цѣлебный,
Гдѣ краски цвѣтника еще ласкаютъ взоръ
Своей гармоніей волшебной...

Но прелесть молодой, роскошной красоты
И власть недавнихъ чаръ утратила природа,
Въ ней ловитъ зоркій глазъ усталости черты,
И ей мерещится невзгода.

Ужъ кое-гдѣ сквозятъ унылые тона,
И солнце на зарѣ горитъ недобрымъ блескомъ,
И чаще, чаще ночь туманна, холодна;
И вихрь свиститъ по перелѣскамъ...

Чего-то сердцу жаль, и смущено оно
Какимъ-то грознымъ зломъ, незримымъ, но гнетущимъ...
О, для чего ему предчувствіе дано
И рабскій страхъ передъ грядущимъ!..

3.

Бездной зіяющей, темной
Смотритъ бездушная ночь;
Вѣтеръ, скиталецъ бездомный,
Дико реветъ во всю мочь.
Жертвы онъ ищетъ упорно,
Жаждою власти томимъ;
Робкая роща покорно
Голову клонитъ предъ нимъ.
Кто-то вопитъ или стонетъ,—
Въ шумѣ нельзя разобрать;
Чудится—въ омутѣ тонетъ,
Кѣмъ-то тѣснимая рать...
Иль погасилъ всѣ свѣтила
Свѣтъ ненавидящій духъ?
Тьма цѣлый міръ захватила,—
Свѣточъ послѣдній потухъ?
Будто въ нѣмомъ заговорѣ
Съ грозными силами зла,
Ужасовъ цѣлое море
Черная ночь разлила.
Жутко душѣ одинокой,
Ищущей свѣта во тьмѣ—
Истины, скрытой глубоко
Въ тьмою смущенномъ умѣ...

В. Лебедевъ.

I.

ЛѢТОМЪ.

(сонеты.)

1. НА РѢКѢ.

Испуганный всплеснувшеюся рыбкой,
Изъ камышей взлетаетъ рой стрекозъ;
И подъ крутой береговой откосъ
Жукъ водяной бѣжитъ по влагѣ зыбкой...

Вновь тихо все—и съ прежнею улыбкой
Глядится въ воду стройный рядъ березъ;
Чуть шелеститъ, одѣтый дымкой грезъ,
Лознякъ прибрежный, трепетный и гибкій...

Въ глухую заводь золото луча
Изъ синевы пробилось между чащей...
Вотъ слышенъ плескъ сосѣдняго ключа,—

Онъ все бѣжитъ, проворный и блестящій,
Бѣжитъ—поетъ, играя и журча...
И надъ рѣкой—все тотъ-же зной палящій...

2. НА НИВАХЪ.

Дѣлянокъ ржи густыя вереницы
Уходятъ вдаль... Синѣютъ небеса...
Среди полосокъ зрѣющихъ овса
Стоятъ колосья крупные пшеницы...

И все поля, и нѣтъ полямъ границы...
Какъ хороша ихъ свѣжая краса!
Еще блеститъ слезинками роса,
Не выпита лобзаніемъ денницы...

Когда-жъ сверкнутъ блестящіе серпы,
Польются пѣсни—радостны и звонки,
Зазолотятся пышные снопы,

И за жнитвомъ, по всей родной сторонкѣ,
Въ рукахъ могучихъ тяжкіе цѣпы
Заговорятъ на гумнахъ вперегонки?!...

II.

ИЗЪ ЗАБЫТЫХЪ ПИСЕМЪ.

(отрывки.)

1.

Разсвѣтъ... Густой, больной, безъ промежутка
И безъ оттѣнковъ, сѣрый цвѣтъ...
Ни проблеска, ни искры яркой нѣтъ...
Какъ холодно! Какъ жутко!..

И я—одинъ... одинъ... И впереди—
Холодный мракъ дороги одинокой,
И чей-то голосъ мнѣ жестокій
Твердитъ:—«Ты счастія не жди!..»

Угрюмыхъ зданій вереница,
Нигдѣ въ окнѣ—ни огонька...
О, ночь, ты холодна, какъ черная тоска,
Какъ безпросвѣтная темница!..

2.

...Нѣтъ, какъ ты тамъ семью и не брани,
А всетаки семья—святое дѣло!
Когда душа устала, охладѣла,
Когда, томя, текутъ пустые дни
И дышетъ жизнь насмѣшкою унылой,—
Тогда—какъ дорого, какъ радостно, другъ милый,
Знать, что горитъ семейный огонекъ,
Что въ жизни я—не одинокъ...
Знать, что любить кого-нибудь я смѣю,
Что есть на свѣтѣ существо,
Которое болитъ тоской моею
И счастливо отъ счастья моего!
Что ни слеза, ни слѣдъ морщины лишней
Не ускользнутъ отъ любящихъ очей,
Что ласкою знакомою, давнишней
Меня утѣшатъ горячѣй...

3.

...Семья? Заботы?—Это все такъ скучно!
Ихъ устранилъ теперь благополучно
Нашъ современный человѣкъ...
О, жесткій вѣкъ, себялюбивый вѣкъ!

«Какъ? Жизнь свою, все время безъ остатка
Наполнить лишь однимъ, отдать лишь одному?..»
О, нѣтъ, ему семья нужна лишь потому,
Что, такъ сказать, кладетъ печать порядка
И придаетъ солидности ему!..

Но жизнью жить одной, заботы и недуги
Дѣлить съ своей семьей, въ тревогѣ и въ испугѣ
Біенье сердца чувствовать одно,—
О, это въ наши дни довольно мудрено!..
Вѣдь ужъ имѣть дѣтей—достаточно заслуги!..

Ѳ. Сологубъ.

I.

ЗАКЛЯТІЕ МОЛЧАНЬЯ.

Въ лѣсу кричала злая птица,
Едва ручей журчалъ въ кустахъ,
По небу прядала зарница,
Туманъ сгущался на поляхъ.

Изъ-за раскрытаго широко
Томленья полночи моей
Прозрачный голосъ издалёка
Мнѣ что-то пѣлъ,—не знаю, чей,—

И все, что вкругъ меня звучало,—
Ручей, и вѣтеръ, и трава,
Все, докучая, заслоняло
Его эфирныя слова.

И я заклятіемъ молчанья
Воззвалъ къ природѣ,—и она

Очарованью заклинанья
Была на мигъ покорена.

Я ждалъ,—и въ вѣщемъ ожиданьѣ
Зажегся мнѣ великій свѣтъ.
Далекій зовъ погасъ въ молчаньѣ,
Но былъ въ молчаніи отвѣтъ.

II.

Я вѣрю въ творящаго Бога,
Въ святые завѣты небесъ;
Я вѣрю, что явлено много
Безумному міру чудесъ.

И первое чудо на свѣтѣ,
Великій источникъ утѣхъ —
Блаженно-невинныя дѣти,
Ихъ сладкій и радостный смѣхъ.

III.

Я напрасно хочу не любить,—
И, природѣ покорствуя страстной,
Не могу не любить,
Не томиться мечтою напрасной.

Чуть могу любоваться тобой
И сказать тебѣ слова не смѣю,
Но разстаться съ тобой—
Не хочу, не могу, не умѣю!

А настанутъ жестокіе дни,
Ты уйдешь отъ меня безъ возврата.
О, зачѣмъ эти дни?!.
За утратою—снова утрата!..

IV.

Побѣждайте радость,
Умерщвляйте смѣхъ.
Все, въ чемъ только сладость,
Все—порокъ и грѣхъ.
Умерщвляйте радость
Побѣждайте смѣхъ.

Кто смѣется? Боги,
Дѣти да глупцы.
Люди, будьте строги,
Будьте мудрецы,—
Пусть смѣются боги,
Дѣти да глупцы!

———

К. Льдовъ.

I.

Отбросивъ земныя одежды,
Покинувъ холодное тѣло,
Душа молодая летѣла
На радужныхъ крыльяхъ надежды.

Ее возносили стремленья,
Которымъ нѣтъ мѣръ и названья,—
Невѣдомыхъ ласкъ трепетанья,
Несбыточныхъ грезъ воплощенья.

И все, что въ отринутомъ мірѣ
Томило порывомъ неяснымъ,
Воскресло—святымъ и прекраснымъ
Въ святомъ и прекрасномъ эфирѣ.

II.

Ночь умерла. Въ туманѣ синемъ
Забрежжилъ синій призракъ дня,
Но мы прекрасной не покинемъ
Въ дыму лазурнаго огня.

Пусть вспыхнетъ полдень неизбѣжный
Костромъ обманчивымъ своимъ,—
Мерцанье грезъ и сумракъ нѣжный
Мы въ нѣдрахъ сердца затаимъ.

Для насъ, постигшихъ скорбь заката
И тайну звѣздную небесъ,
Завѣса вѣчности подъята
Надъ міромъ призрачныхъ завѣсъ.

Сквозь эту дымную преграду
Дано отъ Бога намъ пройти
И воспріять въ себя прохладу
И нѣгу Млечнаго Пути.

———

О. Чюмина.

I.

Порывъ безумныхъ упованій —
Перегорѣлъ въ огнѣ страданій,
Всеочищающемъ огнѣ.
И такъ легко, и грустно мнѣ,
И такъ печаль моя отрадна.
Любимый взоръ ловлю я жадно,
Я слово каждое ловлю
И муки самыя люблю.

Такъ, въ часъ вечерняго отлива,
Уходятъ волны молчаливо,
И брызги ихъ, какъ капли слезъ,
Во мглѣ дробятся объ утесъ.
Небесъ померкнувшіе своды
На успокоенныя воды
Бросаютъ траурную тѣнь;
Уходитъ онъ—тревожный день,
Все дышетъ грустью затаенной;
Но въ этой скорби примиренной

Покой божественный разлить,
И все, что̀ насъ манило въ жизни —
Найдти въ невѣдомой отчизнѣ
Намъ смерть желанная сулитъ.

II.

Міръ очарованный пѣсенъ —
То-же, что синее море,
Такъ-же глубокъ и чудесенъ,
Радость таитъ онъ и горе.

Много жемчужинъ зарыто
Въ безднахъ его сокровенныхъ,
Много диковинъ сокрыто,
Перловъ любви многоцѣнныхъ.

Полныя ласки призывной
Пѣсни несутся оттуда,
Вѣютъ гармоніей дивной,
Тѣшатъ возможностью чуда.

Кто ихъ услышитъ случайно —
Тотъ никогда не забудетъ,
Страстнымъ желаніемъ тайно
Вѣчно томиться онъ будетъ.

Споровъ житейскихъ далекій,
Чуждый земному привѣту,
Блѣдный, всегда одинокій —
Тѣнью онъ бродитъ по свѣту.

Въ край онъ блуждаетъ изъ края,
Съ жизнью порвавъ настоящей,
Пѣснѣ волшебной внимая,
Въ сердцѣ немолчно звучащей.

В. Лихачовъ.

ИЗЪ ТРАГЕДІИ ШИЛЛЕРА

„МАРІЯ СТЮАРТЪ".

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ, ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Марія. Анна Кеннеди. Полетъ. Графъ Шрусбэри. Елизавета. Графъ Лейстеръ. Свита.

ЕЛИЗАВЕТА [Лейстеру].

Что̀ за помѣстье?

ЛЕЙСТЕРЪ.

За̀мокъ Фотрингей.

ЕЛИЗАВЕТА [Шрусбэри].

Отправьте раньше свиту нашу въ Лондонъ.
На улицахъ и людно такъ, и шумно,—
Мы въ этомъ тихомъ паркѣ пріютимся.

[Шрусбэри удаляетъ свиту. Елизавета, продолжая говорить съ Лейстеромъ, не сводитъ глазъ съ Маріи.]

Ужъ черезчуръ меня народъ мой любитъ—

Не знаетъ мѣры онъ въ своихъ восторгахъ:
Такъ чтутъ боговъ, людей такъ чтить нельзя.

МАРІЯ [все время безсильно опиравшаяся на кормилицу, — выпрямляется; но, встрѣтивъ напряженный взглядъ Елизаветы, дрожитъ и снова падаетъ въ объятія кормилицы].

О, Боже, ни одной черты сердечной!

ЕЛИЗАВЕТА.

А эта леди—кто?

[Общее молчаніе.]

ЛЕЙСТЕРЪ.

Мы въ Фотрингеѣ,
Монархиня...

ЕЛИЗАВЕТА [притворяясь удивленной и пораженной, сурово смотритъ на Лейстера].

Да кто-жъ посмѣлъ? Лордъ Лейстеръ!

ЛЕЙСТЕРЪ.

Свершилось, королева... Провидѣньемъ
Стопы твои направлены сюда:
Такъ суждено—и пусть восторжествуетъ
Въ тебѣ великодушіе и милость.

ШРУСБЭРИ.

Дозволь намъ, вѣнценосная жена,
Твой благосклонный взоръ привлечь къ несчастной,
Въ смятеніи нѣмомъ оцѣпенѣвшей
Передъ твоей особой.

[Марія овладѣваетъ собою и хочетъ подойти къ Елизаветѣ, но на полдорогѣ останавливается, безмолвно дрожа; во всей ея наружности сказывается сильная душевная борьба.]

ЕЛИЗАВЕТА.

Какъ, милорды?
Кто-жъ говорилъ изъ васъ объ угнетенной?
Передъ собой гордячку вижу я,
Несчастьемъ не смягченную ни мало.

МАРІЯ.

Пусть будетъ такъ! Снесу и это—пусть.
Отринь, душа, безсильную гордыню!
Кто я сама, чего я натерпѣлась—
Забуду все: повергнусь передъ нею,
Виновницею узъ моихъ позорныхъ.
[Обращаясь къ королевѣ.]
Сестра, вы небомъ взысканы. На вашей
Счастливой головѣ—вѣнецъ побѣды.
Склоняюсь передъ Тѣмъ, Кто васъ вознесъ.
[Падаетъ на колѣни.]
Но будьте-же равно великодушны
И вы, сестра! Подайте руку мнѣ,
Постыдно передъ вами распростертой!
Десницей королевской извлеките
Изъ пропасти меня!

ЕЛИЗАВЕТА [отступая].

Вотъ, леди Стюартъ,
Вполнѣ вамъ подобающее мѣсто!
Не допустилъ Создатель милосердый,
Чтобъ я у вашихъ ногъ лежала такъ-же,
Какъ вы теперь лежите у моихъ.

МАРІЯ [съ возрастающимъ чувствомъ].

Подумайте, какъ бренно все земное!
Есть божества, карающія гордость!

Почтите ихъ, побойтесь ихъ—они,
Они меня повергли передъ вами,—
Въ лицѣ моемъ, при постороннихъ людяхъ,
Себѣ воздайте честь—не оскверняйте
Безчестьемъ кровь Тюдоровъ, что̀ течетъ
Въ моихъ и вашихъ жилахъ... Боже правый!
Не стойте-жъ такъ сурово, неприступно,—
Не стойте, какъ скала, въ которой тщетно
Опоры ищетъ гибнущій пловецъ!
И жизнь моя, и участь—все зависитъ
Отъ силы словъ и слезъ моихъ: коснитесь
Моей души, чтобъ тронула я вашу!
Отъ взора леденящаго она,
Въ себѣ самой замкнувшись, цѣпенѣетъ:
Въ глаза мои глядитъ холодный ужасъ—
И нѣтъ во мнѣ ни слезъ, ни словъ молящихъ.

ЕЛИЗАВЕТА [холодно и строго].

Въ чемъ дѣло, леди Стюартъ? Вы хотѣли
Со мною говорить. Я забываю
О тяжко-оскорбленной королевѣ,
Чтобъ выполнить священный долгъ сестры,—
И васъ дарю желаннымъ утѣшеньемъ.
Сердечному влеченью отдаваясь,
Рѣшаюсь я на шагъ, почти преступный:
Вѣдь вамъ не безызвѣстно, что отъ васъ
Подосланы ко мнѣ убійцы были!..

МАРІЯ.

Съ чего-же мнѣ начать? Какъ мнѣ слова
Умнѣй расположить, чтобъ прямо въ сердце
Они проникли къ вамъ, не оскорбляя?
О, Боже, ниспошли мнѣ силу рѣчи
И жало отними у языка!

Иль вправду я не въ силахъ защищаться,
Не нанося вамъ тяжкихъ оскорбленій,—
Чего совсѣмъ, совсѣмъ я не желаю?..
Со мной вы поступили незаконно.
Такая-же, какъ вы,—я королева,
А вы меня держали въ заточеньѣ.
Просительницей къ вамъ явилась я,
А вы,—презрѣвъ и долгъ гостепріимства,
И долгъ международный,—заключенью
Подвергнули меня; безчеловѣчно
Лишенная друзей и слугъ любимыхъ,
Обречена я скудости постыдной,
Позорному суду я предана...
Сказала я и—кончено! Навѣки
Забыто все, что̀ выстрадала я.
Взгляните-жъ, какъ судьба играетъ нами!
Безвинны вы—и я безвинна также;
Лукавый духъ встаетъ изъ преисподней,
Чтобъ распалить въ сердцахъ у насъ вражду,
Что̀ насъ еще дѣтьми разъединила.
Она росла, какъ мы,—а злые люди
Старались раздувать ея дыханье,
Безумные ревнители совали
Кинжалъ и мечъ въ непрошенныя руки...
Таковъ ужъ королей проклятый жребій,
Что, сами во враждѣ, они терзаютъ
Враждой весь міръ и фуріямъ раздора
Его на истребленье отдаютъ.
Теперь чужихъ рѣчей нѣтъ между нами...
[Довѣрчиво подходитъ къ ней и говоритъ мягко.]
И мы теперь стоимъ другъ передъ другомъ.
За вами рѣчь, сестра. Въ чемъ я виновна—
Скажите мнѣ: я не боюсь расплаты.
Ахъ, еслибъ вы тогда склонили слухъ,

Когда я взгляда вашего искала!
Не такъ бы все и было, какъ теперь,
И не было-бъ въ такомъ печальномъ мѣстѣ
Такой печальной встрѣчи между нами.

ЕЛИЗАВЕТА.

Звѣздѣ своей обязана я тѣмъ,
Что на груди змѣю не отогрѣла.
Кляните не судьбу—себя кляните,
Свое, грѣхомъ запятнанное, сердце,
Свою честолюбивую родню.
Ни въ чемъ вражда не проявилась наша,
А возвѣстилъ ее вашъ дядя—гордый,
Властолюбивый пастырь, что̀ безстыдно
Ко всѣмъ вѣнцамъ протягиваетъ руку:
Онъ васъ прельстилъ принять мой гербъ, присвоить
Державный титулъ мой, на жизнь и смерть
Въ кровавую борьбу вступить со мною...
Кого не призывалъ онъ на меня!
И языки поповъ, и мечъ народовъ,
И грозное оружье изувѣрства,—
И даже здѣсь, въ моемъ пріютѣ мирномъ,
Съумѣлъ раздуть онъ пламя возмущенья...
Но Богъ со мной—и гордый пастырь долженъ
Постыдно отступить: ударъ, моей
Грозившій головѣ,—упалъ на вашу!

МАРІЯ.

Въ рукахъ Господнихъ я. Такимъ злодѣйствомъ
Вы власть свою превысить не дерзнете...

ЕЛИЗАВЕТА.

Кто-жъ помѣшаетъ мнѣ? Вашъ дядя подалъ
Примѣръ всѣмъ повелителямъ державнымъ,

Какъ слѣдуетъ съ врагами примиряться.
За мной—Варѳоломеевская ночь!
Что́ мнѣ родство? Что́ мнѣ права народовъ?
Нерасторжимыхъ узъ не знаетъ церковь:
Предательство, цареубійство—все
Дозволено съ ея благословенья.
Я пастырей лишь вашихъ ученица.
Кто могъ-бы поручиться мнѣ за васъ,
Когда-бъ я вамъ свободу даровала?
И гдѣ для вашей вѣрности летучей
Такой замо́къ нашла-бы я, чтобъ ключъ
Апостола Петра его не отперъ?
Насиліе—одна моя ограда,—
Союза нѣтъ съ исчадіемъ змѣинымъ.

МАРІЯ.

О, это все—послѣдствія печальной,
Суровой подозрительности вашей!
Всегда во мнѣ вы видѣли врага,
Всегда во мнѣ вы видѣли чужую.
Когда-бы вы меня, какъ подобаетъ,
Наслѣдницей своей провозгласили,—
Признательность, любовь, родство и дружбу
Во мнѣ пріобрѣли-бы!

ЕЛИЗАВЕТА.

Ваша дружба—
Далёко, леди Стюартъ, домъ вашъ—папство,
Монахъ—вашъ братъ... И васъ провозгласить
Наслѣдницей! Искусная ловушка!
Чтобъ мой народъ вы обойти успѣли
Еще при мнѣ? Чтобъ, хитрая Армида,
Вы благородныхъ юношей страны
Любовными опутали сѣтями?

Чтобъ новое свѣтило привлекло
Всю Англію, а я...

МАРІЯ.

Царите съ миромъ!
Отъ всякихъ правъ на это государство
Я навсегда отказываюсь. Ахъ!
Душѣ не воспарить на смятыхъ крыльяхъ,
Великое меня ужъ не прельщаетъ...
Порадуйтесь, я—только тѣнь Маріи.
Мой благородный пылъ угасъ въ темницѣ—
И бо́льшаго не сдѣлать вамъ со мною:
Въ расцвѣтѣ силъ вы извели меня.
Кончайте-же, сестра! Произнесите
То слово, для котораго пришли вы.
Не для того-жъ вы здѣсь, чтобъ, торжествуя,
Надъ жертвою своею насмѣяться!
Конечно, нѣтъ... Произнесите-жъ слово!
Скажите мнѣ: «Свободны вы, Марія!
Извѣдали вы мощь мою—отнынѣ
Мое великодушіе цѣните».
Скажите лишь! Какъ даръ, изъ вашихъ рукъ
И жизнь свою приму я, и свободу.
Лишь слово и—покончены всѣ счеты.
Я такъ ждала его... О, не томите!
Не кончите вы этимъ—горе вамъ!
Вѣдь, если вы отсюда не уйдете,
Съ желаннымъ на устахъ благословеньемъ,—
Сестра!—за этотъ островъ изобильный,
За всѣ, что́ прилегаютъ къ морю, земли,
Не пожелала-бъ я здѣсь передъ вами
Стоять, какъ вы передо мной стоите!

ЕЛИЗАВЕТА.

Достаточно вамъ этого урока?
Покончено-ли съ кознями у васъ?
Убійцъ попутныхъ больше не найдется?
Для подвига печальнаго—въ запасѣ
Нѣтъ больше удальца? Да, леди Стюартъ,—
Покончено со всѣмъ. Въ моихъ владѣньяхъ
Не совратить вамъ больше никого.
Міръ поглощенъ заботами иными.
Едва-ли кто-нибудь польстится вашимъ
Четвертымъ мужемъ стать: вѣдь женихи
У васъ, какъ и мужья, живутъ недолго.

МАРІЯ.

Сестра! Сестра! О, Господи, смири!

ЕЛИЗАВЕТА [долго смотритъ на нее съ гордымъ презрѣніемъ].

Такъ вотъ онѣ, тѣ прелести, лордъ Лейстеръ,
Которыми не можетъ ни одинъ
Мужчина безопасно любоваться!
И ихъ-то блескъ всѣхъ женщинъ затмеваетъ?
Не дорого-жъ купить такую славу!
Чтобъ красотой *всеобщей* стать—довольно
Быть *общею* для *всѣхъ!*

МАРІЯ.

Нѣтъ больше силъ!

ЕЛИЗАВЕТА [съ язвительнымъ смѣхомъ].

Теперь вы настоящее лицо
Открыли намъ, а то была личина.

МАРІЯ [пылая гнѣвомъ, но съ благороднымъ достоинствомъ].

Была грѣшна я смолоду, какъ всѣ.
Меня прельщала власть—я не таилась,
Не пряталась,—по-королевски, честно
Мишурный блескъ во всемъ я презирала.
Все худшее мое извѣстно міру!
Могу сказать: я—лучше, чѣмъ слыву.
Но горе вамъ, когда съ дѣяній вашихъ
Молва сорветъ почетный плащъ, которымъ
Неугасимый пылъ утѣхъ запретныхъ
Вы лживо прикрываете! Не скромность
Досталась вамъ отъ матери въ наслѣдство:
Извѣстно вѣдь, какая добродѣтель
На плаху Анну Бо̀ллейнъ привела.

ШРУСБЭРИ [становится между обѣими королевами].

О, Боже, Боже праведный! Да гдѣ-же
Смиренье и покорность ваша, леди?

МАРІЯ.

Смиренье гдѣ? Я вытерпѣла все,
Что̀ вытерпѣть возможно человѣку.
Оставь меня, безропотность овечья!
На небеса—терпѣнье неземное!
Оковы прочь—и выходи на свѣтъ,
Давно въ душѣ таящаяся злоба!
А Ты, что̀ василиску далъ, для мести,
Мертвящій взглядъ,—языкъ мой ядовитой
Стрѣлой снабди...

ШРУСБЭРИ.

О, внѣ себя она!
Прости ее, утратившую разумъ!

[Елизавета, онѣмѣвшая отъ гнѣва, бросаетъ на Марію яростные взгляды.]

ЛЕЙСТЕРЪ [сильно встревожонный, старается увести Елизавету].

Не слушай бѣсноватую! Уйди
Отъ мѣста злополучнаго скорѣе!

МАРІЯ.

Ублюдкомъ оскверненъ престолъ британскій!
Кривлякой лицемѣрной одураченъ
Довѣрчивый народъ! Будь право здѣсь
Не попрано, теперь-бы *вы* лежали
Во прахѣ, потому, что *я* — король!

[Елизавета поспѣшно уходитъ; лорды слѣдуютъ за нею въ величайшемъ смущеніи.]

Н. Соколовъ.

КРЫМСКІЕ НАБРОСКИ.

1.

Скажи, какой могучій властелинъ
Свой замокъ тамъ, на гребнѣ горъ поставилъ?
Кому грозилъ съ заоблачныхъ вершинъ,
Что̀ онъ берегъ и чѣмъ себя прославилъ?

И кто его настигъ и одолѣлъ?
Отъ чьей руки твердыни эти пали?
Скажи, какихъ великихъ славныхъ дѣлъ
Передо мной священныя скрижали?

Скажи, что̀ тамъ?
— Ай-Петри... Лишь орламъ
Доступны тѣ изломанныя кручи,—
На ребрахъ горъ, придвинувшись къ скаламъ,
Ночуютъ тамъ кочующія тучи...

2.

У Ай-Петри закатъ догорѣлъ на горахъ,
Лунный столбъ закачался на темныхъ волнахъ,
За камнями у берега тѣни легли,
Ай-Тодорскій маякъ загорѣлся вдали,
Дышетъ ночь горячо... Позабытые сны
Навѣваетъ прибой черноморской волны.
Снова снится, что съ жизнью бороться легко,
Что холодная осень еще далеко,
Что вернется весна, запестрѣютъ цвѣты,
Что теперь не обманутъ, какъ прежде, мечты...

3.

Вчера шелъ дождь... За зеленью густой
Слышнѣй звенятъ немолчные фонтаны,
Съ Ай-Петри внизъ тяжелой пеленой
По кручамъ скалъ, дымясь, ползутъ туманы.

Внизу у скалъ, какъ легкій бѣлый дымъ,
Кипитъ волна жемчужнаго прибоя—
И сквозь туманъ надъ моремъ голубымъ
Горитъ и блещетъ небо голубое...

4.

Старый вязъ въ плющѣ зеленомъ,
Вѣтви медленно склоняя
Въ знойный полдень надъ балкономъ,
Что-то шепчетъ, засыпая...

Этотъ шепотъ полонъ ласки,—
Что онъ шепчетъ?—я не знаю
И подъ звуки южной сказки
Беззаботно засыпаю...

Гюзель-Гермекъ, Алупка.
Августъ 1899 г.

Лейтенантъ С.

I.

Не выдавай своей печали,
Порывы горя заглуши!
Не плачь, чтобъ люди не видали
Горячихъ слезъ твоей души!

Кому близка твоя утрата,
Чужая грусть кому близка?
На торгѣ чувства, въ тьмѣ разврата,
Смѣшна правдивая тоска.

Чужое горе не разбудитъ
Отвѣта теплаго въ другихъ;
Они за то тебя осудятъ,
Что ты смутила радость ихъ.

Но здѣсь, подъ кровомъ ночи бѣлой,
Глядящей сумрачно въ окно,
Не бойся грусти накипѣлой,
Которой сердце стѣснено.

Страданье всякое короче,
Когда повѣдаешь его;
Повѣдай свѣту лѣтней ночи,
Она не скажетъ ничего.

И я, свидѣтель твой случайный,
Твоихъ не выдамъ горькихъ слезъ;
Я поэтическою тайной
Съ собой невольно ихъ унесъ...

Такъ въ холодъ ночи непроглядной,
Въ волнахъ кипучихъ и сѣдыхъ,
Уносишь въ памяти отрадной
Сіянье звѣздъ береговыхъ.

II.

ЗАБВЕНЬЕ.

Да, можетъ быть, въ покоѣ счастья нѣтъ;
Нужна тревога бурь и суета скитаній,
Чтобъ алчущей души унять горячій бредъ
И мигъ забвенія купить путемъ страданій!
Но въ чемъ забвеніе? Не все-ли то равно!
Не въ томъ-ли мудрости сокрытое искусство—
Забвенье тамъ найти, чтобъ, имъ утомленò,
Не мстило за себя поруганное чувство,
И радость не была-бъ позорно отнятà?
Забудешься-ль на мигъ за вымысломъ поэта,
Лобзая-ль искренно любимыя уста,
Или въ сіяніи полуночнаго свѣта
Передъ лампадою и образомъ Христа...

III.

КЪ ПОРТРЕТАМЪ.

1.

Прощая ближнимъ ихъ ошибки
И вѣку лживому чужда,
Ты имъ сочувственной улыбки
Не подарила никогда.

Дорогой, полною лишеній,
Со свѣтлой думой о концѣ,
Среди смятенныхъ поколѣній
Идешь ты съ важностью въ лицѣ.

Ты одинока. Но, быть можетъ,
Незримо для тебя самой,
Твой образъ совѣсть растревожитъ
Въ душѣ отверженныхъ тобой.

Пускай мы нищи духомъ нынѣ,
Но есть въ насъ проблески добра;
И въ мертвой каменной твердынѣ
Сокрыты блестки серебра.

Нерѣдко отъ прямого взгляда
Смолкаютъ рѣчи клеветы,
И зло, лишенное наряда,
Своей не терпитъ наготы.

2.

Всегда шутникъ, всегда проказникъ,
Срывая яркіе цвѣты,
Какъ на веселый, вѣчный праздникъ—
На все кругомъ взираешь ты.

Нужда людей, ея заботы,
Ея печаль — не твой удѣлъ;
Ты всюду видишь цвѣтъ работы,
Ея корней не доглядѣлъ.

Растутъ цвѣты въ тѣни дубравы,
Полны безпечной красоты;
Цари—въ лучахъ всемірной славы —
Не одѣвались, какъ цвѣты.

Но проникалъ-ли ты сознаньемъ
Туда,—откуда вышелъ цвѣтъ,
Чтобъ нѣжныхъ красокъ сочетаньемъ
Открыто выглянуть на свѣтъ?

Рукою мощною природы
На почву брошено зерно,
Съ тѣхъ поръ — на счастье и невзгоды —
Оно на жизнь осуждено.

Борьбы не вынесши усилій,
Иное гибнетъ безъ слѣда:
Принявши образъ розъ и лилій
Не всѣ—пригодны для плода.

П. Порфировъ.

I.

ВЪ ГЛУШИ.

1.

Смѣхъ каменныхъ сердецъ, стонъ каменной столицы
Ко мнѣ не долетятъ въ глушь мирныхъ деревень.
Здѣсь пѣснью дружеской заботливыя птицы
Мнѣ отверзаютъ день.

Тамъ страшно. Тамъ темно. Сердца людей нѣмыя—
Я знаю—не поймутъ завѣтовъ красоты.
Нѣтъ, музы дѣвственной сандаліи святыя
Не ступятъ никогда на плиты суеты.

А здѣсь, когда заря лѣса̀ огнемъ вѣнчаетъ,
И дышетъ, и живетъ благоуханный садъ,—
Она ко мнѣ придетъ и кротко поучаетъ:
Я пѣснями богатъ.

2.

Изъ объятія тьмы, изъ дремучихъ лѣсовъ
Тройка вырвала насъ на раздолье луговъ,
И тоска отлегла, будто темный недугъ.
Чудной тканью хлѣбовъ все пестрѣетъ вокругъ;
Ароматомъ полей жадный вздохъ напоенъ.
Затерялся въ прекрасной дали небосклонъ...
Необъятная даль!..
Но за гранью полей
Вновь грозятъ намъ лѣса тусклой хвоей своей,
И—опять мы во тьмѣ, межъ лѣсныхъ пирамидъ.
Колокольчикъ опять и звенитъ, и гремитъ...
Невеселыя думы подъ стонъ бубенца!
И конца имъ не видно, какъ лѣсу—конца.
Заблеститъ-ли когда солнца яснаго взоръ?
Улыбнется-ли вновь безпредѣльный просторъ?
Тихо! Филинъ зловѣще кричитъ въ тишинѣ,
Въ умъ идутъ все-то грустныя думы однѣ.
О, родная лѣсная моя сторона!
Понялъ я, почему твоя пѣсня грустна.

3.

Подъ звонъ бубенчиковъ печальный,
Качаясь, мчится нашъ возокъ.
Навстрѣчу намъ патріархальный
Бѣжитъ уѣздный городокъ:

За занавѣскою кисейной
Огонь лампадъ у образницъ;
Навѣсы лавки бакалейной—
Съ кнутами, съ грудой рукавицъ;

И горожанокъ видъ степенный,
И мальчикъ, глянувшій въ стекло,
И обликъ дѣвушки мгновенный,
Мнѣ улыбнувшійся свѣтло...

4.

Я въ лѣсъ вхожу съ толпой ребятъ.
Какъ хорошо. Дышать такъ славно.
Да, жаль, не видно только фавна
И убѣгающихъ дріадъ.

Но семилѣтній шустрый Ѳедя
Нежданно мысли угадалъ:
— «Намедни видѣлъ я медвѣдя,
А тятька лѣшаго видалъ!»

5.

Закатъ надъ рощею сосновой
Ужъ встрѣченъ красною луной.
Въ рѣкѣ играетъ цвѣтъ лиловый
И голубой, и золотой.

Въ окно мнѣ видно: надъ полями,
Среди желтѣющихъ сноповъ,
Роса холодными волнами
Ползетъ, скрывая даль лѣсовъ.

Въ деревнѣ сонъ. Лишь безпокойный
Авгуръ примѣтливыхъ старухъ—
Пророча день на завтра знойный,
Кричитъ старательный пѣтухъ.

Но вдругъ звонокъ — какъ-бы въ туманѣ
Поетъ, надъ рѣчкой задрожавъ...
Я забываю о романѣ,
Рѣчь героини оборвавъ.

Иль это—почта опоздала,
Везя далекій мнѣ привѣтъ?
Или судьба гостей послала?
Иль то вернулся нашъ сосѣдъ?

Я жду, а сердце замираетъ...
Я выбѣгаю на крыльцо.
Луна, какъ мать, меня ласкаетъ
И смотритъ въ блѣдное лицо.

II.

АКВАРЕЛЬ.

Низкое, низкое ложе... Средь ложа,
Руки раскинувъ, полуобнаженъ,
Зноемъ безумной любви истомленъ—
Юноша. Пестрая барсова кожа
Падаетъ на полъ. На ложѣ цвѣты,
Ярко пестрѣя по тканямъ измятымъ,
Дышатъ послѣднимъ своимъ ароматомъ.
Нѣжные вянутъ, свернувшись, листы...
Солнечный лучъ прорывается знойно.
Юноша блѣденъ. Измялся вѣнокъ...
Онъ, пресыщенный, усталый, спокойно
Смотритъ на ту, что̀ склонилась у ногъ...

Низко потупила кроткія вѣжды
Нѣжная, юная пери. Она
Дышетъ устало, тиха и блѣдна.
Съ персей, измятыя, пали одежды...
Ахъ, поскорѣй, поскорѣй какъ-нибудь
Скрыть-бы и дѣтскія плечи, и грудь!
Крылья сребристыя въ ласкахъ мятежныхъ
Смяты, надломлено даже одно,—

Каплетъ на перьяхъ его бѣлоснѣжныхъ
Кровь, и дрожитъ, и трепещетъ оно...
Крыльевъ бѣлѣе — блѣднѣютъ ланиты,
Очи широко, по-дѣтски раскрыты:
Кротость безсилья, отчаянье, страхъ,
Горе и слезы въ лазурныхъ очахъ...

К. Бальмонтъ.

ИЗЪ „КРАСНЫХЪ ЦВѢТОВЪ".

1.

Я горько васъ люблю, о, бѣдные уроды,
Слѣпорожденные, хромые, горбуны,
Убогіе рабы, не знавшіе свободы,
Ладьи, разбитыя веселостью волны.

И вы мнѣ дороги, мучительные сны
Жестокой матери, безжалостной природы,
Кривые кактусы, побѣги бѣлены,
И ящерицъ, и змѣй отверженные роды.

Чума, проказа, тьма, убійство и бѣда,
Гоморра и Содомъ, слѣпые города,
Надежды хищныя съ раскрытыми губами,—

О, есть-же и для васъ въ молитвѣ череда!
Во имя Господа, блаженнаго всегда,
Благословляю васъ, да будетъ счастье съ вами!

2.

Я сбросилъ ее съ высоты
И чувствовалъ тяжесть паденья.
Колдунья прекрасная! Ты
Придешь, но придешь, какъ видѣнье.

Ты будешь не мучить меня,
А радовать страшной мечтою,
Созданіе тьмы и огня—
Съ проклятой твоей красотою!

Я буду лобзать въ забытьи,
Въ безумствѣ кошмарнаго пира,
Румяныя губы твои,
Кровавыя губы вампира.

И если я прежде былъ твой,
Теперь—ты мое привидѣнье,
Тебя я страшнѣе—живой,
О, тѣнь моего наслажденья!

Лежи искаженнымъ комкомъ,
Обломокъ погибшаго зданья.
Ты больше не будешь врагомъ...
Такъ помни, мой другъ: До свиданья!

Allegro.

I.

ЗИМНЕЮ ДОРОГОЙ.

Морозная звѣздная ночь... За санями
Неясныя тѣни скользятъ,
Дыханье коней отлетаетъ клубами,
Полозья такъ глухо скрипятъ.

Я ѣду, и сны, пролетая незримо,
Меня задѣваютъ крыломъ;
Мнѣ чудится кто-то далекій, любимый;
Повѣяло прежнимъ тепломъ.

Опять твои руки мнѣ руку сжимаютъ,
Опять замираютъ слова,
И блѣдныя розы изъ тьмы выступаютъ,
И рдѣютъ въ каминѣ дрова.

Опять невозможное яркой зарею
Надъ сумракомъ жизни горитъ;

Я жадно, какъ прежде, внимаю душою
Всему, что оно говоритъ.

А звѣзды далёко и тускло мерцаютъ,
Морозъ все сильнѣй и сильнѣй...
Сѣдыми клубами во мракъ улетаетъ
Дыханье усталыхъ коней.

II.

Я не зову тебя, — въ уединеньѣ
И тишинѣ мнѣ страшенъ твой привѣтъ.
Здѣсь жизнь — какъ легкое проходитъ дуновенье,
Какъ умирающій, вечерній тихій свѣтъ.

Не нужно словъ, они ужъ отзвучали!
И жалости не надо,—счастливъ я:
Тамъ, гдѣ теряются синѣющія дали,
Забрежжитъ мнѣ заря таинственнаго дня.

Я здѣсь молюсь, колѣнъ не преклоняя,
Весь Божій міръ въ тебѣ одной любя,
За всѣ страданія тебя благословляя;
Все понялъ, все простилъ и —не зову тебя.

Аполлонъ Коринфскій.

I.

ЕЛЕНА-КРАСА.

(пѣсенный сказъ.)

1.

Уходи, откачнись,
Въ дальній путь снарядись,
Злая вѣдьма — Тоска неуёмная!
Полно спорить со мной,
Жизни врагъ заклятой —
Счастья-радости гостья бездомная!..

2.

Что мнѣ въ душу глядишь?
Что ты, молча, сидишь,
Въ темный уголъ угрюмо забилася?
Инъ — не хочешь уйти?!.
Такъ найду-жъ я пути
Въ тѣ края, гдѣ тебя не водилося!

3.

Никогда не забыть,
Въ цѣлый вѣкъ не избыть,
Не рѣшить никогда вмѣстѣ спора намъ...
Оставайся одна,
Пей кручину до дна,—
Каркай счастью вослѣдъ чернымъ ворономъ!

4.

Али я не гусляръ?!.
Гусли—Божій мнѣ даръ!..
Пѣсни-думы—дружина хоробрая!
Въ пѣснѣ—счастье мое...
Какъ зачуешь ее,—
По-плечу всё лихое-недоброе!..

5.

Гой ты, борзый мой конь,
Вѣтеръ-конь, конь-огонь!
Конь мой—удаль живая, раздольная...
Только сѣлъ на него—
Не страшусь ничего...
Здравствуй, свѣтлая волюшка вольная!..

6.

Чуть кудрями тряхну—
Разбужу старину,
Всколыхну старину посѣдѣлую:
Кинетъ въ холодъ и въ жаръ,
Зачаруетъ безъ чаръ—
Окрылитъ душу, въ помыслахъ смѣлую!

7.

Вотъ ударю я самъ
По гусельнымъ струнамъ;
Вотъ взовьюсь—полечу вольной птицею
И надъ грустью своей
Насмѣюсь веселѣй
Пѣсней-былью, мечтой-небылицею...

8.

Надъ привольемъ степнымъ,
Надъ оплотомъ лѣснымъ,
Надъ горами промчусь надъ толкучими,
Затеряюсь вдали
Отъ страданій земли,
Какъ щитомъ—принакроюся тучами...

9.

Изъ заоблачныхъ горъ
Опущусь въ тёменъ-боръ
И поѣду тропой неторёною...
Самъ хозяинъ лѣсной,
Словно листъ предъ травой,
Встанетъ вровень съ вершиной зелёною...

10.

Свистнетъ,—пѐсвистъ пойдетъ;
Гаркнетъ,—листъ опадетъ;
Смѣхъ промчится волной перекатною...
И средь бѣлаго дня
Лѣсъ обвѣетъ меня
Тайной тайнъ—тишиной необъятною...

11.

Конь! Быстрѣй меня мчи
Темнымъ лѣсомъ въ ночи!
Держимъ путь къ теремамъ заколдованнымъ...
Будетъ баба-яга
Намъ въ дорогѣ слуга—
Проведетъ насъ путемъ очарованнымъ!..

12.

А не встрѣтимъ ее,—
Знаю слово свое:
Только молвить словечко завѣтное,
И—пріѣдемъ какъ-разъ
Въ тотъ-же мигъ, въ тотъ-же часъ
Въ царство сказокъ, живымъ непримѣтное.

13.

Вотъ и стѣны, дворцы,
Гордыхъ башенъ вѣнцы;
Конь, какъ вкопанный, всталъ передъ стражею...
Не проѣхать-бы намъ
Къ золотымъ теремамъ,
Лечь костьми-бы предъ силою вражею!

14.

Только—есть про запасъ
Диво-шапка у насъ,
Что не-даромъ слыветъ невидимкою,—
Взялъ—надѣлъ: въ тотъ-же мигъ
Прямо въ теремъ проникъ,
Принакрытъ—что туманною дымкою.

15.

Въ терему—чудеса...
Тамъ—Елена-Краса
Въ полону у Кощея треклятаго
Дремлетъ-спитъ тридцать лѣтъ,—
Словно просыпу нѣтъ
Ей отъ сна, чародѣемъ заклятаго.

16.

Спитъ... Ни въ сказкѣ сказать,
Ни перомъ описать
Всю ея красоту несказанную!
Спитъ... Румянецъ зарить
Снѣжный бархать ланитъ...
Грудь колышетъ парчу златотканную...

17.

Скинулъ шапку свою,
Тронулъ гусли—пою...
Вижу: тѣнь отъ рѣсницъ колыхнулася;
Вижу: очи глядятъ...
Глубже моря ихъ взглядъ!
Вижу: дѣва-краса улыбнулася...

18.

Что отъ полымя—ледъ,
Сонъ растаялъ... Встаетъ
Полонянка-царевна нездѣшняя...
Я смотрю, чуть дыша:
Хороша, хороша—
Ровно алая зоренька вешняя!..

19.

Встала... Прямо—ко мнѣ...
Внемлю я—какъ во снѣ...
Слово молвила: «Кто ты?»—«Желанная!
Счастье-радость моя!
Это—я, это—я:
Твой царевичъ, Краса несказанная!..

20.

«Долго въ мірѣ блуждалъ,
Долго я тосковалъ
По тебѣ, самъ не зная—не вѣдая:
Кто ты, гдѣ ты, о комъ
Я вздыхаю тайкомъ
За веселымъ за пиромъ-бесѣдою!..»

21.

Сгинулъ сонъ, сгинулъ плѣнъ;
Мы прошли мимо стѣнъ,—
Только шапкой слегка принакрылися...
«Гей, мой конь, вѣрный конь!
Вѣтеръ-конь! Конь-огонь!»—
И—взвились, понеслись и сокрылися...

22.

Не найдешь ты, Кощей,
Полонянки своей,—
Хоть гонись за ней всѣми дорогами!
Свѣтъ-Елена-Краса,
Золотая коса,
Распростилась съ твоими чертогами.

23.

Увезу я ее—
Съ нею счастье мое—
Въ ту страну, въ тѣ края чужедальные.
Гдѣ не гаснетъ заря,
Въ царство Свѣта-царя,
Гдѣ красуются горы хрустальныя...

24.

Буду пѣсни ей пѣть,
Стану въ очи глядѣть,—
Въ тѣ-ль глубокія оченьки черныя,—
Цѣловать-миловать,
Заплетать-расплетать
Буду волны кудрей непокорныя...

25.

Уходи, откачнись!
Отъ меня сторонись,
Злая вѣдьма, Тоска неуёмная!..
Полно спорить съ мечтой,
Жизни врагъ заклятой,
Счастья-радости гостья бездомная!..

7 октября 1899 г.
С.-Петербургъ.

II.

ЧУРИЛА.

(БЫВАЛЬЩИНА.)

1.

Гостя фряжскаго повадка,
Статный ростъ, могучій складъ,
Молодецкая ухватка,
Пестрый щеголя нарядъ.

Плащъ алѣетъ, убѣгая
Съ богатырскаго плеча;
На камзолѣ—дорогая
Венецейская парча.

Гривна свѣтлая надѣта;
Княжьей воли щедрый даръ—
По два камня-самоцвѣта
О-бокъ съ нею льютъ свой жаръ.

Шапка жемчугомъ расшита,
Кольца-перстни на рукахъ;

По лицу краса разлйта,
Удаль искрится въ глазахъ.

Глянетъ влѣво, глянетъ вправо,
Брови—пара соболей;
Выступаетъ—павой-пава,
Крутитъ усъ всё веселѣй...

Двое слугъ надъ головою
Алый солнопникъ несутъ;
Скороходы булавою
Раздвигаютъ праздный людъ:

«Разступись, громада-сила!
Дай дорогу, смердъ-народъ!
Это—Пленюнчъ Чурила
Вдоль по Кіеву идетъ!..»

2.

Всѣмъ давно Чурила вѣдомъ,
Да всѣмъ па́-диво всегда;
Всѣ за нимъ толпятся слѣдомъ,
Чуть покажется куда...

Смотритъ старый, смотритъ малый,—
Хоть давно къ нему привыкъ;
Ротъ разинетъ небывалый
Деревенщина-мужикъ!

Всѣ вокругъ него тѣснятся,
Шумъ и гамъ стоитъ кругомъ;
Молодицы заглядятся
Въ окна рубленыхъ хоромъ;

Красны дѣвушки-красотки
Богатырскій ловятъ взглядъ;
Всѣ лебёдушки-молодки
Изъ-подъ рученьки глядятъ...

Правды-ль мало, лжи въ томъ много-ль,—
Только молвятъ неспроста̀,
Что плѣнилъ сурожскій щеголь
Приднѣпровскія мѣста:

Взглядъ красавца удалова
Въ сердцѣ полымя зажжетъ;
Невзначай обронитъ слово,—
Умъ за разумъ заведетъ!

Всѣ зазнобы городскія
Отъ Чурилы безъ ума,—
Свѣтъ-княгиня Апраксія
Призадумалась сама!..

3.

Князь Владиміръ про Чурилу
Раньше слыхомъ не слыхалъ,—
За богачество, за силу,
За красу облюбовалъ.

Вдоль по займищамъ съ дружиной,
Знать не зная—что̀ за страхъ,
Тѣшилъ правъ свой соколиный
Онъ на княжьихъ островахъ.

Не одно звѣрьё въ тенета,
Не однѣхъ ловилъ онъ птицъ,—

Всюду лавливалъ безъ счета
И молодокъ, и дѣвицъ...

Ходу нѣтъ гостямъ торговымъ,
А гостейкамъ молодымъ —
Круглолицымъ, чернобровымъ —
Только-бъ встрѣнуться гдѣ съ нимъ!..

Въ княженецкія палаты
Про Чурилины дѣла
Отъ дружинника Бермяты
Челобитьемъ вѣсть дошла.

За насильникомъ-дѣтиной
Князь съ дружиной—по слѣдамъ;
Шелъ, настигъ... А тотъ съ повинной...
— «На него суда не дамъ!» —

Молвилъ Солнышко-Владиміръ,—
«Пусть ко мнѣ служить идетъ!
«Вижу я: еще не вымеръ
«Богатырскій славный родъ!»

4.

Не сурожскій своевольникъ,
Не нахвальщикъ-чудодѣй —
Сталъ Чурила княжій стольникъ,
Побратимъ богатырей...

Богатырской силы завязь
Тѣшилъ Пленковичъ красой,
Щегольствомъ заморскимъ славясь,
Удивляя людъ честной...

Гдѣ засилья не хватало,
Удалая голова
На помогу шла, — не мало
Выручала и молва!

Объ закладъ побьётся даже, —
Такъ за щеголя готовъ
Поручиться самъ свѣтъ-княже
Хоть любымъ изъ городовъ!

За Чурилу Кіевъ стольный,
За него — Черниговъ-градъ...
Нѣтъ на всей Руси раздольной
Для него ни въ чемъ преградъ!

Похвальбой хвальбѣ ревнуя,
Разбахвалился: — «Въ бою
Всю костьми сложить могу я
Богатырскую семью!»..

Ой, суроѣцъ, гость заѣзжій!
Мочь бахвальствомъ не сломить!
По дорожкѣ прямоѣзжей
Лучше — удали ходить!..

5.

Неспроста̀ Чурила, спро̀ста-ль
Шелъ къ Бермятину двору, —
Съ пира шелъ онъ, сытъ былъ вдосталь
Пьянымъ мёдомъ — не къ добру...

Былъ Бермята старый воя;
Хоть и крѣпокъ былъ — какъ дубъ,

Да жена моложе вдвое,
Да Чурила сталъ ей любъ!

Охъ, какъ по̀-сердцу, по нраву
И ему пришлась она:
Честь и по̀честь, удаль, славу
Замѣнить могла одна!..

Не впервой они встрѣчались
Въ ночь и за̀-полночь тайкомъ,
Миловались—потѣшались
Надъ храпѣвшимъ старикомъ!

Только въ этотъ разъ Бермятѣ
Сонъ и глаза не смежилъ...
Легъ онъ—рядомъ на полати
Мечъ завѣтный положилъ...

А на-утро —въ теремъ княжій,
Молвитъ:—«Жизнь—въ твоихъ рукахъ!
Только больше силѣ вражей
Не ходить въ богатыряхъ!

«Больше щеголю Чурилѣ
Чужемужнихъ женъ не знать!
Пусть бахвалится въ могилѣ,—
Изъ сырой земли не встать!»..

6.

Тризну правитъ со̀-дня на̀-ночь
Богатырская семья:
Здѣсь и юный Дюкъ Степанычъ,
Тутъ—сѣдой старикъ Илья;

И Поповичъ, и Добрыня,
И Потокъ — Михайло-свѣтъ;
Только въ княжеской дружинѣ
Одного Чурилы нѣтъ...

Крѣпко спитъ онъ сномъ нежданымъ;
Съ нимъ зарытъ любимый конь...
Предъ насыпаннымъ курганомъ
Пышетъ жертвенный огонь...

Плещетъ медъ, смѣняя брагу;
Турій рогъ кругомъ пошелъ;
Богатырскую-жъ отвагу —
Словно лѣшій обошелъ!

Лишь Илья главы не пуритъ,
Не братается съ тоской, —
Старый только брови хмуритъ
Да глядитъ за Днѣпръ сѣдой...

«Мало-ль насъ, — онъ мыслитъ, — много-ль
Остаётся на Руси, —
Отъ такихъ, какъ этотъ щеголь,
Князя, Боже, унаси!..

«Въ похвальбѣ-ли наша сила?
Въ щегольствѣ-ль родная ширь?!..
Бабій прихвостень Чурила,
А не нашъ братъ — богатырь!»..

5 сентября 1899 г.,
Лѣсной.

В. Мазуркевичъ.

ДУМА.

Читая надписи заброшенныхъ гробницъ,
По кладбищу мы шли веселою толпою
И попирали прахъ когда-то милыхъ лицъ
Безъ сожалѣнія презрительной пятою.
А день былъ такъ хорошъ!.. Весеннее тепло
Ласкало кладбище и старыя могилы;
И было на душѣ привѣтливо, свѣтло,
И чудился приливъ какой-то новой силы.
По рыхлому песку запущенныхъ аллей,
Еще не тронутыхъ могильщика лопатой,
Бродили мы толпой; завѣтнѣй и святѣй
Казалось намъ все то, что́ раньше было свято.
Казалось, жизнь и смерть средь вѣковыхъ дубовъ
Въ одной гармоніи слились необычайной,
И вѣяло кругомъ нездѣшней, дивной тайной,
Безмолвною—но всѣмъ понятною безъ словъ.
Здѣсь чуялся во всемъ безсмертной жизни трепетъ;
Дыханье вѣтерка, и шелестъ вешнихъ травъ
Подъ дерзкою стопой звучалъ, какъ тихій лепетъ,
Уму усталому твердившій:—«Ты не правъ,

«Не бойся смерти! Нѣтъ небытія и тлѣнья!
«Смерть—та-же жизнь; она является во всемъ:
«И въ шелестѣ листовъ, и въ вѣтра дуновеньѣ,
«И въ тишинѣ могилъ, разбросанныхъ кругомъ.
«Ты думаешь—мертвы забытыя могилы,
«Ты думаешь—въ нихъ смерть, бездѣйствіе и мракъ...
«Откуда-жъ черпаетъ красу свою и силы
«И этотъ мощный дубъ, и этотъ слабый злакъ?
«Тамъ, въ глубинѣ могилъ—зародышъ новой жизни.
«И, претворяясь въ ней обычною чредой,
«Жизнь воспаряетъ вновь къ покинутой отчизнѣ,
«Чтобъ слиться навсегда съ душою міровой.
«Жизнь—всюду и во всемъ!.. Небытіе и тлѣнье
«Измыслилъ человѣкъ, но ихъ въ природѣ нѣтъ.
«Не исчезаетъ въ ней ни помыслъ, ни движенье;
«Ты будешь вѣчно жить—какъ воздухъ, или свѣтъ»...
И тамъ, среди могилъ, гдѣ все полно молчаньемъ,
Гдѣ раньше, мнилось намъ, царила смерть во всемъ,
Мы гордо шли впередъ съ бодрящимъ умъ сознаньемъ,
Что мы, мы—смертные—вовѣки не умремъ!..

Н. Минскій.

ВОЛНЫ.

(симфонія.)

1.

Я слушалъ ихъ вблизи, межъ травъ и скалъ,
Куда прибой ихъ велъ, спѣша безцѣльно,
Гдѣ вѣтеръ сторожилъ ихъ и ласкалъ.
И каждая волна, звуча отдѣльно,
Свѣтлѣй небесъ, чуть воздуха темнѣй,
Смѣялась и плясала вкругъ камней,
Иль мчалась, впереди сестеръ мятежныхъ,
На бронзовый помостъ песковъ прибрежныхъ.
То былъ прозрачный смѣхъ и молодой,
И я сказалъ:—«Вотъ торжество мгновеній,
Бѣгущихъ къ намъ немолчною чредой
Изъ тишины глубинъ и отдаленій!»
Вдали синѣлъ угрюмый океанъ,
Но бѣлой пѣны тающій обманъ
Звучалъ у береговъ, гдѣ, солнцу рады,
Играли волны—вольныя наяды.
И солнца лучъ ихъ влажныя тѣла
Пронизывалъ пылающимъ лобзаньемъ,

И каждая волна была свѣтла,
Какъ свѣтлый мигъ, проникнутый сознаньемъ.
На гладкомъ днѣ, сквозь трепетный кристаллъ,
Я тайны волнъ безпечныя читалъ,
Движенья травъ, съ дыханьемъ моря дружныхъ,
Мельканье рыбъ средь раковинъ жемчужныхъ.

2.

Межъ тѣмъ, приливъ изъ бездны водъ возросъ,
И къ безднѣ водъ склонился день багряный.
Обрызганъ пѣною, покинулъ я утесъ
И съ берега бѣжалъ на холмъ песчаный.
Оттуда пѣнья волнъ я не узналъ.
Ихъ голоса раздѣльные средь скалъ,
Ихъ буйный смѣхъ, и звонъ, и шопотъ влажный
Теперь слились въ печальный гулъ протяжный.
И этотъ слитный гулъ въ вечерній часъ
Звучалъ, какъ дальній хоръ воспоминаній,
Всегда равно безрадостныхъ для насъ—
Поютъ-ли гибель счастья, иль страданій.
Какъ-будто вслѣдъ за умиравшимъ днемъ
Наяды шли и плакали по немъ,
И день, имъ внемля, гаснулъ безъ возврата
И умиралъ отъ жгучихъ ранъ заката.
И кровь его лилась на неба сводъ,
На облака, на море въ дали синей,
Гдѣ солнца шаръ, коснувшись черныхъ водъ,
Казался то курганомъ надъ пустыней,
То куполомъ, то пламеннымъ шатромъ,
Дрожалъ, какъ-бы колеблемъ вѣтеркомъ,
И скрылся за пучиною студеной,
Прощальный бросивъ мертвый лучъ зеленый.

3.

И въ тотъ-же мигъ въ поблекшей синевѣ
Замолкла трель, и жаворонокъ сонный
Упалъ въ гнѣздо, сокрытое въ травѣ,
И вѣтръ морской, внезапно охлажденный,
Меня сырымъ дыханьемъ пронизалъ.
Казалось, краски жизни онъ стиралъ
И въ саванъ тусклый, сѣрый и тяжелый
Поспѣшно куталъ небеса и долы.
И я спѣшилъ, опутанъ сѣрой тьмой,
Съ холма на холмъ, черезъ пески и кочи.
О, мертвый часъ межъ солнцемъ и луной,
Межъ явью дня и сновидѣньемъ ночи!
Вдали маякъ вращалъ цвѣтнымъ зрачкомъ,
Трава свистѣла жалобно кругомъ,
А тамъ, въ туманахъ влажныхъ, гдѣ Капелла
Зажглась пятномъ, морская бездна пѣла.
Но я не могъ ту пѣснь уразумѣть.
Когда-жъ прошло души оцѣпенѣнье,
Межъ небомъ и землей дрожала сѣть
Лучей прозрачныхъ, и, какъ сновидѣнье,
Землѣ уснувшей грезилась луна,
И небу снилась блѣдная страна,
Похожая на прежній брегъ холмистый,
И морю снился трепетъ звѣздъ лучистый.
И понялъ я ту пѣсню безднъ морскихъ.
То былъ не смѣхъ мелькающихъ мгновеній,
Не плачъ воспоминаній, чуть живыхъ,
А ровный шумъ глубинъ и отдаленій,
Дыханье жизни предъ лицомъ судьбы,
Разсказъ безъ чувствъ, молитва безъ мольбы.
Печаль и радость умерли безслѣдно,
А пѣснь звучитъ безстрастно и побѣдно.

Э. Ясинскій.

* * *

Цвѣла, какъ сонъ, моя весна.
Я вышелъ въ садъ—и тамъ она,
И шепчетъ:—«Сонъ, волшебный сонъ,
Какъ счастливъ онъ, какъ сладокъ онъ!»

И жизнь моя прошла, какъ сонъ.
Я вышелъ въ садъ—и мраченъ онъ.
Я вышелъ въ садъ—и не весна,
А смерть, въ саду—подруга сна.

1899 г.

Кн. Э. Ухтомскій.

1.

Весна... Со дна души опять встаетъ смятенье,
Опять въ твоихъ глазахъ я вижу странный блескъ:
О, спой мнѣ, какъ и встарь, про то, что жизнь—видѣнье,
А сердца тихій бредъ-что̀ моря скорбный плескъ.
Я призову въ союзъ завѣтныя мечтанья,
Умчусь за область грезъ, куда потерянъ слѣдъ,
Гдѣ въ гордомъ прошломъ спятъ святыя упованья,
И смотритъ въ душу мнѣ иной, небесный свѣтъ...

Надъ царственной Невой, закатомъ озаренной,
Отъ оконъ золотыхъ струился токъ лучей;
На тверди голубой, въ зарю преображенной,
Вечерній день алѣлъ все ярче, горячѣй...
А отблескъ облачковъ задумчивыхъ и нѣжныхъ
Сквозь розовый туманъ то таялъ, то блѣднѣлъ;
И, ширясь въ цѣлый гимнъ какихъ-то водъ безбрежныхъ,
Твой голосъ крѣпъ, и росъ, и радужно звенѣлъ
Про праздникъ красоты, въ созвучья облеченной,
Про силу чаръ ея надъ скудостью земной...
А въ грудь лилась тоска отъ пѣсни вдохновлённой,
Теряясь и стеня порвавшейся струной...

II.

Мы разлюбили... Въ душѣ догораетъ послѣдняя нѣга...
Все, что возможно забыть, потускнѣло, забыто,—
Нѣтъ уже нѣжныхъ цвѣтовъ, гдѣ синѣетъ земля изъ-подъ снѣга:
Взглянемъ-же правдѣ въ лицо... безъ обмана, открыто.
Ты—воплощенье природы, творящей, не зная причины;
Я—ослѣпленная воля въ оковахъ мучительной грезы;
Жизни обманчивый зовъ... это—голосъ пучины...
Въ мірѣ одно только есть: это—тихія, тайныя слезы.
Но у меня на душѣ не бывать и такому ненастью!
Жажда иного блаженства сжигаетъ мнѣ сердце и очи:
Холодъ забвенья подкрался къ мелькнувшему счастью...
Ниже и ниже покровъ разлучающей ночи.

К. Случевскій.

ПѢСНИ ИЗЪ „УГОЛКА“.

1.

Когда я здѣсь, я не могу писать;
Въ строкахъ набрасываю только впечатлѣнья,
Чтобы зимой мечтамъ предоставлять
Отдѣлку смысла ихъ и правду заключенья.
Здѣсь много такъ и красокъ, и тѣней;
Тутъ столько прелестей отвсюду возникаетъ,
Что, мнится, тѣсно всей душѣ моей;
И слово, мысли вслѣдъ, идти не поспѣваетъ.
Зато зимой, когда не будетъ ихъ,
Они таинственно возникнутъ предо мною—
Во всей ихъ правдѣ, въ краскахъ молодыхъ,
Съ очарованіемъ и скромной простотою.
И буду въ нихъ, какъ въ рощахъ, я гулять,
Въ нихъ буду счастливъ я, во мнѣ настанетъ лѣто;
О чемъ мечталъ—съумѣю домечтать,
Что недопѣто мной, то будетъ мной допѣто...

2.

Какая ночь! Зашелъ я въ хату...
Весь лѣсъ лучами озаренъ
И, какъ по кованному злату,
Тѣнями ночи зачервленъ.

Сквозь крышу, крытую соломой,
Мнѣ мнится—будто я цвѣтокъ
Съ его полу́ночной истомой,
Съ сіяньемъ мѣсяца у ногъ!

Вся хата—то мои покровы,
Мой цвѣтень и листва моя...
Должно-быть, всѣ цвѣты дубровы
Теперь мечтаютъ, какъ и я!

3.

Смотри впередъ, внѣ нынѣшней минуты!
Въ той, что идетъ, не властенъ ты вершить;
Такъ великій условій жизни путы,
Что ихъ тебѣ ни снять, ни сокрушить.

Безсиленъ ты,—какъ конь въ степи стреноженъ.
Что въ томъ, что онъ, какъ вѣтеръ, быстръ и смѣлъ?
Когда-то раньше былъ твой бѣгъ возможенъ;
Помчаться могъ-бы ты—но не съумѣлъ.

Смотри впередъ! Увидишь просвѣтлѣнье!
Теперь, сейчасъ сознай, предупреди—
И будешь ты хозяиномъ движенья
Съ отвагой въ мысляхъ, съ силами въ груди.

О, вѣрь мнѣ, вѣрь! Когда-бы люди знали,
Что̀ значитъ власть имѣть въ минутѣ, что идетъ,
И, вѣруя въ себя, безъ страха, безъ печали,
Могли смотрѣть сознательно впередъ!..

4.

Что имъ стиха размѣрный звонъ?
Отъ нихъ—смѣшки и отрицанье...
Но прозвучитъ для нихъ и онъ
И грозно вынудитъ признанье.

Какъ? Неизвѣстно! Можетъ быть,
Услышатъ въ скорбный часъ, ревнуя,
Какъ стихъ, просящій полюбить,
Смутитъ ихъ женъ для поцѣлуя?

Поймутъ-ли въ тягости труда,
Какъ пѣсня силы удвояетъ;
Впадутъ-ли въ горе—какъ тогда
Бѣдняку пѣсня ублажаетъ?

Но ужъ навѣрное для нихъ,
Совсѣмъ не требуя ихъ мнѣнья,
Заголосятъ надгробный стихъ,
И это будетъ—безъ сомнѣнья!

5.

А знаете-ли вы, что ясной мысли вслѣдъ
Идти возможно; тутъ неправды нѣтъ...
Идешь какъ будто-бы на чьихъ-то помочахъ,
И видится не то, что значится въ очахъ;
Звучитъ безмолвное, звучащее—молчитъ,
И окружающаго нѣтъ... Вокругъ лежитъ,
Какъ-бы дѣйствительность, міръ—нашему чужой,
Безличный въ личностяхъ, ни мертвый, ни живой...
И боль физическая можетъ, иногда,
Не чувствоваться, не давать слѣда!
Чудесенъ путь по области идей!
Міръ, явленный на свѣтъ въ восьмой изъ первыхъ дней!
Ты—внѣ обязанностей, внѣ обычныхъ правъ:
Ни добръ, ни золъ, ни честенъ, ни лукавъ...

И еслибъ пуля дать отвѣтъ могла,—
Зачѣмъ она не тутъ, а тамъ и такъ, прошла,
Зачѣмъ стремительно, безъ воли, безъ ума,
Цѣль раздробивъ, расплюснулась сама,—
Вотъ, думается мнѣ, отвѣтъ ея простой:
«Со мною было то, что было и съ тобой!
При чемъ желанье тутъ—мое, или твое?
Я неповинна... Я—исполнила свое...»

Все чаще, что ни день, чтобы спокойнѣй быть,
Мучительно люблю за мыслью вслѣдъ бродить,
Безумно вѣруя въ живую власть ума
И въ то, что будетъ свѣтъ тамъ, гдѣ витаетъ тьма...
Все рушится вокругъ, нѣтъ правды, нѣтъ основъ.—
Несокрушима жизнь постигшихъ жизнь умовъ!

6.

Гуляя въ сіяньѣ заката,
Чуть видную тѣнь я кидалъ,
А мѣсяцъ—въ блистаніи злата—
Навстрѣчу ко мнѣ выплывалъ.

Съ двухъ разныхъ сторонъ освѣщаемъ,
Я думалъ, что былъ окруженъ
Тѣмъ міромъ, что нами не знаемъ,
Гдѣ нѣтъ ни преградъ, ни сторонъ!

Подъ теплою, мягкою чернью
Въ листвѣ опочившихъ тѣней,
Сіяла роса мелкой зернью
Недвижныхъ, холодныхъ огней.

Мнѣ вспомнились чувства былыя:
Полъ-вѣка назадъ я любилъ
И два очертанья живыя
Въ одномъ моемъ сердцѣ носилъ.

Стоцвѣтныя чувства свѣтились,
И былъ я блаженствомъ богатъ...
Но двое во мнѣ не мирились...
И мѣсяцъ погасъ, и закатъ!

7.

Нѣтъ, никогда никто всей правды не узнаетъ
Позора твоего земного бытія.
Синклитъ свидѣтелей съ годами вымираетъ—
И не по волѣ, нѣтъ, случайно, знаю я.

Оправдывать тебя—никто мнѣ не повѣритъ;
Меня сообщникомъ, пожалуй, назовутъ:
Всѣ люди про запасъ, на случай, лицемѣрятъ,
Чтобъ обѣлить себя, виновныхъ выдаютъ!

Но, если глянетъ часъ послѣднихъ показаній,
Когда все бренное торжественно сожгутъ
Пожары всѣхъ міровъ и всѣхъ ихъ сочетаній,—
Людскія совѣсти проступятъ и взойдутъ!

И зацвѣтутъ онѣ не дерзко—торопливо,
Не въ дикомъ ужасѣ, всей сутью трепеща;
Нѣтъ, совѣсти людей проступятъ молчаливо,
Въ глухомъ безмолвіи лишь обликомъ крича!

Тогда увидятся такія вырожденья,
Что ты—въ единственной, большой винѣ твоей—
Проглянешь, въ затхлости посмертнаго цвѣтенья,
Чистѣйшей лиліей, красавицей полей.

Ѳ. Фидлеръ.

„DER EINTAGS-HELD".

VON N. A. NEKRASSOW. UEBERTRAGEN VON F. FIEDLER.

Folgt dem nebelnden Tage die nebelnde Nacht,
Pfeift im Schlote des Herbstwindes Klagen—
Senkt aufs Herz sich mir Dunkelkeit sacht,
Bannt den Geist mir ein dämmerndes Zagen.
Nur im Schlummer vergisst sich, wer krank—
Doch der Schlaf ist nicht Jedermanns Sache!
Heut ist frostig die Nacht, Gott sei Dank,
Und ich quäle mich nicht, nun ich wache.
Durch das grenzlose Feld schreit ich. Hell
Erklingen die Schritte. Da schnattert
Am Teiche das Entenvolk gell;
Erschrocken vom Heuschober flattert
Ein Habicht empor. Wie gemach
Die Schwingen, die mächtigen, rauschen!
Ich schaue voll Neides ihm nach
Und steh in bewunderndem Lauschen.
Horch, da knarrt vor dem Sandsteinbruch
Eine Fuhre; nach Theer riecht's vom Wege...

РЫЦАРЬ НА ЧАСЪ.

Если пасмуренъ день, если ночь не свѣтла,
Если вѣтеръ осенній бушуетъ,—
Надъ душой воцаряется мгла,
Умъ, бездѣйствуя, вяло тоскуетъ.
Только сномъ и возможно помочь,
Но, къ несчастью, не всякому спится...
Слава Богу! Морозная ночь,—
Я сегодня не буду томиться.
По широкому полю иду,
Раздаются шаги мои звонко,
Разбудилъ я гусей на пруду,
Я со стога спугнулъ ястребёнка:
Какъ онъ вздрогнулъ! Какъ крылья развилъ!
Какъ взмахнулъ ими сильно и плавно!
Долго, долго за нимъ я слѣдилъ,
Я невольно сказалъ ему: славно!
Чу, стучитъ проѣзжающій возъ,
Деготькомъ потянуло съ дороги...

In der Kälte ist scharf der Geruch,
Frisch die Denkkraft, die Leibeskraft rege.
O Natur, du befeuerst mein Blut
Zu erneutem, geläutertem Leben,
Du hebst mir den sinkenden Mut,
Weckst in mir nach Freiheit das Streben!
Mein Herz jauchzt opferbereit,
Von Thatenlust hingerissen...
Da gedenk ich geschwundener Zeit—
Und sein Klagelied singt das Gewissen!..
Schweig, Reue! Gar übel gewählt
Ist die Stunde zur Selbstverachtung!
Diese Mitternacht hat mich beseelt,
Ihr weih ich des Dichters Betrachtung!..
Die Höhe blaut durchsichtig klar
Und abgrundtief. Ueber dem Haine
Erflimmert es wunderbar
Von Sternen im Mondenscheine.
Blau starren die Wasser ringsum,
Es umhüllen in zaubrischer Feier
Die Erde weissstrahlende Schleier
Und Schatten, geheimnissvoll stumm.
Wie die Blicke ich senke und hebe—
Bis zum feinsten Spinnegewebe,
Das wie Raureif den Boden bedeckt,
Weist sich Alles mir deutlich. Ich sehe
Den Buchweizen ganz in der Nähe,
Der rostbraun sich thalwärts erstreckt.
An der schlafenden Aecker Raine
Ragt des Waldes entblätterter Kranz;
Wie spielt in dem Mondenscheine
Seiner Farben schillernder Glanz!
Unterscheidbar im silbernen Lichte
Ist der Ahorn vom Eichenbaum,—

Обоняніе тонко въ морозъ,
Мысли свѣжи, выносливы ноги,
Отдаешься невольно во власть
Окружающей бодрой природы;
Сила юности, мужество, страсть
И великое чувство свободы
Наполняютъ ожившую грудь;
Жаждой дѣла душа закипаетъ,
Вспоминается пройденный путь,
Совѣсть пѣсню свою запѣваетъ...
Я совѣтую гнать ее прочь—
Будетъ время еще сосчитаться!
Въ эту тихую, лунную ночь
Созерцанію должно предаться.
Даль глубоко прозрачна, чиста,
Мѣсяцъ полный плыветъ надъ дубровой,
И господствуютъ въ небѣ цвѣта
Голубой, бѣловатый, лиловый.
Воды ярко блестятъ средь полей,
И земля прихотливо одѣта
Въ волны бѣлаго луннаго свѣта
И узорчатыхъ, странныхъ тѣней.
Отъ большихъ очертаній картины
До тончайшихъ сѣтей паутины,
Что̀, какъ иней, къ землѣ прилегли—
Все отчетливо видно: далече
Протянулися полосы гречи,
Красной лентой по скату прошли;
Замыкающій сонныя нивы,
Лѣсъ сквозитъ, весь усыпанъ листвой;
Чудны красокъ его переливы
Подъ играющей ясной луной;
Дубъ-ли пасмурный, клёнъ-ли веселый—
Въ немъ легко отличишь издали;

Da hockt auf der morschen Fichte
Ein Rabe und regt sich im Traum.
Nun bietet des Herbstes Segen
Ihren Kindern die Mutter Natur:
Die Wintersaat grünt auf der Flur,
Gelb blinkt der Hanf allerwegen;
Die Heuschober stehen bei Nacht
Wie Riesensoldaten auf Wacht—
Mein Auge schwelgt im Entzücken!
Es strahlte auch Seligkeit,
Wenn's mir vergönnt wär, zur Zeit
Auf mein heimatlich Dörfchen zu blicken...
Da liegt es, das Muttererbe!
Die nackte Armut, die herbe,
Wo ist sie? Längst eingebracht,
Ragt in Säcken der Kornschatz der Aehren...
Schlafe friedlich, mein Dorf, gute Nacht!
Magst wohl müde sein, uns zu ernähren!..

Suche Labung im Schlafe, wer kann!
Im Feld steh ich sinnenverloren
In trüber Erinnerung Bann,
Die ich grausam heraufbeschworen.
O, trüge ein Geist mich jetzt fort
Zu dem Grabe, dem fernen, dem kleinen,
Drin die Mutter mir schläft; an dem Hort
Meines Glücks möchte schluchzend ich weinen!..

Fernab von der Städte Gedräng,
In endloser Steppen Gepräng,
Auf niedrigem Hügel, vom bleichen
Gestrahle des Mondes gebannt,
Lugt eine Kirche ins Land;
Schwarz malt an der weissen Wand

Грудью къ сѣверу, воронъ тяжелый—
Видишь—дремлетъ на старой ели!
Все, чѣмъ можетъ порадовать сына
Поздней осенью родина-мать:
Зеленѣющей озими гладь,
Подо льномъ золотая долина,
Посреди освѣщенныхъ луговъ
Величавое войско стоговъ,
Все доступно довольному взору...
Не сожмется мучительно грудь,
Еслибъ даже пришлось въ эту пору
На родную деревню взглянуть:
Не видна ея бѣдность нагая!
Запаслася скирдами, родная,
Окружилася ими она
И стоитъ, словно полная чаша.
Пожелай ей покойнаго сна!
Утомилась, кормилица наша!..

Спи, кто можетъ—я спать не могу,
Я стою потихоньку, безъ шуму,
На покрытомъ стогами лугу
И невольную думаю думу.
Не умѣлъ я съ собой совладать,
Не осилилъ я думы жестокой...
Въ эту ночь я хотѣлъ-бы рыдать
На могилѣ далекой,
Гдѣ лежитъ моя бѣдная мать...

Всторонѣ отъ большихъ городовъ,
Посреди безконечныхъ луговъ,
За селомъ, на горѣ невысокой,
Вся бѣла, вся видна при лунѣ,
Церковь старая чудится мнѣ,
И на бѣлой церковной стѣнѣ

Sich ab ein Kreuzeszeichen.
Darüber, auf felsigtem Pfad,
Das Schwert in der Rechten, schreitet
Sankt Paulus in weissem Ornat,
Das faltig niedergleitet.
Der alte Glöckner erkeucht
Des Glockenturms wackelnde Treppe;
Sein riesiger Schatten reicht
Schier bis ans Ende der Steppe.
Er läutet. Der hallende Klang
Weiht hehr den nächtigen Frieden;
Der Glocken erzener Sang
Beut Kraft dem Dörfler, dem müden:
Des Kranken nagendem Schmerz
Tönt hoffnungmunternd das Erz:
Er zählt die gemessenen Töne —
Und es schweigt sein banges Gestöhne;
Des einsamen Wanderers Herz
Fasst Mut, und er fördert die Schritte;
Dem Hall lauscht in schweigender Hütte
Der Landmann, bekreuzt sich und fleht
Um Segen der Saat im Gebet.

Verhallt sind die Töne. Mit Schweigen
Gefeit ist die Mitternacht.
Nun hör ich den Glöckner steigen
Treppnieder vorsichtig sacht.
Nun seh ich ihn selber: da sitzt er
Auf der letzten Stufe, da stützt er
Den struppigen Kopf in die Hand
Und druselt, gelehnt an die Wand.
Ach, alles, wovon mich geschieden
Der Jahre grenzloser Raum,
Was einst mich beseligt mit Frieden —

Отражается крестъ одинокій.
Да! Я вижу тебя, Божій домъ!
Вижу надписи вдоль по карнизу
И апостола Павла съ мечомъ,
Облаченнаго въ свѣтлую ризу.
Поднимается сторожъ-старикъ
На свою колокольню-руину;
На тѣни онъ громадно великъ:
Пополамъ пересѣкъ всю равнину.
Поднимись!—и медлительно бей,
Чтобы слышалось долго гудѣнье!
Въ тишинѣ деревенскихъ ночей
Этихъ звуковъ властительно пѣнье:
Если есть въ околоткѣ больной,
Онъ при нихъ встрепенется душой
И, считая внимательно звуки,
Позабудетъ на мигъ свои муки;
Одинокій-ли путникъ ночной
Ихъ заслышитъ—бодрѣе шагаетъ;
Ихъ заботливый пахарь считаетъ
И, крестомъ осѣнясь въ полуснѣ,
Проситъ Бога о вѐдряномъ днѣ.

Звукъ за звукомъ, гудя, прокатился,
Насчиталъ я двѣнадцать часовъ.
Съ колокольни старикъ возвратился,
Слышу шумъ его звонкихъ шаговъ,
Вижу тѣнь его; сѣлъ на ступени,
Дремлетъ, голову свѣсивъ въ колѣни.
Онъ въ мохнатую шапку одѣтъ,
Въ балахонѣ убогомъ и темномъ...
Все, чего не видалъ столько лѣтъ,
Отъ чего я пространствомъ огромнымъ
Отдѣленъ—все живетъ предо мной,

Lebt auf, ein verkörperter Traum.
Nur sie seh ich nicht, die ich habe
Geliebt, solang ich gelebt—
Deren Seele hier unsichtbar webt,
Deren Herz hier schlummert im Grabe...

Erscheine mir, Mutter! Erscheine
Als Schatten dem weinenden Sohn!
Du lebtest nur Andern, du Reine,—
Doch Hass war der Liebe Lohn!
Mit entblösstem Haupt hast dein Leben
Dem Gewitter du preisgegeben,
Und wenn es dich donnernd umblitzt,
Hat dein Busen die Kinder beschützt.
Und der Wetterschlag streckte dich nieder!
Sterbend hast du vergeben dem Feind,
Und dein Auge mit trockener Lider
Hat stumm betend die Kinder beweint.
Wird denn wirklich trotz all deiner Zähren,
Er, dem immer dein Herz hat geloht,
Dir ein Wiedersehen verwehren
Mit dem Sohn, dem der Untergang droht?
Erscheine! Nur dir kann ich klagen,
Was ich keinem Menschen verriet!
Nur dir will ich singen und sagen
Mein letztes, mein bitterstes Lied!
Wohl klingt es hoffungslos trübe
Und schafft dir erneute Pein,—
Doch kann mich die Mutterliebe
Vom Untergang retten allein!
Nur deine Thränen können
Die Schandflecke sonder Zahl,
Die mir in der Seele brennen
Auslöchen allzumal!

Все такъ ярко рисуется взору,
Что не вѣрится мнѣ въ эту пору,
Чтобъ не могъ увидать я и той,
Чья душа здѣсь незримо витаетъ,
Кто подъ этимъ крестомъ почиваетъ...

Повидайся со мною, родимая!
Появись легкой тѣнью на мигъ!
Всю ты жизнь прожила нелюбимая,
Всю ты жизнь прожила для другихъ.
Съ головой, бурямъ жизни открытою,
Весь свой вѣкъ подъ грозою сердитою
Простояла ты,—грудью своей
Защищая любимыхъ дѣтей.
И гроза надъ тобой разразилася!
Ты, не дрогнувъ, ударъ приняла,
За враговъ, умирая, молилася,
На дѣтей милость Бога звала.
Неужели за годы страданія
Тотъ, кто столько тобою былъ чтимъ,
Не пошлетъ тебѣ радость свиданія
Съ погибающимъ сыномъ твоимъ?..
Я кручину мою многолѣтнюю
На родимую грудь изолью,
Я тебѣ мою пѣсню послѣднюю,
Мою горькую пѣсню спою.
О, прости! То не пѣснь утѣшенія,
Я заставлю страдать тебя вновь,
Но я гибну—и ради спасенія
Я твою призываю любовь!
Я спою тебѣ пѣснь покаянія,
Чтобы кроткія очи твои
Смыли жаркой слезою страданія
Всѣ позорныя пятна мои!

Nur du kannst den Drang beseelen,
Der im Herzen mir schlummert träg,
Zu unbeugsamem Willen ihn stählen
Und mir weisen zur Wahrheit den Weg!

Im Angesicht heiligen Frieden,
Von blonden Locken umwallt,
Mit Blicken, weltabgeschieden,
Ein Engel in Menschengestalt—
So knickte des Sturmes Gewüte
Dich in der Jugend Blüte,
Und also erscheint mir dein Geist,
Vom Mondgestrahle umgleisst.

In deiner himmlischen Klarheit
Halt über den Sohn das Gericht!
Du lehrtest ja, dass vor der Wahrheit
Meine Muse schaudere nicht.
Was gilt mir der Freunde Trauern,
Der Feinde Siegesgeschrei—
Sprichst du mit der Liebe Bedauern
Von Schuld mich Fehlenden frei!
Was sind mir die Feinde? Verschwärzen
Ist ihre einzige Macht!
Eine grausere Qual, als im Herzen
Mir glüht, hat kein Feind noch erdacht!
Was sind mir die Freunde? Verstehen
Sie mich, der ich tollkühn gelebt?
Was sie lauwarmen Blutes umgehen,
Hab ich flammenden Mutes erstrebt.
Ich wusste ja nicht, das gewaltsam
Ich vergeude der Jugend Gewinn;
In die Ferne riss unaufhaltsam
Der Durst des Lebens mich hin.

Чтобъ ту силу свободную, гордую,
Что въ мою заложила ты грудь,
Укрѣпила ты волею твердою
И на правый поставила путь...

Треволненья мірского далекая,
Съ неземнымъ выраженьемъ въ очахъ,
Русокудрая, голубоокая,
Съ тихой грустью на блѣдныхъ устахъ,
Подъ грозой величаво-безгласная —
Молода умерла ты, прекрасная,
И такой-же явилась ты мнѣ
При волшебно свѣтящей лунѣ.

Да! Я вижу тебя, блѣднолицую,
И на судъ твой себя отдаю.
Не робѣть передъ правдой-царицею
Научила ты музу мою;
Мнѣ не страшны друзей сожалѣнія,
Не обидно враговъ торжество,—
Изреки только слово прощенія,
Ты, чистѣйшей любви божество!
Что враги? Пусть клевещутъ язвительнѣй,
Я пощады у нихъ не прошу,
Не придумать имъ казни мучительнѣй
Той, которую въ сердцѣ ношу!
Что́ друзья? Наши силы неровныя,
Я ни въ чемъ середины не зналъ:
Что́ обходятъ они, хладнокровные,
Я на все безразсудно дерзалъ;
Я не думалъ, что молодость шумная,
Что надменная сила пройдетъ —
И влекла меня жажда безумная,
Жажда жизни—впередъ и впередъ!

Ich strauchelte oft und fiel nieder,
Doch mich richtete auf dein Gebet...
Am Boden lieg ich nun wieder—
Und mein brechendes Auge fleht:
O, zieh mich empor aus dem Schlamme
Der kleinlichen Leidenschaft,
Zeig den Dornenweg mir und durchflamme
Mein Herz mit geläuterter Kraft.
Führ mich fort aus dem Lager der Schlechten,
Deren Hände besudelt mit Blut,
Und geleit mich ins Heer der Gerechten,
Die da sterben voll Liebe und Mut!
Ist auch fruchtlos zerronnen mein Leben,
Soll beweisen doch ihnen mein Tod,—
Dass geschlagen mein Herz ohne Beben
Und in Liebe die Seele gelohtl..

[Des Morgens darauf im Siechbette.]

Wie ward befeuert mein Blut
Zu erneutem, geläutertem Leben,
Gehoben mein sinkender Mut,
Geweckt nach Freiheit das Streben—
Dank dir, a Mutter Natur!..
Da wo sind geblieben die Kräfte?
Ein hilfloses Kind bin ich nur,
Das ein Wahnbild verführerisch äffte
Und wieder zerrann sonder Spur!
Nun werd ich den Tag über stöhnen,
Nachts werden Mixturen gewürgt—
Und das Grab wird mich schrecken und höhnen,
Das die Mutter, die treue, mir birgt.
Bei der Morgensonne Geglimme
Ist verblasst, was des Nachts hat geglüht,—

Увлекаемъ безславною битвою,
Сколько разъ я надъ бездной стоялъ,
Поднимался твоею молитвою,
Снова падалъ—и вовсе упалъ!..
Выводи на дорогу тернистую!
Разучился ходить я по ней,
Погрузился я въ тину нечистую
Мелкихъ помысловъ, мелкихъ страстей.
Отъ ликующихъ, праздно болтающихъ,
Обагряющихъ руки въ крови
Уведи меня въ станъ погибающихъ
За великое дѣло любви!
Тотъ, чья жизнь безполезно разбилася,
Можетъ смертью еще доказать,
Что въ немъ сердце не робкое билося,
Что умѣлъ онъ любить...

(Утромъ, въ постели.)

О, мечты! О, волшебная власть
Возвышающей душу природы!
Пламя юности, мужество, страсть
И великое чувство свободы—
Все въ душѣ угнетенной моей
Пробудилось... Но гдѣ-же ты, сила?
Я проснулся ребенка слабѣй.
Знаю: день проваляюсь уныло,
Ночью буду микстуру глотать,
И пугать меня будетъ могила,
Гдѣ лежитъ моя бѣдная мать.

Все, что въ сердцѣ кипѣло, боролось,
Все лучъ блѣднаго утра спугнулъ,—

Und es singt eine spöttische Stimme
Mir im Herzen das trostlose Lied:
«Ergebt euch und strecket die Waffen,
Ihr Bannerträger der Schmach!
In schwerer Zeit müsst ihr schaffen,
Für schwere Arbeit zu schwach.
Zwar steht ihr noch mitten im Leben,
Doch seid ihr längst tot für die That!
Nach Höherem steht euer Streben—
Doch Frucht nicht trägt eure Saat!»

И насмѣшливый внутренній голосъ
Злую пѣсню свою затянулъ:
«Покорись—о, ничтожное племя!—
Неизбѣжной и горькой судьбѣ;
Захватило васъ трудное время,
Неготовыми къ трудной борьбѣ:
Вы еще не въ могилѣ, вы живы,
Но для дѣла вы мертвы давно,
Суждены вамъ благіе порывы,
Но свершить ничего не дано...»

Кн. В. Барятинскій.

I.

FRAGMENT D' «UNE ANNÉE AU CLOITRE».

«Elle était bien à toi» — me dit en un murmure
Le soir de mai, le rossignol, son roi;
Maintenant il s'est tu, mais cette nuit obscure
Me dit encore: «elle était bien à toi!»
Pareil au peuplier sons les rayons lunaires
Scintille mon passé qui m'obséda,
Et tout m'en parle, tout — et les étoiles claires,
Et le parfum subtil du réséda.
Et je ne sais où fuir la nuit inexorable
Me peint les traits chéris, les yeux profonds...
Oh, ma chère adorée, amie inoubliable!
Où te trouver? dis moi! dis moi! réponds!..
Tu vois: sans toi je ne vis plus, j'ai tout à craindre
A bout de force et seul, abandonné,

I.

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ «ГОДА ВЪ МОНАСТЫРѢ».

«Она была твоя!» — шепталъ мнѣ вечеръ мая,
Дразнила долго пѣсня соловья,
Теперь онъ замолчалъ, и эта ночь нѣмая
Мнѣ шепчетъ вновь: «Она была твоя!»
Какъ листья тополей въ сіяньи серебристомъ,
Мерцаетъ прошлое, погибшее давно;
О немъ мнѣ говорятъ и звѣзды въ небѣ чистомъ,
И запахъ резеды, ворвавшійся въ окно.
И нѐкуда бѣжать, и мучитъ ночь нѣмая,
Рисуя милыя, знакомыя черты...
О, незабвенная, о вѣчно дорогая,
Откликнись, отзовись, скажи мнѣ: гдѣ-же ты?
Вотъ видишь: безъ тебя мнѣ жить невыносимо,
Я изнемогъ, я выбился изъ силъ;

Tout le chagrin, le mal—j'ai pardonné,
Et seul l'amour au coeur palpite sans s'éteindre.
Oh! laisse respirer cet air que tu respires
Oh! viens a moi, reponds à mon appel
Puis—viennent les années de prison, de martyres
Avec leur froid mortel!..

Обиды, горе, зло,—я все забылъ, простилъ,
Одна любовь во мнѣ горитъ неугасимо!
Дай подышать съ тобой мнѣ воздухомъ однимъ,
Откликнись, отзовись, явись хоть на мгновенье,
А тамъ—пускай опять хоть годы заточенья
Съ могильнымъ холодомъ своимъ!

— — —

II.

L'ORAGE.

T'en souviens tu, dis moi, comme un subit orage
Au loin de la maison nous a surpris soudain
Nous nous sommes cachés sous le touffu ombrage
D'un vert sapin! Que de gaîté, de peur sans fin!
La pluie et le soleil! Les branches, formant voutes,
Faisaient autour de nous comme une cage en or,
Et sur le sol roulaient d'étincellantes gouttes
Si belles qu'on dirait des perles d'un trésor.
Par fois elles glissaient d'en haut, des sombres branches
Droit sur ta blonde tête et sur tes rondes hanches...
Le rire peu à peu faisait place à l'émoi...
Le tonnerre éclata au dessus de ta tête,—
—Fermant les yeux de peur tu te serras à moi...
—Oh! bienfaisante pluie!... Oh, bien chére tempête!

II.

ПОДЪ ДОЖДЕМЪ.

Помнишь: мы не ждали ни дождя, ни грома,
Вдругъ засталъ насъ ливень далеко отъ дома;
Мы спѣшили скрыться подъ мохнатой елью...
Не было конца тутъ страху и веселью!
Дождикъ лилъ сквозь солнце, и подъ елью мшистой
Мы стояли, точно въ клѣткѣ золотистой;
По землѣ вокругъ насъ точно жемчугъ прыгалъ;
Капли дождевыя, скатываясь съ иголъ,
Падали, блистая, на твою головку,
Или съ плечъ катились прямо подъ снуровку...
Помнишь—какъ все тише смѣхъ нашъ становился...
Вдругъ надъ нами прямо громъ перекатился,—
Ты ко мнѣ прижалась, въ страхѣ очи жмуря...
Благодатный дождикъ! Золотая буря!

III.

* *
*

Des fèeriques mots pleins d'amour et d'extase.
De ta charmante bouche enfin j'ai entendu
Mais en l'étrange peur du doute qui t'embrase
Le doux son de ta voix s'est tu.

Jadis, lorsque passait sur la terre en cortège
Fait de fleurs et d'azur l'heureux printemps vermeil,
Je me souviens avoir vu comme un bloc de neige
Fondait tout seul sous le soleil.

Seul... Autour le murmure, et le bruit, et la vie...
Les ruisseaux coulent et le soleil luit toujours...
A midi—plus de neige... En sa chanson ravie
Le rossignol chante le jour.

Oh! laisse t'approcher! vois mon amour, rebelle!
Oh! dépouille la neige et daigne m'écouter!
J'entonnerai alors une chanson si belle
Qu'un rossignol ne sait chanter!..

III.

Волшебныя слова любви и упоенья
Я слышалъ, наконецъ, изъ милыхъ устъ твоихъ,
Но въ странной робости послѣдняго сомнѣнья
Твой голосъ ласковый затихъ.

Давно, когда, въ цвѣтахъ синѣя и блистая,
Неслася надъ землей счастливая весна,
Я помню, видѣлъ разъ, какъ глыба снѣговая
На солнцѣ таяла одна.

Одна... Кругомъ и жизнь, и говоръ, и движенье...
Но солнце все горитъ, звучнѣй бѣгутъ ручьи...
И въ полдень снѣга нѣтъ, и радость обновленья
До утра пѣли соловьи.

О, дай-же доступъ мнѣ, моей любви мятежной,
О, сбрось послѣдній снѣгъ, растай, растай скорѣй...
И я тогда зальюсь такою пѣсней нѣжной,
Какой не вѣдалъ соловей!

IV.

* *
*

C'était à l'aube du printemps,
Les herbes ne perçaient qu'à peine,
Et le ruisseau coulait chantant
Dans la verdure de la plaine.
Le berger même ne risquait
De prendre sa flute légère;
Toute frisée en le bosquet
Restait la mince fougère.
C'était à l'aube du printemps
A l'ombre de bouleaux austères,
Quand devant moi, suprême instant!
Je vis tes yeux purs et sincères.
C'est en réponse à mon amour
Que tu baissas tes yeux timides...
Oh! la forêt! oh! le beau jour!
Oh! la jeunesse! oh! coeurs candides!
Et je pleurais le coeur content,
Je regardais tes prunelles claires...
C'était à l'aube du printemps,
A l'ombre de bouleaux austères!

IV.

То было раннею весной,
Трава едва всходила,
Ручьи текли, не парилъ зной,
И зелень рощъ сквозила;
Труба пастушья по-утру
Еще не пѣла звонко,
И въ завиткахъ еще въ бору
Былъ папоротникъ тонкій;
То было раннею весной,
Въ тѣни березъ то было,
Когда съ улыбкой предо мной
Ты очи опустила...
То на любовь мою въ отвѣтъ
Ты опустила вѣжды...
О, жизнь! О, лѣсъ! О, солнца свѣтъ!
О, юность! О, надежды!
И плакалъ я передъ тобой,
На ликъ твой глядя милый,—
То было раннею весной,
Въ тѣни березъ то было!

C'était à l'aube de nos jours...
Oh! joie éteinte! oh! larme pure!
Oh! le soleil! oh! nos amours!
Oh! ces bouleaux! oh! la verdure!...

То было въ утро нашихъ лѣтъ...
О, счастіе! О, слезы!
О, лѣсъ! О, жизнь! О, солнца свѣтъ!
О, свѣжій духъ березы!..

V.

* *
*

Je n'aîme pas ton ironie...
Elle appartient à ceux qui ont vécu;
Mais de nous deux, qui sommes convaincus
De cet amour, qni nous retient vaincus,—
Elle doit être encor bannie.
Tant que tu veux que l'éternel destin
Prolonge encor nos rendez vous sans trève,
Tant qu'en mon coeur je garde, pas en vain,
Le sentiment, les passions, le rêve,—
N'évoque pas l'inévitable fin.
Elle n'est pas, hélas! déjà lointaine:
La soif ultime en nos âmes s'accroit,
Mais la douleur la suit bien qu'incertaine...
Ainsi l'automne — le fleuve nous ramène
Un flot plus vif, mais en retour plus froid.

V.

Я не люблю иронiи твоей,
Оставь ее отжившимъ и не жившимъ,
А намъ съ тобой, такъ горячо любившимъ,
Еще остатокъ чувства сохранившимъ,—
Намъ рано предаваться ей!
Пока еще застѣнчиво и нѣжно
Свиданiе продлить желаешь ты,
Пока еще кипятъ во мнѣ мятежно
Ревнивыя тревоги и мечты,—
Не торопи развязки неизбѣжной!
И безъ того она не далека:
Кипимъ сильнѣй, послѣдней жажды полны,
Но въ сердцѣ тайный холодъ и тоска...
Такъ осенью—бурливѣе рѣка,
Но холоднѣй бушующiя волны.

VI.

* *
*

Je ne croirai jamais qu'en nos tombeaux austères
Les souvenirs d'ici ne nous rejoindront pas,
Et que la mort, brisant nos souffrances amères,
Nous donnera l'oubli des choses d'ici-bas.
Nos yeux, rouverts là-Haut, perdraient ils toute vue?
Nos oreilles seraient elles sourdes alors?
Notre âme dans la nuit, dans l'éternelle nue
Verrait-elle soudain tous les souvenirs morts?
Raphaël, éveillé dans l'empire des anges,
Aurait il oublié sa Madonne et son art?
Shakspeare—son Hamlet et ses héros étranges?
Le Requiem serait il perdu pour Mozart?
Cela ne se peut pas! Non! quittant cette vie,
Nous revivrons encor ce qui fut la beauté,
Nous ne l'oublierons pas! Mais sans haine et envie
Nous l'aimerons toujours dans la Divinité!

VI.

Нѣтъ! Мнѣ не вѣрится, что мы воспоминанья
О жизни въ гробъ съ собой не унесемъ;
Что смерть, прервавъ навѣкъ и радость, и страданья,
Насъ усыпитъ забвенья тяжкимъ сномъ.
Раскрывшись гдѣ-то тамъ, ужель ослѣпнутъ очи,
И уши навсегда утратятъ слухъ?
И память о быломъ во тьмѣ загробной ночи
Не сохранитъ освобожденный духъ?
Ужели Рафаэль, на томъ очнувшись свѣтѣ,
Сикстинскую Мадонну позабылъ?
Ужели тамъ Шекспиръ не помнитъ о Гамлетѣ,
И Моцартъ Реквіемъ свой разлюбилъ?
Не можетъ быть! Нѣтъ, все, что свято и прекрасно,
Простившись съ жизнью, мы переживемъ
И не забудемъ, нѣтъ! Но чисто, но безстрастно
Возлюбимъ вновь, сливаясь съ Божествомъ!

VII.

* *
*

Quand je la vois venir avec espoir et crainte
Prièr la Sainte Vierge et le Divin Sauveur,
Je dis: «cette prière est celle d'une sainte»...
Et la douleur ronge mon coeur.
Quand je la vois au bal superbe, entousiaste
De sa propre beauté, de son regard vainqueur,
Je dis: «c'est le Démon, c'est sa beauté néfaste...»
Et la douleur ronge mon coeur.
Je prie alors la Vierge: «enlève lui ses charmes,»
Enseigne lui la vie, apprends lui a souffrir,
Pour qu'en l'aimant pour ses souffrances et ses larmes»
«Mon coeur ne puisse la haïr».
Et j'en appelle à toi, ésprit maudit, infâme,»
«Enseigne lui, Satan, à se déshonorer,
Pour qu'en la haïssant des fibres de mon âme
Mon coeur ne puisse l'adorer».

VII.

Вижу-ль я, какъ во храмѣ смиренно она
Передъ образомъ Дѣвы, Царицы Небесной, стоитъ,—
Такъ молиться лишь можетъ святая одна...
И болитъ мое сердце, болитъ!
Вижу-ль я, какъ на балѣ сверкаетъ она
Пожирающимъ взглядомъ, горячимъ румянцемъ ланитъ;
Такъ надменно блеститъ лишь одинъ сатана...
И болитъ мое сердце, болитъ!
И молю я Владычицу Дѣву, скорбя:
«Ниспошли ей, Владычица Дѣва, терновый вѣнокъ,
Чтобъ, ее за страданья, за слезы любя,
Я ея ненавидѣть не могъ!»
И зову я къ тебѣ, сатана: «Оглуши,
Ослѣпи ты ее! Подари ей блестящій вѣнокъ...
Чтобъ, ее ненавидя всей силой души,
Я любить ея больше не могъ!»

VIII.

* *
*

Hier je maudissais le bonheur et les fêtes,
Hier je méprisais ces gens gais et contents,
Qui échangèrent les brouillards et les tempêtes
Contre les chauds rayons d'un lumineux printemps.
Je répètais que tant qu'il existait des larmes,
Que les ténèbres noirs n'étaient pas défrayés—
Il est honteux et bas de songer aux doux charmes
Du bien être et de la chaleur de ses foyers.
Mais aujourd'hui soudain à ma pauvre fenêtre
Je vis le doux printemps tout couronné de fleurs...
Mon coeur battit et je souffris de tout mon être,
Car je ne pouvais rien lui offrir que des pleurs.
Un regard enchanteur plein de douce tendresse,
Des tristes souris d'un visage jeune et fin—
Et je veux follement éprouver la caresse
D'une femme, et l'amour et le bonheur sans fin!

VIII.

Я вчера еще радъ былъ отречься отъ счастья...
Я презрѣньемъ клеймилъ этихъ сытыхъ людей,
Промѣнявшихъ туманы и холодъ ненастья
На тепло и довольство весеннихъ лучей...
Я твердилъ, что покуда на свѣтѣ есть слезы,
И покуда царитъ непроглядная мгла,
Безконечно-постыдны заботы и грезы
О теплѣ и довольствѣ родного угла...
А сегодня—сегодня весна золотая,
Вся въ цвѣтахъ, и въ мое заглянула окно,—
И забилось усталое сердце, страдая,
Что такъ бѣдно за этимъ окномъ и темно...
Милый взглядъ, мимолетнаго полный участья,
Грусть въ прекрасныхъ чертахъ молодого лица—
И безумно, мучительно хочется счастья,
Женской ласки и слезъ, и любви безъ конца!..

IX.

LES FORÇATS.

Le soleil descend sur les plaines
Dans un nuage vaporeux,
Les forçats de leurs lourdes chaînes
Balaient le chemin poussièreux.
Ils marchent les têtes rasées,
Ils avancent péniblement,
L'amertume des lourdes pensées
Opresse leurs coeurs par moments.
A côté d'eux tremblent leurs ombres.
Une charrue à deux chevaux
Suit. Les gens de l'escorte sombres
Viennent le sabre hors du fourreau.
—«Chantons une chanson, mes frères!»
«Oublions nos malheurs damnés,»
«Le sort à toutes ces misères»
«Nous a, certes, prédestinés.»
Les voici qui soudain entonnent
Un chant fait d'anciens souvenirs—
Le Volga, ses flots qui bouillonnent,
Les jours passés en vains désirs,

IX.

КОЛОДНИКИ.

Спускается солнце за степи,
Вдали золотится ковыль,—
Колодниковъ звонкія цѣпи
Взметаютъ дорожную пыль.
Идутъ они съ бритыми лбами,
Шагаютъ впередъ тяжело,
Угрюмыя сдвинули брови,
На сердце раздумье легло.
Идутъ съ ними длинныя тѣни,
Двѣ клячи телѣгу везутъ,
Лѣниво сгибая колѣни,
Конвойные съ ними идутъ.
—«Что̀, братцы, затянемте пѣсню,
Забудемъ лихую бѣду!
Ужъ, видно, такая невзгода
Написана намъ на роду!»
И вотъ, повели, затянули;
Поютъ, заливаясь, они
Про Волги широкой раздолье,
Про даромъ минувшіе дни;

La liberté des vastes plaines
Où, libres, ils vivaient heureux...
La nuit apparait, et les chaines
Balaient le chemin poussièreux...

Поютъ про свободныя степи,
Про дикую волю поютъ;
День меркнетъ все болѣ, а цѣпи
Дорогу метутъ да метутъ...

ПРОЗА.

Э. Ясинскій.

СЕРЬЕЗНАЯ ТЕЛЕГРАММА.

(РАЗСКАЗЪ.)

На окраинѣ города *** на большой дорогѣ и теперь стоитъ крѣпкій деревянный домъ съ дубовыми ставнями и съ огромнымъ дворомъ. Все амбары да навѣсы. По утрамъ рано на зарѣ къ многоводной рѣкѣ, протекающей по ту сторону дома, движутся сѣрыя полчища крысъ. Говорятъ, бѣда, если попадется человѣкъ по пути и тронетъ — съѣдятъ. Никакія средства противъ крысъ не помогаютъ; онѣ живутъ, и власть ихъ несокрушима.

Купецъ Антипъ Ѳедоровичъ Оржановъ такъ-же крѣпко сидѣлъ въ своемъ домѣ, какъ крысы въ его амбарахъ, и такъ-же страшно было людямъ встрѣчаться съ нимъ... Обыкновенно-же, подобно крысамъ, онъ питался мукою: былъ именитымъ хлѣботорговцемъ.

Онъ тоже рано просыпался и выходилъ на большую дорогу. На ней Оржановъ и началъ свое житейское поприще. Еще тринадцатилѣтнимъ мальчикомъ онъ зорко всматривался въ сѣрую даль брезжущаго утра и поджидалъ

крестьянъ съ рожью и пшеницей. Отъ его молодыхъ крысьихъ зубовъ не увертывался ни одинъ мужикъ: крѣпко впивался онъ въ теплую кожу и въ хрящъ, хваталъ за горло и тащилъ во дворъ къ хозяину. Лютость Антипа Ѳедоровича была рѣдкая. Хозяинъ любовался его блѣднымъ лицомъ и пылающими глазами,—когда онъ торговался съ мужиками, дурачилъ ихъ, обвѣшивалъ и обмѣривалъ. «Славный парень!»—думалъ хозяинъ, замирая отъ охотницкаго восторга,—«песъ!» И такъ привязался къ нему, что выдалъ за него свою дочь.

Антипъ Ѳедоровичъ дожилъ до сѣдыхъ волосъ и сталъ считаться въ милліонахъ. По сорока суденъ отправлялъ онъ съ хлѣбомъ въ Царицынъ и въ Астрахань. Долго молилъ онъ Господа Бога, чтобы даровалъ Онъ ему сына; и, дѣйствительно, родилось и выросло у него дѣтище даже ему на удивленіе. Старикъ самъ вываживалъ первенца и натаскивалъ на мужика. Мальчику десяти лѣтъ не было, а ужъ онъ будилъ его, надѣвалъ полушубокъ и рукавички потеплѣе и шелъ съ нимъ на промыселъ, пріучая къ безстрашію и мужеству. «Зубками прямо въ горло! Онъ ругаться горазд, но ты глупостью его пользуйся, а скверное слово стерпи, ты купецъ».—«Золъ мальчикъ!» хвастался онъ женѣ. «Жаденъ!»—шепталъ онъ съ улыбкой.

Когда сынъ получилъ образованіе въ уѣздномъ училищѣ и подросъ, Антипъ Ѳедоровичъ смѣло могъ-бы положиться на него и почить на лаврахъ, но духъ стяжанія жилъ въ его душѣ, но привычки нѣжнаго дѣтства были сильны. Онъ продолжалъ выходить на большую дорогу, и, когда дворъ наполнялся возами, и крикомъ, и шумомъ, и бранью мужиковъ, онъ чувствовалъ себя, какъ рыба въ водѣ; это были его минуты вдохновенія, творчества. Онъ не могъ прожить одного дня безъ этихъ экстазовъ жестокосердія, которые щекотали его хребетъ каждое утро, при видѣ мучныхъ горъ, ссыпаемыхъ въ его

амбары, при видѣ проклинающихъ его ртовъ, при видѣ слезъ.

Сынъ благоговѣлъ передъ отцомъ. Не было еще случая, чтобы Антипъ Ѳедоровичъ ошибся. Къ повышеніямъ и пониженіямъ хлѣбной биржи онъ былъ чувствителенъ, какъ барометръ. Онъ предсказывалъ цѣны и установлялъ ихъ.

Иногда сыну казалось только, что тятенька могъ-бы еще взвинтить колышекъ, и онъ позволялъ себѣ дѣлать указаніе.

— Говори, да не проговаривайся,—ласково замѣчалъ Антипъ Ѳедоровичъ.

Но однажды сынъ возвысилъ голосъ. Онъ совѣтовалъ придержать еще партію. Старикъ продалъ, а на другой день цѣна пала. «Жаденъ, да не уменъ»,—строго замѣтилъ Антипъ Ѳедоровичъ дѣтищу. А молодой человѣкъ покраснѣлъ и потупилъ глаза, какъ невинная дѣвушка.

Когда кончалась утренняя страда и крысы, напившись и наѣвшись, собирались въ подпольяхъ и цѣпенѣли отъ кошмара благополучія и обезпеченности, Антипъ Ѳедоровичъ, позавтракавъ, выходилъ за ворота, садился на скамеечку и проводилъ время въ тупомъ созерцаніи мелькающихъ мимо пѣшеходовъ и возовъ. Такъ продолжалось часа два или три. Но это только казалось, что Антипъ Ѳедоровичъ полудремлетъ на скамеечкѣ. Подъ глубоко надѣтымъ на голову картузомъ роились новые планы умноженія милліоновъ и выцѣживанія крови изъ ближнихъ. Онъ ничѣмъ не брезгалъ. Его сынъ и прикащики рыскали по городу и доводили до его свѣдѣнія о нуждающихся домовладѣльцахъ, о помѣщикахъ, закладывающихъ имѣнья, о выигранныхъ процессахъ, требующихъ скорѣйшаго учета.

Нотаріусъ, уполномоченный довѣрительницей, внезапно получившей наслѣдство, привезъ Оржанову деньги по за-

кладной и получилъ съ него росписку, а потомъ вспомнилъ, что, по закону, надо было Антипу Ѳедоровичу расписаться на самой закладной.

— Что съ воза упало, то пропало,—объявилъ нотаріусу Антипъ Ѳедоровичъ.

— Какъ такъ?

— Даромъ ничего не подписываю.

— Сколько-жъ вы хотите?

— Сто рублей.

И далъ нотаріусъ сто рублей, зналъ, съ какимъ человѣкомъ имѣетъ дѣло. Каменный былъ человѣкъ Антипъ Ѳедоровичъ, замѣчательный человѣкъ.

Лицо у него было не отъ міра сего: смотритъ и не видитъ. Въ головѣ счеты, и онъ все на нихъ откладываетъ. Онъ обросъ благообразной бѣлой бородой, волосы подстригалъ; одѣвался такъ: сапоги бутылками, ситцевая рубашка на выпускъ, поверхъ —«пинжакъ» синяго сукна, а въ жилетѣ часы на серебряной цѣпочкѣ. Впрочемъ, въ домѣ были паркетные полы, бархатная мебель, на которую никто не садился, и драгоцѣнные образа. Спалъ Антипъ Ѳедоровичъ, послѣ того какъ умерла его супруга, въ крошечной душной комнатѣ на сундукѣ.

Открылась навигація. Счастливый годъ былъ: всю зиму голодалъ крестьянинъ. Цѣны стояли страшныя, и поспѣшилъ Антипъ Ѳедоровичъ отправить въ Царицынъ первую баржу хлѣба, подъ предводительствомъ сына. Отправилъ, а самъ, по обыкновенію, вышелъ за ворота и сѣлъ на скамеечкѣ. Въ городѣ раздавали крестьянамъ земскій хлѣбъ и казенныхъ лошадей въ помощь. Душъ пятьсотъ собралось крестьянъ. Возвращались они мимо дома Антипа Ѳедоровича. Смотрятъ—сидитъ.

— Ахъ, ты кровопивецъ! — стали кричать мужики.— Сколько тебѣ, чорту старому, хлѣба мы перетаскали, а ты ни одного мѣшка намъ не прожертвовалъ. Жидъ поганый! Нѣтъ,

ты хуже жида! Ты хрестъ носишь, а на что тебѣ онъ? Въ землю бы тебя зарыть поскорѣе да коломъ осиновымъ прибить! Будь ты проклятъ!

— Гляди, сынокъ,—кричалъ другой мужикъ,—тридцать лѣтъ онъ у меня хлѣбъ покупалъ, тридцать лѣтъ пользовался; на тридцать первомъ году пришелъ я къ нему и въ ногахъ ползалъ, чтобъ ссудилъ мнѣ хоть одинъ мѣшокъ. А онъ отвернулся, какъ идолъ, и велѣлъ прикащикамъ прогнать меня. Плюнь на него, Ирода!

Еще ругали его и еще. Пятьсотъ человѣкъ проѣхало, пятьсотъ обругало. Иные останавливали лошадей, подходили къ нему и издѣвались надъ его сѣдинами.

— Вѣдь не сегодня—завтра, какъ песъ, помрешь! Неужели-же ты не сытъ еще? Куда ты бережешь! И сыну твоему, и внукамъ хватитъ. Кабы ты десятую долю того отдалъ людямъ, что у тебя крысы съѣдаютъ, и то за тебя Богу молились-бы! Аспидъ!

Были мужики не такіе мрачные. Радуясь казенной помощи и веснѣ, съ ея счастливыми предзнаменованіями, они остряли надъ Антипомъ Ѳедоровичемъ.

— Господа, еслибъ ихъ степенство, примѣрно сказать, обвѣшать мучными крысами да на базаръ вывести? Важная фигура была-бы! Челомъ бьемъ вашей милости. На похороны свои когда изволите народъ честной сзывать?

Антипъ Ѳедоровичъ не всталъ со скамейки и только глазами моргалъ. Онъ былъ равнодушенъ. И какъ не презирать людей, которые—не успѣетъ листъ опасть съ дерева—уже будутъ разгружать свои возы у него во дворѣ! Онъ сидѣлъ и думалъ свои думы. Ему было почти хорошо. Какъ иногда пріятно пройтись по дождику, такъ съ улыбкой легкаго удовлетворенія слушалъ онъ брань и насмѣшки крестьянъ.

Мужики проѣхали, улица опустѣла. Антипъ Ѳедоровичъ всталъ и пошелъ обѣдать.

Ночью онъ получилъ телеграмму отъ сына: «Даютъ тридцать девять тысячъ. Отвѣтъ уплаченъ».

«Держи!»—телеграфировалъ Антипъ Ѳедоровичъ.

Спалъ онъ отлично. Щелкали бѣлыя и черныя косточки; но это ему часто снилось. Утромъ, бесѣдуя со своими прикащиками о телеграммѣ сына, онъ сказалъ:

— Молодъ и торопится. Жалѣю, что я самъ не поплылъ.

Былъ субботній день. По субботамъ для Антипа Ѳедоровича топили баню. Онъ вышелъ на улицу, и скучно ему было, что нѣтъ вчерашнихъ мужиковъ. Не то скука, не то предчувствіе томили его. Ни съ кѣмъ онъ не видался. Должно быть, хлѣбный барометръ, который занималъ мѣсто его сердца, колебался. Раньше времени поднялся со скамеечки Антипъ Ѳедоровичъ и только-что сдѣлалъ нѣсколько шаговъ по двору, какъ пришла новая телеграмма: «Цѣна пала. Даютъ двадцать девять тысячъ. Что дѣлать?»

Люди замѣтили, что Антипъ Ѳедоровичъ очень спокойно сложилъ телеграмму и спряталъ въ карманъ. Тихой походкой направился онъ къ амбарамъ подышать мукою и пошелъ въ баню.

На огородѣ между черныхъ и влажныхъ грядъ онъ увидѣлъ трупы крысъ, бѣлесоватымъ брюшкомъ лежавшихъ кверху. Вороны черными треугольниками летѣли вдали.

Никто не ожидалъ, что Антипъ Ѳедоровичъ такъ рано пойдетъ въ баню, и она еще не была натоплена. Люди издали почтительно слѣдили за нимъ. Антипъ Ѳедоровичъ вошелъ и закрылъ за собой дверь. Ждали грозы; но онъ не показывался. Прошло нѣсколько минутъ. Прошло четверть часа. Антипа Ѳедоровича все не было. Доложили старшему прикащику: какъ быть, что Антипъ Ѳедоровичъ въ холодную баню пошелъ париться. Старшій прикащикъ велѣлъ не трогаться. Такъ прошло еще полчаса. Тутъ и

онъ обезпокоился. «Неужели-же Антипъ Ѳедоровичъ обдумывать пошли въ баню?»

Выбравъ путь подлиннѣе и поизвилистѣе, прикащикъ подошелъ къ банѣ, привсталъ на завалинку и посмотрѣлъ въ маленькое окошечко, которое было прорублено въ задней капитальной стѣнѣ. Антипъ Ѳедоровичъ, весь посинѣлъ и широко раскрытыми бѣлыми глазами съ ужасомъ и горемъ — вѣчнымъ горемъ — прямо смотрѣлъ на прикащика. Два милліона у человѣка было, а потерялъ десять тысячъ и не могъ стерпѣть.

Ѳедоръ Антипычъ, вернувшись изъ Царицына, торжественно похоронилъ папашу и, бесѣдуя съ протоіереемъ о покойникѣ, отвѣчалъ на осторожный вопросъ о побудительной причинѣ, заставившей Антипа Ѳедоровича такъ покончить съ собой:

— Серьезную телеграмму далъ я тятенькѣ, царствіе ему небесное!

Владиміръ Соловьевъ.

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ОДНОГО ДНЕВНИКА.

Не такъ давно умеръ въ Петербургѣ скоропостижно одинъ литераторъ. Я не знаю, было-ли вскрытіе, но думаю, что онъ самъ покончилъ съ собою. У него на столѣ найдены были послѣдніе листы дневника, писанные, повидимому, въ день смерти. Мнѣ разрѣшено ихъ напечатать, разумѣется—безъ имени. Покойный былъ классикъ и всегда издѣвался надъ декадентами. Но онъ подъ конецъ, очевидно, сдѣлался декадентомъ въ душѣ. Эти листки представляютъ явно-психопатическій характеръ и съ этой стороны могутъ быть любопытны.

Нѣтъ, не могу больше терпѣть этого адскаго состоянія. Передъ нимъ настоящее рабство, дѣйствительная каторга—идеалъ жизни человѣческой. Сколько разъ я всею душой уносился въ мечтанія о временахъ древняго рабства и воображалъ себя собственностью какой-нибудь одной извѣстной мнѣ семьи, которая могла-бы быть доброю, патріархальною, и я жилъ-бы—какъ у Христа за пазухой, на всемъ готовомъ, мирно отдавшись полезному труду по своимъ способностямъ, въ простомъ добромъ со-

гласіи и общеніи съ богами, съ людьми и съ прочею тварью. А попались дурные господа—тутъ интересъ дѣйствительнаго трагизма, и притомъ двоякаго, на выборъ: или трагизмъ внутренняго подвига, или трагизмъ и надежды внѣшней борьбы. Положимъ, я молодъ и къ резигнаціи не способенъ,—выбираю борьбу. Мой злой господинъ, зная, что я литературно образованъ и притомъ слабъ здоровьемъ, нарочно, вмѣсто того, чтобы давать мнѣ переписывать въ домѣ греческія и латинскія рукописи, или переводить сирійскія и халдейскія, заставляетъ меня цѣлые дни работать мельничными жерновами на открытомъ воздухѣ и кормитъ овсянкой, какъ собаку. А мнѣ и это на пользу. Черезъ годъ такой жизни становлюсь Геркулесомъ—простите предсмертный каламбуръ. Ну, думаю, погоди ты, недочищенный варваръ! Всю ту силу, которую теперь трачу понапрасну на то, чтобы быть неизмѣнно учтивымъ со всѣмъ множествомъ своихъ принудительныхъ корреспондентовъ, — я сосредоточилъ-бы тогда на одномъ: пріобрѣсти расположеніе своего господина, чтобы вѣрнѣе покончить съ нимъ. Нравственныхъ сомнѣній у меня не было-бы, да и не могло-бы быть, вѣдь я военно-плѣнный, и мой побѣдитель своимъ обращеніемъ доказываетъ мнѣ, что военное положеніе между нами не кончено; значитъ, здѣсь всякій обманъ есть позволительная и одобрительная военная хитрость; притомъ другого оружія у меня пока и нѣтъ. И вотъ мнѣ удается расположить къ себѣ злого господина и стать главнымъ управляющимъ. Какъ всякій главный управляющій, я живу бариномъ и, главное, имѣю много свободнаго времени, чтобы хорошо обдумать свой замыселъ и подготовить его исполненіе,—а отказываться отъ него изъ-за хорошей жизни я ужъ никакъ не стану: я знаю, что мгновенная прихоть злого и глупаго хозяина можетъ вернуть меня къ мельничнымъ жерновамъ и овсянкѣ, а то и привязать

на крестъ. Господинъ ѣдетъ осматривать свои помѣстья въ южной Италіи и беретъ меня съ собой. Что за красота этотъ объѣздъ Пароенопейскаго залива между лазурнымъ моремъ, свѣтлыми сѣрыми горами и розовымъ небомъ по вечерамъ! Разжирѣвшій варваръ ничего не понимаетъ и дрыхнетъ, сопя и поминутно икая, въ своей дурацкой колесницѣ. Наслаждаюсь одинъ я и зрѣлищемъ прекрасной страны, и предвкушеніемъ еще иного, жгучаго наслажденія. Я уже завелъ знакомства и сговорился съ сицилійскими пиратами. Господинъ ужинаетъ въ своей виллѣ и, въ знакъ особой благосклонности, велитъ мнѣ служить ему за столомъ. А рабы на виллѣ уже стороною обработаны, но безъ моего видимаго участія, а то бы, навѣрное, нашлись предатели. Прислуживая хозяину за ужиномъ, я обдумываю, чѣмъ бы его прихлопнуть. Въ Римѣ, когда я получилъ отъ него въ первый разъ много серебра въ даръ, я сейчасъ-же пошелъ къ одной вѣдьмѣ и отдалъ ей это серебро за драгоцѣнный ядъ, привезенный ею изъ Индіи. Я могъ-бы теперь легко поднести его хозяину въ винѣ или подливкѣ, но мнѣ вдругъ захотѣлось своими глазами посмотрѣть, какая кровь у этого животнаго, и я рѣшилъ приберечь свой ядъ до другого случая, а хозяину лишь понемногу убавлялъ долю воды въ чашахъ съ виномъ. Когда-же онъ, охмѣлѣвши, захрапѣлъ, я вышелъ въ садъ, еще разъ поглядѣлъ на серебряное море и, взявъ хорошій бѣлый камень, вернулся къ своему единственному врагу и, съ радостнымъ замираніемъ сердца, размозжилъ ему голову.

Лампады ярко свѣтили. Я увидѣлъ красную струю, но мнѣ показалось мало видѣть, я прильнулъ къ ней губами и потянулъ въ себя теплую противную жидкость. Вдругъ мертвый какъ-будто затрепеталъ и вздохнулъ. Я на мигъ испугался, но тотчасъ-же понялъ, что это были только газы. Я пошелъ въ кухню, взялъ большой острый ножъ,

которымъ разрѣзали свиныя туши, и вернулся къ мертвецу, чтобы отрѣзать ему голову. Это было дѣло не легкое: не за что было ухватить эту безбородую и лысую образину. Наконецъ, мнѣ удалось перерѣзать шейный позвонокъ и, завернувъ голову въ кухонное полотенце, я привязалъ ее къ своему поясу для поднесенія въ даръ кому слѣдуетъ. Между тѣмъ, морскіе разбойники причалили и, встрѣченные нашими рабами, какъ освободители, занялись сообща грабежомъ виллы, а потомъ зажгли ее. Я видѣлъ ея зарево, когда горными тропинками пробирался въ лагерь Спартака съ легкимъ мечомъ у бедра и тяжелымъ трофеемъ за поясомъ...

Какой яркій сонъ! А дѣйствительность? — Эта груда писемъ и сочиненіе скучныхъ и лживыхъ отвѣтовъ. У-у-у! Рабъ можетъ обмануть и убить своего господина и убѣжать къ Спартаку, но какой Спартакъ, или какой Алкидъ, избавитъ меня отъ несчетноголовой, несчетноименной гидры всероссійскаго праздномыслія, праздописанія и недѣланія? Какимъ камнемъ размозжу я эти безчисленныя головы и какую простоквашу буду тянуть изъ ихъ артерій? Нѣтъ, кончено, не хочу! Знаю, что иду въ адъ, — я не такъ наивенъ и прекраснодушенъ, чтобы не вѣрить въ Бога и въ дьявола. Знаю, что иду въ адъ, но знаю также, что тамъ будетъ лучше. Досадно, конечно, что и въ аду люди живутъ (не говоря уже о чертяхъ), но, по крайней мѣрѣ, писемъ-то ужъ не будетъ. Нѣтъ, — *Главный адъ. Геенская улица*, — на почтѣ такихъ адресовъ не принимаютъ. Знаю я всѣ аргументы противъ самоубійства и знаю, что всѣ они справедливы, но передъ однимъ мигомъ увѣренности, что вотъ завтра не придется принуждать себя писать неизвѣстнымъ лицамъ о неинтересныхъ вещахъ, передъ мыслью о возможности этой сладкой увѣренности умолкаютъ всѣ разсужденія. Прощайте, досточтимые мои корреспонденты, прощайте, люди столь пустые, что даже тотъ

микроскопическій ореолъ публичнаго мужчины, что украшаетъ мою голову, возбуждаетъ въ васъ неудержимое стремленіе почтовымъ путемъ пріобщиться къ его сіянію. Прощайте, безчисленные нули, все не съ той стороны заходящіе за мою единицу,—счастливо оставаться!

На этомъ рукопись оканчивалась. Предшествовавшіе листки, вѣроятно сожженные самоубійцею, объяснили-бы, какъ развилась его душевная болѣзнь. Возможно, впрочемъ, что она имѣла только физическія причины. Дѣло темное.

К. Случевскій.

ОДНА ИЗЪ ВСТРѢЧЪ СЪ ТУРГЕНЕВЫМЪ.

(Воспоминаніе).

Это было въ исходѣ зимы 1860-го года. Меня посѣтили вечеромъ Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ, Павелъ Васильевичъ Анненковъ и Степанъ Семеновичъ Дудышкинъ. Я былъ тогда очень молодымъ офицеромъ Семеновскаго полка, въ чинѣ, котораго нынѣ не имѣется—я былъ прапорщикомъ. Офицеры тѣхъ дней, при новомъ царствованіи, только-что перемѣнили мундиры съ фалдами на казакины, но красные отвороты гвардіи оставались. Генераламъ дали красные штаны и пѣтушьи перья. Я жилъ въ домѣ покойной матери моей, на Гончарной, четвертомъ по правой рукѣ отъ въѣзда въ нее съ Николаевской площади. Отецъ мой умеръ гораздо раньше.

Хотя въ тѣ дни Невскій проспектъ, какъ и нынѣ, шелъ къ Александро-Невской лаврѣ, но, собственно говоря, оканчивался онъ у Знаменскаго моста, расплываясь на большой площади. Тамъ, гдѣ теперь стоитъ домъ, занимаемый «Сѣверной гостинницей», разстилалась никогда не просыхавшая конная площадь. Дальше, къ Невской лаврѣ,

шли лавки, въ которыхъ продавались: возки, телѣги, тарантасы для далекихъ путешествій къ сѣверу и сѣверовостоку Россіи. Николаевскій вокзалъ только-что поднялъ свою невысокую башню, и на Аничкиномъ мосту, принявшемъ благообразный видъ, еще недавно были водружены, повелѣніемъ императора Николая, бронзовые кони барона Клодта, а ихъ двойники посланы въ Берлинъ. Недавнею новинкою, побѣжали первыя въ Петербургѣ общественныя каретки, называвшіяся «каретками Невскаго проспекта». Каретки эти — устроенныя генераломъ Шлиппенбахомъ— запряжены были парою клячъ. Онѣ совершали рейсы между Адмиралтейской площадью, лежавшей тоже непроходимою немощеною степью, чрезъ которую по ночамъ не безопасно было двигаться, и между Знаменскою площадью, сливавшеюся съ пустынными Песками. Странно, что въ сторону Песковъ Петербургъ раздвинулся необычайно быстро, тогда какъ у Царскосельской желѣзной дороги, 60 лѣтъ назадъ, какъ и теперь, — вслѣдъ за Обводнымъ каналомъ начинались огороды.

Квартира моя состояла изъ одной комнаты и прихожей, безъ кухни. Я столовался въ квартирѣ матушки. Одно изъ трехъ оконъ моей комнаты выходило въ ту сторону, гдѣ воздвигался вокзалъ Николаевской желѣзной дороги. Дорога эта, какъ извѣстно, открыта въ 1851 году и въ 1855 году, т. е. въ годъ производства меня въ офицеры, названа «Николаевской» и еще не совсѣмъ устроилась. Постройки подлѣ вокзала и самый вокзалъ еще только возводились.

Въ январьской книжкѣ «Современника» появилось въ 1860 году нѣсколько моихъ стихотвореній. Появиться въ «Современникѣ» значило стать сразу знаменитостью. Для юноши 20 лѣтъ отъ роду ничего не могло быть пріятнѣе, какъ попасть въ подобные счастливчики—и я попалъ въ нихъ.

Стихотворенія эти были доставлены Некрасову, помимо меня, слѣдующимъ образомъ. Всеволодъ Крестовскій, тогда еще студентъ, мой пріятель, передалъ ихъ Аполлону Григорьеву, знаменитому въ тѣ дни критику, горою стоявшему противъ того направленія либерализма и реализма, которыми отличался «Современникъ», руководимый Некрасовымъ, Чернышевскимъ и Добролюбовымъ. Григорьеву стихотворенія мои очень понравились. Онъ просилъ Крестовскаго привести меня къ нему, что и было исполнено. Аполлонъ Григорьевъ жилъ въ то время въ извѣстномъ всему Петербургу домѣ Лопатина, длинномъ двухъэтажномъ каменномъ строеніи, тянувшемся по Невскому проспекту въ томъ именно мѣстѣ, гдѣ въ настоящее время проходитъ, благодаря Трепову, Пушкинская улица. Григорьевъ жилъ во дворѣ. Я приведенъ былъ къ нему утромъ. Покойный критикъ былъ, по обыкновенію, навеселѣ и началъ съ того, что обнялъ меня мощно и облобызалъ. Затѣмъ — онъ потребовалъ, чтобъ я прочелъ свои стихотворенія.

Помню, какъ теперь, что я прочелъ «Вечеръ на Леманѣ» и «Ходитъ вѣтеръ, избочась». Григорьевъ пришелъ въ неописуемый восторгъ, предрекъ мнѣ «великую славу» и просилъ оставить эти стихотворенія у себя. Нѣсколько дней спустя, возвратившись съ какого-то бала домой, я увидалъ, совершенно для меня неожиданно, на столѣ корректуру моихъ стихотвореній со штемпелемъ на нихъ—«Современникъ», день и число. Какъ доставилъ ихъ Григорьевъ Тургеневу и какъ передалъ ихъ Тургеневъ Некрасову и почему данъ былъ мнѣ такой быстрый ходъ— я не знаю, но стихи мои были напечатаны.

Можетъ быть, много еще есть въ живыхъ людей, помнящихъ и теперь неистовую травлю, которая направилась на меня вслѣдъ за статьей Аполлона Григорьева, напечатанной въ «Сынѣ Отечества», въ которой онъ объя-

влялъ, что во мнѣ «народился поэтъ не меньшей силы, чѣмъ Лермонтовъ». Когда-нибудь мнѣ придется подробнѣе вспомнить объ этомъ времени, но въ настоящую минуту я ограничусь только описаніемъ посѣщенія меня Тургеневымъ.

Въ концѣ января Иванъ Сергѣевичъ оповѣстилъ меня, что заѣдетъ ко мнѣ со своими двумя пріятелями: Дудышкинымъ и Анненковымъ, которыхъ хотѣлъ познакомить со мною. Посѣщеніе такого крупнаго литератора, какъ Тургеневъ, въ сопровожденіи другихъ двухъ весьма видныхъ литературныхъ дѣятелей, являлось событіемъ. Значеніе литераторовъ стояло тогда необычайно высоко; знакомство съ ними считалось за великую честь, и я помню очень хорошо, какъ обрадовалась моя покойная мать, когда я сообщилъ ей, что Тургеневъ пьетъ у меня вечеромъ чай.

Обстановка моей квартиры, состоявшей, какъ сказано, изъ полуторы комнаты, была болѣе, чѣмъ проста; деньщикъ Семеновскаго полка Шульцъ, мнѣ прислуживавшій, оказывался почти всегда пьянымъ, такъ что разсчитывать на его помощь было нельзя, и я просилъ моего младшаго брата Володю, которому исполнилось тогда лѣтъ двѣнадцать, придти ко мнѣ и разливать чай. Этотъ Володя въ настоящее время — оберъ-прокуроръ уголовнаго кассаціоннаго департамента сената. Вечеръ, о которомъ я вспоминаю, памятенъ ему очень хорошо, и воспоминаніе о немъ у насъ осталось общее.

Ночь стояла на дворѣ морозная. П. В. Анненковъ и С. С. Дудышкинъ пріѣхали ко мнѣ часовъ въ девять, одинъ вслѣдъ за другимъ, и ожидали Тургенева, почему-то запоздавшаго. Положеніе мое было не совсѣмъ ловкое, потому что люди, сидѣвшіе передо мною, были мнѣ почти незнакомы, а значеніе ихъ въ литературѣ подавляло меня. Крѣпкій, энергичный, съ зычнымъ голосомъ и съ здоровымъ цвѣтомъ лица—Анненковъ являлся значительнымъ

контрастомъ со скромнымъ, какъ-бы неловкимъ, Дудышкинымъ и его изжелта-блѣднымъ лицомъ.

Братъ розлилъ намъ чай, и только-что сѣли мы за столъ, чуть-ли не единственный въ моей комнатѣ, какъ раздался звонокъ, чрезвычайно сильный — сильный, не по величинѣ помѣщенія. Я выскочилъ къ дверямъ и увидалъ, что мой Шульцъ, дѣтина здоровый и высокорослый, стаскивалъ съ плечъ Ивана Сергѣевича шубу. Я говорю «стаскивалъ»—потому, что крупная фигура Тургенева значительно превышала фигуру моего деньщика. Скинувъ шубу, отряхнувъ свои сѣдые кудри, Иванъ Сергѣевичъ вошелъ прямо въ дверь, улыбаясь той широкой, откровенной улыбкой, которая была ему свойственна, и попросилъ Анненкова и Дудышкина извинить его за опозданіе.

— А это кто? — спросилъ Иванъ Сергѣевичъ, взглянувъ на моего брата, сидѣвшаго у стола.

— Это мой братъ, Владиміръ, будущій правовѣдъ,—сказалъ я Ивану Сергѣевичу.

— А, юристъ? Хорошо, хорошо!

И, подойдя къ брату, онъ потрепалъ его по плечу.

Я отъ избытка удовольствія не зналъ, что говорить и какъ говорить. Но, къ счастію, три литературныхъ собесѣдника и не требовали моей помощи для того, чтобы разговоръ между ними завязался.

Разговоръ шелъ на разныя темы, главнымъ образомъ между Анненковымъ и Тургеневымъ, а Дудышкинъ вмѣшивался въ него чрезвычайно рѣдко. Помню, я былъ крайне пораженъ тѣмъ, что, сознавая, что причиною появленія ихъ у меня были мои стихи, они со мной именно о стихахъ ничего не говорили. Это меня не только удивляло, но даже смущало; почти ничего не говорили о «Современникѣ», судьба котораго въ эти годы была поистинѣ замѣчательна, такъ какъ выходъ каждаго нумера въ свѣтъ являлся крупнымъ событіемъ петербургской жизни. Говорили больше о постороннихъ вещахъ и, между прочимъ, о

только-что начавшей дѣйствовать Николаевской желѣзной дорогѣ. Вспомнили Николая I и Клейнмихеля и какъ онъ сразу слетѣлъ. Въ значительной степени доставалось,— я это помню очень хорошо,—тогдашнему интендантству, грѣхи котораго послѣ Крымской войны всплыли одинъ за другимъ и поражали тѣми широкими основаніями, на которыхъ они практиковались. Говорилось очень много о Севастополѣ, въ которомъ ни одинъ изъ трехъ названныхъ лицъ не бывалъ, но разсказами о которомъ преисполнено было общество и еще недавно обогащена литература въ чудеснѣйшихъ разсказахъ графа Льва Толстого. Наконецъ, какъ-бы сама собою, рѣчь перешла къ охотѣ и къ охотникамъ. Нѣсколько насмѣшливыхъ словъ Анненкова, одобренныхъ молчаливой улыбкой Дудышкина, вызвали Ивана Сергѣевича на разговоръ, и онъ началъ вспоминать о томъ, чего не дописалъ въ своихъ «Запискахъ Охотника».

— Да вѣдь охотники всѣ люди мнительные и лгуны,— сказалъ Анненковъ.

— Ну, лгуны не лгуны, а что мнительны многіе изъ нихъ, то это вѣрно,—отвѣтилъ Иванъ Сергѣевичъ.— Да, вотъ, хоть-бы со мною былъ случай, который не угодно-ли вамъ объяснить!

Надо замѣтить, что Иванъ Сергѣевичъ принадлежалъ къ числу людей необычайно мнительныхъ. Стоило ему встрѣтить по выходѣ изъ дому лошадь той или другой масти, которая могла предвѣщать нѣчто нежелательное, стоило ему услышать въ разговорѣ какой-нибудь намекъ на значеніе числа 13, какъ Иванъ Сергѣевичъ тотчасъ если не содрогался, то какъ-бы съуживался и уходилъ въ себя. Онъ ужасно боялся ночи и сновъ, а въ особенности пугало его во всѣхъ видахъ и всегда чувство смерти.

— Да-съ,—говорилъ Иванъ Сергѣевичъ,—вотъ что со мною на охотѣ было... Не задалась мнѣ какъ-то въ одинъ день охота съ Ермолаемъ...

Какъ только Иванъ Сергѣевичъ произнесъ имя Ермолая, такъ тотчасъ-же у меня въ головѣ промелькнулъ весь тотъ характерный обликъ его спутника на охотѣ, столь хорошо охарактеризованный въ одномъ изъ его разсказовъ; промелькнула и мельничиха, и равнодушная ко всему на свѣтѣ Валетка.

— Охота не удавалась,—говорилъ Иванъ Сергѣевичъ,—дичи не было, собаки шли лѣниво. Денекъ былъ сѣрый и неприглядный, скука одолѣвала насъ. Понурилъ голову и Ермолай.

— Пойдемте,—говорилъ онъ мнѣ,—домой. Ничего сегодня хорошаго не будетъ.

— Я,—говорилъ Тургеневъ,—послушался его, и мы двинулись по направленію къ бричкѣ, оставленной на опушкѣ лѣса, на излучинѣ рѣки. Небольшой дождь моросилъ, и мы шли съ Ермолаемъ молча, понуривъ головы и свѣсивъ ружья. О чемъ ужъ я думалъ,—не знаю, не помню, но я, двигаясь совершенно машинально, рѣшительно не замѣчалъ того, что подлѣ меня дѣлалось...

Вдругъ я почувствовалъ,—продолжалъ Тургеневъ,—необычайно сильный ударъ въ грудь, ударъ до такой степени неожиданный, что я не только остановился, но и отшатнулся. Не прошло и секунды, какъ глупая причина удара выяснилась. Громадный заяцъ,—почему уже, Богъ его знаетъ,—бросился изъ-подъ кустовъ, съ-просонковъ что-ли, ко мнѣ прямо на грудь и—ошеломленный моею грудью гораздо больше, чѣмъ я зайцемъ—немедленно пустился на-утекъ, стрѣлою по прямому отъ насъ направленію. Ермолай, не пропускавшій подобныхъ случаевъ неожиданныхъ появленій дичи, стоялъ тоже, какъ вкопанный, и даже не подумалъ вскинуть ружье, пока мы смотрѣли зайцу вслѣдъ. Я тоже не думалъ цѣлиться, сначала будто руки свинцомъ налились, а потомъ мнѣ смѣшно стало. Когда заяцъ исчезъ, юркнувъ въ кусты,—я опустилъ ружье

на землю и посмотрѣлъ себѣ на грудь. Слѣды... слѣды зайчьей шкурки несомнѣнно оставались на моемъ полукафтанѣ, а ударъ былъ такъ живъ и неожиданъ, что я словно продолжалъ чувствовать его. Молчаніе прервалъ Ермолай.

— Ну, Иванъ Сергѣевичъ, идемте скорѣе, нехорошо.

— Да что-же не хорошо?

— Да ужъ идемте, примѣта нехорошая.

Мы пошли и минутъ черезъ десять находились подлѣ нашей брички, запряженной парою; взобрались въ нее и поѣхали домой.

Дорога шла подлѣ рѣки, дождь размочилъ колеи, жерднякъ по канавкамъ, при движеніи колесъ, подскакивалъ... И что-жъ бы вы думали,—говорилъ Иванъ Сергѣевичъ, обращаясь къ собесѣдникамъ,—что бы вы думали—вѣдь случилось несчастіе...

— Какое?—въ одинъ голосъ спросили Анненковъ и Дудышкинъ, заинтересованные не тѣмъ, что разсказывалъ Тургеневъ, а какъ онъ разсказывалъ.

Иванъ Сергѣевичъ умѣлъ говорить, когда ему было любо говорить, и говорилъ очень хорошо. Не совсѣмъ пріятно поражало въ немъ недостаточное соотвѣтствіе между крупной его фигурой и довольно-таки тоненькимъ голоскомъ, который, казалось, выходилъ вовсе не изъ его мощной груди, а откуда-то со стороны.

— Да-съ,—продолжалъ онъ,—бричка опрокинулась, я вывалился и сломалъ себѣ ключицу...

Здѣсь я долженъ повиниться, что не особенно ясно помню, что именно сломалъ Тургеневъ: ключицу, руку или ногу. Братъ мой, слышавшій этотъ разсказъ, тоже не помнитъ. Но, по существу своему, по характеру своему, разсказъ этотъ памятенъ ему также хорошо, какъ и мнѣ.

* * *

Почти 40 лѣтъ миновало послѣ этого, замѣчательнаго для меня въ моей жизни, вечера. Думая написать то, что я только-что написалъ, я хотѣлъ всетаки справиться, если это возможно, у кого бы то ни было о томъ, что именно сломалъ себѣ Тургеневъ на одной изъ охотъ? Мнѣ казалось, что такой интересный случай, какъ тотъ, который только-что разсказанъ мною, былъ непремѣнно сообщенъ весьма словоохотливымъ Иваномъ Сергѣевичемъ кому-либо изъ своихъ хорошихъ друзей, напримѣръ Дмитрію Васильевичу Григоровичу. Къ нему я нѣсколько дней тому назадъ и направился съ цѣлью разъяснить мое сомнѣніе.

Почтенный патріархъ нашей беллетристики, болѣя, сидѣлъ у себя дома, не имѣя возможности выдти на улицу. Несмотря на это, Дмитрій Васильевичъ оказался настолько любезенъ, что принялъ меня и, выслушавъ мою просьбу объяснить что-либо о сломанной ключицѣ Тургенева, покачалъ головою, улыбаясь.

— Нѣтъ, мнѣ Тургеневъ никогда ничего подобнаго не разсказывалъ, да и вообще я не слыхалъ ничего такого.

— Однако,—отвѣтилъ я,—вѣдь несомнѣнность разсказаннаго мною для меня подтверждается живымъ свидѣтелемъ, моимъ братомъ, который находился, какъ и я, въ здравомъ умѣ и полной памяти, когда Иванъ Сергѣевичъ разсказывалъ о случаѣ излома?

— Не знаю, не знаю, но мнѣ Иванъ Сергѣевичъ ничего такого не говорилъ. Онъ разсказывалъ иногда и самъ себѣ вѣрилъ... Можетъ быть, и это такъ!..

* * *

На протяженіи 40 лѣтъ совершилось столько событій въ общественной жизни нашей, умерло столько людей крупныхъ, дѣятелей характерныхъ, народилось не меньшее число новыхъ, еще болѣе характерныхъ, но о людяхъ

шестидесятыхъ годовъ каждая страница — назиданіе, а поэтому и разсказанное мною не излишне. Въ концѣ концовъ по тщательному сравненію того, что совершалось въ тѣ дни, и того, что занимаетъ насъ сегодня, нельзя не признать, что подъемъ духа въ шестидесятыхъ годахъ былъ несравненно выше, чѣмъ въ концѣ XIX столѣтія. Но есть, къ счастью, полное основаніе полагать, что уже и теперь, послѣ долгихъ странствованій и скитаній духа, настаютъ времена болѣе свѣтлыя и, можетъ быть, въ недалекомъ будущемъ повѣетъ въ душу людскую тѣмъ тепломъ и тою вѣрою въ себя, которыми отличались шестидесятые годы. Страницы ихъ исторіи еще недостаточно ясно опредѣлены, потому что не всѣхъ еще прибрала могила, и старыя страсти, какъ бы онѣ ни ослабѣли, перешли отъ отцовъ къ дѣтямъ, еще живутъ и—часто съ достаточной несправедливостью—хулятъ то, что было хорошо, и хвалятъ то, что было дурно. Не мѣсто, конечно, здѣсь перечислять дурное и славословить хорошее, но нѣкоторыя перемѣны въ нашемъ общественномъ настроеніи къ лучшему всетаки имѣются. Стоитъ вспомнить о томъ, съ какой жадностью набрасываются теперь на чтеніе маломальски талантливыхъ вещей; какъ желали-бы люди слышать могучій голосъ первоклассного таланта, котораго теперь не нарождается. Какъ желали-бы они двигаться, дѣйствовать, думать о чемъ-нибудь такомъ, въ чемъ лежала-бы возможность проведенія мысли въ дѣйствіе, исполненіе, воплощеніе. Старые идеалы рушились, чувствуется потребность въ новыхъ; новые идеалы, несомнѣнно, уже носятся между насъ, но они не нашли своего Гоголя, своего Тургенева, своего Достоевскаго. Заговорятъ-ли они, гдѣ и какъ—неизвѣстно, но близость заревыхъ лучей чувствуется даже и не очень чувствительными натурами, и свѣжая поросль зеленѣетъ...

В. Буренинъ.

ПЕРЕПОЕВЪ.

(Изъ «Современныхъ типовъ».)

Вѣнокъ на гробъ друга-артиста.

«Артистъ, артистъ отъ головы до ногъ!»
Шекспиръ.
(Трагедія «Ричардъ Львиное Сердце».)

Перепоевъ умеръ!

Вѣсть объ этой нежданной, негаданной смерти пронеслась по всей Россіи, отъ хладныхъ финскихъ скалъ до пламенной Колхиды, отъ потрясеннаго Кремля до стѣнъ недвижнаго Китая. Всѣ классы русскаго общества поспѣшили пролить слезы искренней, глубокой горести объ этомъ талантѣ, даже, можно сказать, геніѣ куплета и канкана.

Онъ умеръ, какъ жилъ, умеръ на своемъ посту, умеръ въ заведеніи Шато-де-Кабакъ отъ неумѣреннаго употребленія очищенной, послѣдствіемъ котораго была драка, кончившаяся на сей разъ не только однимъ мордобитіемъ и составленіемъ полицейскаго протокола, какъ бывало прежде не разъ, но и преждевременной смертью артиста-художника.

Смерть Перепоева, это—великое общественное, скажу прямо, не боясь преувеличенія, всероссійское, всенародное горе. Но для меня это—еще и личное горе! Россія, русскіе любители канкана и куплета потеряли въ Перепоевѣ одного изъ изумительнѣйшихъ выразителей канканнаго и куплетнаго искусства. Я потерялъ въ Перепоевѣ и художника, и друга. Да, Перепоевъ былъ однимъ изъ самыхъ близкихъ моихъ друзей. Я сообщаю объ этомъ читателямъ, захлебываясь отъ рыданій. Могу сказать даже съ гордостью, что я первый открылъ его талантъ, указалъ ему путь къ канкану и куплету и, стало-быть, путь къ славѣ.

Я зналъ Перепоева еще въ то время, когда былъ онъ не знаменитостью куплета и канкана, восхищавшею всю интеллигентную Россію въ заведеніи Шато-де-Кабакъ, а лишь скромнымъ увеселителемъ извощичьей публики въ крохотномъ трактирчикѣ, ютившемся гдѣ-то на Глазовой улицѣ. Судьба забросила меня совершенно случайно въ этотъ извощичій трактирчикъ, забросила, очевидно, для того, чтобы найти тамъ Перепоева, указать ему его великое назначеніе и указать его самого цѣлой Россіи. Вотъ какъ произошло это.

Однажды утромъ я возвращался послѣ хорошей пріятельской попойки, продолжавшейся всю ночь. Выпито было много, такъ много, что я едва держался на ногахъ и чувствовалъ, что, если не опохмѣлюсь сейчасъ-же, тутъ-же, гдѣ-нибудь по пути, то уже не дойду домой, а растянусь на улицѣ и затѣмъ очнусь уже, конечно, въ полицейскомъ участкѣ. Опохмѣлиться надо было во что бы то ни стало. Я оглянулся кругомъ, томимый жаждою очищенной, оглянулся мутнымъ взглядомъ и вдругъ примѣтилъ вывѣску надъ закопченной дверью подвальчика, вывѣску двухъ цвѣтовъ—краснаго и синяго, какъ извѣстно, въ прежніе годы установленную оффиціальной властью для всѣхъ заведеній съ выпивкой. Сердце мое забилось радостно и усиленно. На вывѣскѣ значилось крупными золотыми буквами: «Ма-

линка. Трактиръ на правахъ распивочной. Для извощиковъ и всѣхъ». Я весело икнулъ и ринулся черезъ дверь въ спасительный подвальчикъ. Помню, какъ теперь, всѣ малѣйшія подробности: завизжалъ блокъ съ подвѣшеннымъ кирпичомъ, изъ раскрывшейся двери, какъ изъ пасти, пахнулъ густой паръ съ промозглымъ запахомъ подвала, жженой корюшки и лука; затѣмъ—снова визгъ блока, дверь захлопнулась, паръ окружилъ меня такимъ сплошнымъ облакомъ, что нѣсколько секундъ я ничего не примѣчалъ кругомъ.

Когда паръ разсѣялся, я увидѣлъ, что стою у стойки, кто-то подаетъ мнѣ стаканчикъ очищенной и соленый огурецъ, кругомъ слышны какіе-то звуки и топотъ, какое-то гоготанье и уханье. Блѣдный молодой человѣкъ, окруженный грубыми извощиками съ красными рожами и подбодряемый дикими криками ихъ восторга, откалываетъ посреди низкой, грязной и заплеванной комнаты канканъ, и какъ откалываетъ! Съ такимъ brio, какого я не встрѣчалъ ни у кого и никогда прежде и никогда потомъ. А читателямъ надо знать, что я видалъ-таки на своемъ вѣку канканъ и не на родинѣ только, но и въ европейскихъ канканныхъ заведеніяхъ. Съ глубокимъ убѣжденіемъ могу сказать: люблю канканъ, понимаю толкъ въ канканѣ, постигаю всю душу канкана. Одного взгляда было достаточно для того, чтобы понять, что передо мною былъ не заурядный кабачный канканеръ, а геній, великій артистъ этого танца. Пляску канкана блѣдный молодой человѣкъ сопровождалъ пѣніемъ куплетовъ, какъ я потомъ узналъ, его собственнаго сочиненія. Помню, куплеты эти превосходно начинались такъ: «Ахъ, прохвостъ, прохвостъ, прохвостъ!» А заканчивались они еще превосходнѣе, вотъ этакъ: «Изъ прохвостовъ ты прохвостъ и распрохвостъ!» Пѣлись куплеты на голосъ извѣстнаго «Камаринскаго мужика».

Пятнадцать рюмокъ очищенной, выпитой вмѣстѣ съ

«Наливай мнѣ въ глотку,
Наливай мнѣ въ пасть
Тенерифъ и водку,
Крѣпкія на страсть!..»

Надо было слышать, какъ Перепоевъ пѣлъ этотъ удивительный, геніальный куплетъ, чтобы понять ту поистинѣ перепойную жажду, какую выражалъ онъ и словами, и расширенными глазами, залитыми виномъ, съ бѣлками, покрытыми кровяными жилками; мало того, выражалъ даже носомъ, сизокраснымъ, распухшимъ носомъ, который, казалось, сіялъ предвкушеніемъ великаго блаженства отъ воспріятія «въ глотку» и «въ пасть» тенерифа и очищенной...

Кромѣ страсти къ вину, у Перепоева были еще двѣ другія, тоже истинно-артистическія страсти: займы денегъ и женщины.

Въ искусствѣ займовъ Перепоевъ былъ изумителенъ почти также, какъ въ искусствѣ пить до полной очумѣлости. Какъ занималъ и у кого только онъ не занималъ, разумѣется, всегда не только безъ отдачи, но даже безъ всякой мысли о томъ, что слѣдуетъ отдавать деньги, взятыя въ долгъ! Перепоевъ не признавалъ въ принципѣ необходимости отдавать занятыя деньги,—можно сказать, ненавидѣлъ платить долги.

— Аркашка, — въ припадкѣ откровенности говорилъ мнѣ по этому поводу однажды Перепоевъ,—Аркашка, слушай: первое правило истиннаго артиста—занимай у всѣхъ, сколько можешь, не стѣсняясь ни минимумомъ, ни максимумомъ суммы. Если дадутъ только гривенникъ—занимай гривенникъ. Если дадутъ милліонъ—бери милліонъ. Но никогда не возвращай ни того, ни другого тѣмъ, у кого взялъ. Ни подъ какимъ видомъ!.. Артистъ беретъ въ долгъ, но не возвращаетъ. Иначе—онъ не артистъ, а скотина.

— Но, если кредиторъ пристаетъ, требуетъ?

— По мордѣ! Или еще лучше, поступай такъ: коли ты

долженъ, напримѣръ, семьдесять пять рублей и ихъ отъ тебя требуетъ кредиторъ, предложи ему дать тебѣ еще двадцать пять для того, чтобы круглымъ счетомъ составилось сто. Подлецъ-кредиторъ отъ тебя сейчасъ отстанетъ, а честный, навѣрное, дастъ двадцать пять. Въ обоихъ случаяхъ дѣло будетъ въ шляпѣ.

Я сказалъ, что Перепоевъ занималъ у всѣхъ, у кого попало, кто подъ руку подвернулся: у театральныхъ плотниковъ и бутафоровъ, у товарищей-артистовъ, у пожарныхъ, у извощиковъ, у свѣтскихъ львицъ и губернаторовъ, у купцовъ и купчихъ, у жидовъ-ростовщиковъ, у маркеровъ, у рецензистовъ даже, что уже было совсѣмъ «наперекоръ стихіямъ», такъ какъ обыкновенно рецензисты занимаютъ у артистовъ, а не наоборотъ. И занималъ онъ съ удивительной ловкостью, съ быстротой, съ натискомъ, можно сказать, неотразимымъ. Я самъ люблю занимать деньги и умѣю ихъ занимать, какъ умѣю не отдавать также. Но я всегда сознавалъ, что въ этомъ отношеніи я передъ Перепоевымъ профанъ.

И съ такою-же истинно-артистическою безпечностью, съ какою Перепоевъ занималъ деньги, онъ тутъ-же, сейчасъ-же ихъ и разбрасывалъ. Эта благородная черта разбрасыванья чужихъ, взятыхъ въ долгъ денегъ, взятыхъ безъ малѣйшей мысли о возвращеніи долга, эта благородная, симпатичная черта обрисовываетъ, по моему, во весь ростъ куплетно-канканную натуру великаго артиста, свидѣтельствуетъ о младенческой ясности, безпечности и невинности его художественной души. Тутъ заемъ почти возвышался до вымоганія съ одной стороны и до воровства — съ другой. Чистъ сердцемъ, чистъ, какъ поцѣлуй младенца, художникъ, достигшій такой простоты въ одномъ изъ самыхъ трудныхъ житейскихъ дѣлъ—въ извлеченіи денегъ изъ чужихъ кармановъ и въ одномъ изъ самыхъ легкихъ—въ разбрасываніи ихъ.

Женщинъ Перепоевъ любилъ чрезвычайно, беззавѣтно, и онѣ любили его. Перепоевъ не былъ красивъ. Въ его артистическомъ лицѣ черезчуръ ужъ рѣзко отпечатлѣвались «черты изъ жизни». Его глаза казались выскочившими изъ орбитъ отъ постояннаго пьянства и притомъ гноились. Его носъ давно уже принялъ сизокрасный цвѣтъ и представлялъ какъ-бы мясистую, рыхлую грушу, насквозь пропитанную тенерифомъ. Иногда мнѣ казалось, что, если пожать этотъ мясистый носъ, то изъ него брызнетъ источникъ водки, какъ изъ скалы, тронутой жезломъ Моисея. Переднихъ зубовъ у Перепоева не было: ихъ вышибъ ему какой-то московскій купеческій сынъ, соперникъ по артистическимъ увлеченіямъ представительницами отдѣльныхъ кабинетовъ въ шато-кабакахъ. Но, несмотря на всѣ эти явные недочеты своей наружности, повторяю, Перепоевъ былъ любимъ особами прекраснаго пола всегда и вездѣ, любимъ съ начала своей артистической карьеры и до самой смерти. Онъ очаровывалъ женщинъ своей геніальностью и порывами своей страстности. Онѣ просто таяли отъ одного только подмигиванія его пьяныхъ глазъ съ распухшими вѣками. Да, да, просто таяли и кидались ему на шею дюжинами. Побѣды Перепоева во всѣхъ пансіонахъ безъ древнихъ языковъ были безчисленны. Особенно онъ привлекалъ къ себѣ особъ изъ распухшихъ старыхъ купеческихъ вдовъ, вскормленныхъ пирогами и кулебяками. Можно сказать безъ преувеличенія, что во все время своей, довольно-таки продолжительной, артистической карьеры онъ былъ непрерывно на содержаніи у какой-нибудь купчихи того города, гдѣ проявлялъ свой канканный и куплетный даръ. И онъ любилъ это... «Артистъ долженъ быть содержанцемъ, иначе онъ не артистъ», говаривалъ Перепоевъ. Другое его знаменитое изреченіе было: «Артистъ никогда не платитъ женщинѣ, а женщина всегда должна платить артисту». Въ этихъ афоризмахъ Перепоева выражалось

сознаніе его неотразимой очаровательности, его власти надъ женщинами.

Припоминается мнѣ послѣдняя моя встрѣча съ Перепоевымъ, за нѣсколько мѣсяцевъ до его смерти, и мой послѣдній разговоръ съ другомъ-артистомъ. Это было прошлой осенью, въ Крамбамбулинскѣ. Я попалъ туда проѣздомъ изъ Очищенска и Трехпробинска. Не помню ужъ, по какому случаю прикатилъ я въ эти два города: выпито было тогда столько и въ томъ, и въ другомъ, что я рѣшительно былъ въ безсознательномъ состояніи. Въ Крамбамбулинскъ-же я попалъ прямо уже какимъ-то чудомъ: точно съ неба свалился, и притомъ прямо въ мѣстный Шато-де-Кабакъ. И не успѣлъ я еще свалиться, какъ уже меня душилъ въ дружескихъ объятіяхъ великій художникъ-канканеръ.

— Тарарабумбіевъ! Аркашка! Подлецъ! — оралъ, покрывая пьяными лобзаніями мои щеки, Перепоевъ.

— Перепоевъ! — оралъ я, покрывая его щеки такими же пьяными лобзаніями.

— Какими судьбами здѣсь, въ Крамбамбулинскѣ, у насъ?

— Не спрашивай. Не могу объяснить ровно ничего. Вотъ уже недѣлю нахожусь въ безпробудномъ состояніи. Даже не сознаю, что̀ въ меня лили и льютъ.

— Ахъ, канашка ты мой! Дай мнѣ посмотрѣть на тебя. Сколько лѣтъ, сколько зимъ не видались. Ну, ты все такой же: все такая-же скотина.

— А ты все такая-же свинья. Нисколько не измѣнился.

— Зачѣмъ мнѣ мѣняться? Я, братъ, геній! А истинный геній всегда долженъ быть похожъ на свинью. Правило.

— Да, это такъ. Ну, что-же, какъ ты поживаешь здѣсь?

— Блаженствую, просто блаженствую! Служу канкану и куплету. Пью. Занимаю безъ отдачи. Люблю и очаровываю. Купчихи просто разрываютъ. У четырехъ на полномъ иждивеніи. Какія женщины! Манна! Оставайся у насъ. Я

тебѣ уступлю пару. Ей-Богу! Довольно, скотина, тебѣ литературишкой заниматься. Брось! Будь артистомъ и содержанцемъ. Повѣрь, вся жизнь въ этихъ двухъ словахъ: артистъ и содержанецъ. И другого въ жизни нѣтъ ничего: «и не жди, не будетъ».

— Вижу, что ты въ экстазѣ и, значитъ, пользуешься большимъ, настоящимъ успѣхомъ въ Крамбамбулинскѣ.

— Успѣхъ, Аркашка, такой, что я и передать тебѣ не могу. Бѣшеный успѣхъ. Такого у меня еще нигдѣ не было. Я здѣсь въ продолженіи трехъ дней двадцать скандаловъ съ мордобитіемъ и составленіемъ протоколовъ произвелъ, въ двадцати трактирахъ. По главной Дворянской улицѣ прошелся голымъ четыре раза и даже въ голомъ видѣ протанцовалъ канканъ передъ окномъ губернаторши. И повѣришь-ли: чѣмъ больше скандалю, тѣмъ больше передо мною и моимъ талантомъ преклоняются. Такъ-то, Аркаша! Могу безъ хвастовства сказать: въ настоящій моментъ моя слава достигла апогея: меня даже ужъ не бутылками поятъ, а прямо четвертными!..

— Ну, Перепоевъ, вижу дѣйствительно, что настоящее твое блистательно. Но уповаю, что тебя въ близкомъ будущемъ ждетъ еще бо̀льшая слава...

Зналъ-ли я тогда, думалъ-ли, что въ близкомъ будущемъ Перепоева уже ждала смерть, и притомъ трагическая. Онъ умеръ, какъ жилъ — артистомъ. Въ одной распивочной на-выносъ города Крамбамбулинска, онъ послѣ спектакля напился въ лоскъ въ компаніи поклонниковъ и поклонницъ. Разумѣется, артистическое препровожденіе времени закончилось скандаломъ, и притомъ необыкновенно грандіознымъ. Вышла не то что ужъ драка, а прямо побоище. Кто-то ударилъ Перепоева по головѣ полѣномъ, и великій артистъ упалъ бездыханнымъ трупомъ на грязный полъ, залитый пивомъ и водкой...

Онъ долженъ былъ такъ кончить. Это роковое... Такіе геніальные любимцы боговъ всегда такъ кончаютъ, потому что, по выраженію поэта, «Они не созданы для міра, и міръ былъ созданъ не для нихъ». Да и какъ онъ могъ быть для нихъ созданъ: вѣдь при созданіи міра у боговъ не было еще никакого представленія о канканѣ и куплетѣ, равно какъ о шато-кабакахъ и трактирахъ на правахъ распивочной...

Аркадій Тарарабумбіевъ,
Рецензистъ канканныхъ заведеній.

Сообщилъ **графъ Алексисъ Жасминовъ.**

В. Грибовскій.

ВЪ ПОСЛѢДНІЙ РАЗЪ.

(Разсказъ.)

Уже нѣсколько часовъ въ маленькомъ полувагонѣ второго класса узкоколейной дороги составъ пассажировъ не мѣнялся. Впрочемъ, ихъ и всего-то было трое: недавно произведенный офицеръ въ новенькой блестящей свѣжестью формѣ, его жена—молоденькая женщина съ блѣднымъ худенькимъ личикомъ и наивнымъ дѣтскимъ взоромъ—и штатскій господинъ въ широкополой шляпѣ, очкахъ и съ книгой въ рукѣ. Штатскій не на много превосходилъ по возрасту своихъ спутниковъ, но особая сдержанность и серьезность дѣлали его нѣсколько старше своихъ лѣтъ.

Молодые супруги, не стѣсняясь присутствіемъ посторонняго, выказывали по отношенію другъ друга крайнюю нѣжность и внимательность. Штатскій вначалѣ поглядывалъ на молодоженовъ съ нѣкоторымъ стыдливымъ удивленіемъ, но потомъ освоился съ положеніемъ безмолвнаго свидѣтеля супружескихъ изліяній. Молодой женщинѣ въ свою очередь, повидимому, было пріятно, что ея счастье видѣли чужіе люди. Она, какъ кошечка, жалась на своемъ

диванѣ, куталась въ пуховый платокъ и поминутно взглядывала съ кокетливой и лукавой улыбкой въ сторону незнакомаго спутника. Ей точно хотѣлось, чтобъ онъ завидовалъ ея мужу. Иногда, когда офицеръ цѣловалъ жену долгимъ поцѣлуемъ въ губы, молодая женщина закидывала голову, сперва закрывала, потомъ открывала глаза и впивалась косоватымъ взоромъ въ лицо сдержанному господину. Сперва штатскій скромно отворачивался къ окну, но потомъ понялъ, что вниманіе его необходимо для полноты обстановки и отвѣчалъ сосѣдкѣ осторожной сочувственной улыбкой.

Уже наступалъ осенній вечеръ. Поѣздъ медленно двигался среди какихъ-то черно-желтыхъ подмоченныхъ луговъ и мелкой лѣсной поросли. Въ вагонѣ становилось все темнѣе и темнѣе. Супруги, повидимому, ѣхали куда-то надолго и потому позаботились окружить себя удобствами. Они загородились подушками, пледами, мѣшечками, корзинками, ящичками и коробками. Отъ времени до времени офицеръ открывалъ ту или другую коробку, развязывалъ корзинку и вынималъ оттуда конфекты, фрукты, пирожки.

Въ послѣдній разъ онъ протянулъ сочныя груши спутнику; тотъ отказался отъ угощенія, но это подало поводъ къ дорожному знакомству. Молодые люди разговорились. Оказалось, что оба они ѣхали по дѣламъ службы. Офицеръ, между прочимъ, сопровождалъ ввѣренную его попеченіямъ команду. Теперь только штатскій уяснилъ себѣ присутствіе въ поѣздѣ массы загорѣлыхъ солдатскихъ лицъ, мелькавшихъ въ вагонахъ третьяго класса. На станціяхъ офицеръ тотчасъ выходилъ на платформу и потомъ долго не возвращался, а, приходя къ женѣ, сохранялъ на своемъ лицѣ дѣловой и озабоченный видъ. Молодые люди бесѣдовали другъ съ другомъ, но, какъ водится при дорожныхъ знакомствахъ, не называли себя, не представлялись. Штатскому, когда онъ вглядывался въ военнаго, почему-то

казалось, что онъ гдѣ-то видѣлъ это самоувѣренное, немного вызывающее лицо. Офицеръ тоже по-временамъ пристально вглядывался въ спутника.

Однообразіе пути начало утомлять молодую женщину. Она прилегла на диванъ, протянувъ вдоль него ноги, обутыя въ мягкія цвѣтныя туфельки съ помпонами. Офицеръ тотчасъ-же внимательно укрылъ жену пледомъ и хотѣлъ было опустить штору окна. Но молодая женщина воспротивилась. Она еще не хотѣла спать.

— Котикъ,—обратился къ ней юный супругъ,—ты будешь пить чай? Сейчасъ большая станція.

— Буду,—отвѣчала спрошенная,—а ты потомъ тоже ляжешь, когда стемнѣетъ? Вѣдь ты усталъ за день.

— Нѣтъ, не очень. Лучше отдохну, какъ пріѣдемъ...

— Нѣтъ, я хочу, чтобъ ты отдохнулъ теперь,—настойчивымъ, жалующимся голоскомъ произнесла молодая женщина.

Офицеръ поцѣловалъ у ней руку и продолжалъ, обращаясь уже къ спутнику.

— До отдыха-ли тутъ. Измучили меня они. Вотъ ужъ правду сказать...

— А все потому, что ты все очень близко принимаешь къ сердцу,—отозвалась жена.

— Ты чудачка, Зиночка,—мягко замѣтилъ офицеръ,—какъ-же не принимать къ сердцу, когда изъ-за нихъ каждую минуту въ бѣду можешь влетѣть. Я теперь только узналъ, что такое русскій мужикъ-солдатъ (офицеръ опять обернулся къ штатскому, ища у него сочувствія своимъ словамъ).—Представьте себѣ... Затѣяли себѣ всю дорогу чай пить... Бѣгаютъ съ чайниками... Во́-время въ вагоны не поспѣваютъ, потомъ цѣпляются за платформы... Долго ли до грѣха... Оборвется... А потомъ за него отвѣчай!

Офицеръ сдвинулъ брови и стиснулъ губы. Очевидно, цѣпляющіеся за платформы солдаты являлись больнымъ

мѣстомъ его поѣздки. Штатскій не нашолся, что̀ отвѣтить, хотя и считалъ законнымъ желаніе солдатъ попить чаю въ дорогѣ.

— Скорѣе-бы хоть съ ними развязаться,—съ сердцемъ добавилъ офицеръ.

— Тогда ты только обо мнѣ будешь думать, Вова?— спросила жена, опять кокетливо взглядывая на посторонняго спутника.

— Только о тебѣ, Котикъ,—съ улыбкой отозвался офицеръ, цѣлуя руку молодой женщины внутрь въ ладонь и снаружи.

Поѣздъ подходилъ къ большой станціи. Уже совсѣмъ стемнѣло. Кондукторъ зажогъ въ вагонѣ фонарь. Станція бросилась въ глаза путникамъ обиліемъ яркихъ огней и толкотнёй народа на платформѣ.

— Я пойду, распоряжусь насчетъ чая,—заявилъ офицеръ.

Штатскій остался вдвоемъ съ молодой женщиной.

— Пересядьте, пожалуйста, на минутку на нашъ диванъ,—обратилась она къ спутнику,—я боюсь, что кто-нибудь займетъ Вовино мѣсто.

Штатскій повиновался. Онъ очутился напротивъ молодой женщины и замѣтилъ, что вблизи она еще милѣе, нежели издали. Теперь его сосѣдка сидѣла у столика, облокотясь на подушку. Штатскій постарался быть любезнымъ и укрылъ ей ноги пледомъ, чтобы не дуло отъ входной двери. По ея просьбѣ, онъ открылъ окно и помогъ справиться съ поданнымъ чайнымъ приборомъ. Молодая женщина принялась хозяйничать. Штатскій любовался ея мягкими плавными движеніями. Никто изъ новыхъ пассажировъ не входилъ въ вагонъ. Кондуктору было заранѣе заплачено за охрану помѣщенія отъ покушенія постороннихъ лицъ. Штатскому казалось, что между нимъ и чужой женой, помимо его воли, устанавливалась какая-то

странная близость. Хрупкая блондинка по-временамъ такъ взглядывала на спутника своими наивными голубыми глазами, что молодому человѣку становилось какъ-то и сладостно, и жутко вмѣстѣ. Разговоръ не клеился, но зато штатскій старался, по возможности не только на словахъ, выказать внимательность къ блондинкѣ. Послышался второй звонокъ.

— Ахъ, что-же это Вова опять не идетъ,— воскликнула молодая женщина.—Пожалуйста,—просительно добавила она, обращаясь къ спутнику,—посмотрите, гдѣ Вова... Я боюсь, чтобъ онъ не остуцился, если будетъ входить на площадку послѣ третьяго звонка.

Штатскій повиновался. Онъ вышелъ на платформу станціи и принялся искать офицера. Оживленіе, вызванное прибытіемъ поѣзда, еще не улеглось. Кромѣ пасеажировъ и желѣзнодорожныхъ служащихъ, виднѣлись группы праздныхъ посѣтителей, имѣющихъ обыкновеніе превращать станціонную площадку въ мѣсто вечернихъ прогулокъ. Среди ихъ пестрой толпы у буфета третьяго класса сновали взадъ и впередъ солдатскія фигуры съ жестяными чайниками и булками въ рукахъ. Здѣсь неподалеку штатскій нашолъ спутника-офицера. Юный начальникъ отдавалъ какія-то приказанія унтеръ-офицеру и поминутно покрикивалъ на солдатъ. Штатскій удивился перемѣнѣ въ выраженіи лица офицера; ласковость и предупредительная нѣжность при бесѣдахъ съ женой теперь смѣнились какимъ-то острымъ презрительно-пренебрежительнымъ задоромъ. Штатскій выждалъ, пока офицеръ не кончилъ своихъ приказаній, и сообщилъ ему, что жена его обезпокоена долгимъ отсутствіемъ мужа. Офицеръ поблагодарилъ спутника, закачалъ головой, но не тронулся съ мѣста, пока не пробилъ третій звонокъ. И на платформѣ вагона онъ не переставалъ слѣдить за своей командой —перегибался черезъ боковую желѣзную планку, замѣняющую перила, вгля-

дывался въ линію лентой вытянувшагося поѣзда. Штатскій стоялъ на противуположной площадкѣ, докуривая папиросу. Вдругъ гнѣвное восклицаніе вырвалось у офицера. Онъ рванулся впередъ, готовъ былъ снова выскочить изъ поѣзда, что-то началъ кричать, кому-то грозить. Штатскій перегнулся впередъ въ свою очередь и увидѣлъ, какъ за ручки вагоновъ, бѣгомъ поспѣвая за движущимся вдоль станціонной настилки поѣздомъ, цѣплялся какой-то солдатикъ съ чайникомъ. Сильная рука кондуктора подхватила его и водворила на мѣсто, но офицеръ выходилъ изъ себя. Онъ ринулся черезъ поѣздъ по направленію къ занятымъ командою вагонамъ. Движимый какимъ-то необъяснимымъ чувствомъ, штатскій послѣдовалъ за нимъ. Начальникъ ворвался въ солдатское помѣщеніе. Дверь за нимъ осталась открытой, и штатскій могъ видѣть снаружи, что происходило внутри.

Мирное зрѣлище открылось его глазамъ. Человѣкъ двадцать солдатъ группами и въ-одиночку расположились въ вагонѣ. Одни кучкой бесѣдовали въ одномъ углу, другіе играли въ карты въ другомъ; нѣсколько человѣкъ спали, неестественно скорчившись на коротенькихъ скамейкахъ, двое при скудномъ свѣтѣ фонаря вслухъ читали книжку, нѣкоторые занимались чаепитіемъ. При появленіи начальника, всѣ быстро встали и вытянулись, застегиваясь и оправляясь. Офицеру кровь ударила въ голову. Онъ весь былъ красенъ, жилы вздулись на лбу, и глаза лихорадочно блестѣли.

— Кто сейчасъ послѣднимъ вошолъ въ вагонъ?—выкрикнулъ молодой начальникъ.

Сутулая приземистая фигура бѣлобрысаго безбородаго и безъусаго солдата выступила впередъ изъ-за скамеекъ. Лицо бѣлобрысаго парня было тоже красно, но не отъ волненія, а отъ испарины. Рядомъ съ нимъ на лавкѣ виднѣлся дымящійся чайникъ съ глиняной кружкой недопи-

таго чая и огрызокъ сахара. Офицеръ впился глазами въ подчиненнаго.

— А-а-а, это ты,—закричалъ начальникъ,—ты? Ты что? Что было сказано? Не скакать изъ вагона безъ дѣла, безъ толку не бѣгать, а ты что? Мерзавецъ, ты что?

Офицеръ задыхался. Провинившійся поблѣднѣлъ и замеръ на мѣстѣ.

— Ты что,—твердилъ, съ подергиваньемъ мускуловъ щекъ, начальникъ,—ты что?

Онъ все ближе, все плотнѣе наступалъ на рядового. Вдругъ штатскій увидѣлъ, какъ поднялась рука въ офицерскомъ обшлагѣ, какъ мотнулась всторону голова бѣлобрысаго солдата... Штатскій вздрогнулъ, повернулся и побѣжалъ въ свой вагонъ...

Вскорѣ вслѣдъ за нимъ вернулся офицеръ. Онъ еще продолжалъ волноваться и потиралъ правую руку. Чайный приборъ со стола оказался убраннымъ. Молодая женщина лежала на диванѣ, повернувшись лицомъ къ стѣнкѣ вагона. Нѣсколько минутъ офицеръ сидѣлъ молча.

— Зина,—наконецъ, тихо началъ онъ. Отвѣта не послѣдовало.

— Зиночка, ты спишь?

— Ахъ, оставьте, пожалуйста, меня въ покоѣ,—послышался, съ отзвукомъ слезъ, голосокъ молодой блондинки.

Она была обижена тѣмъ, что чуть-ли не на полчаса ее оставили одну въ вагонѣ.

— Зиночка, дружокъ, ты меня выслушай, что я тебѣ разскажу... Эти солдаты...

— Вы вѣчно со своими солдатами, у васъ другихъ разговоровъ для меня нѣтъ...

— Зиночка!

— Дайте-же мнѣ заснуть, по крайней мѣрѣ!

Послѣднія слова были произнесены съ такимъ раздраженіемъ, что офицеръ пожалъ плечами и устремилъ глаза вверхъ на огонь фонаря въ потолкѣ. Въ эту минуту штатскій замѣтилъ на бѣлой юношеской шеѣ его крупное родимое пятно, и оттого почему-то лицо спутника показалось ему еще болѣе знакомымъ. Но, если нѣсколько минутъ тому назадъ эти черты ему казались пріятными, теперь онъ презиралъ, если не ненавидѣлъ, ихъ. Что-то противучеловѣческое чудилось штатскому въ смутныхъ очертаніяхъ и выраженіи лица молодого спутника. Взглядъ штатскаго скользилъ по всей фигурѣ офицера и съ ужасомъ останавливался на правой рукѣ, которую военный принялся вытирать батистовымъ платкомъ.

— Вы позволите пересѣсть къ вамъ,—вдругъ спросилъ офицеръ, видимо желая дать возможность женѣ успокоиться.

— Пожалуйста,—сквозь зубы произнесъ штатскій.

Военный помѣстился на диванчикѣ напротивъ, и черты его еще болѣе показались штатскому знакомыми и противными.

Поѣздъ торопился. Маленькія колеса его постукивали особенно быстро, вагоны покачивались изъ стороны въ сторону. Въ окна глядѣла слѣпая ночь. Становилось томительно-скучно, дремотно. Офицеръ сперва нѣсколько разъ подходилъ къ женѣ, пробовалъ заглянуть ей въ лицо, но молодая женщина притворялась заснувшей, или, дѣйствительно, забылась. Мужъ ея долго смотрѣлъ на огонь фонаря, но потомъ глаза его начали тоже смыкаться. Онъ протянулся на диванчикѣ и заснулъ. Штатскій остался одинъ бодрствующимъ среди полумрака вагона и шума двигающагося поѣзда. Ему спать не хотѣлось. Рядъ мыслей тѣснился унего въ головѣ. Онъ удивлялся тому, какъ могъ оставаться спокойнымъ тотъ человѣкъ, у котораго на совѣсти должно было тяжкимъ бременемъ лежать

только-что совершонное злое дѣло. Душа его преисполнялась негодованіемъ. Съ какимъ глубокимъ презрѣніемъ онъ всматривался въ черты спящаго спутника, и, странная вещь, онѣ точно притягивали его къ себѣ! Штатскій нарочно отворачивался всторону, но черезъ нѣсколько мгновеній опять невольно принимался вглядываться въ нихъ.

Раздраженіе, высокомѣріе, гнѣвъ сбѣжали съ лица спящаго, и что-то дѣтское, простодушное, наивное проступило въ немъ; крупное родимое пятно еще сильнѣе оттѣнило юношескую бѣлизну шеи, брови поднялись и расправились, розовыя губы полураскрылись. Это пятно что-то напоминало штатскому. Онъ напрягъ память, и вдругъ точно искра ударила ему въ мозгъ. Онъ вспомнилъ. Да, сомнѣній не оставалось! Передъ нимъ лежалъ другъ его ранняго дѣтства —Володя Глазыринъ, когда-то маленькій простодушный, мягкосердечный кадетикъ, вмѣстѣ съ которымъ было проведено столько незабвенныхъ минутъ въ лагерѣ, гдѣ штатскій ребенкомъ гостилъ у своего дяди, артиллерійскаго офицера. Воспоминанія теперь разомъ нахлынули на бодрствующаго путника. Онъ вспомнилъ раннія утреннія артиллерійскія ученья на громадной равнинѣ убитаго конскими копытами поля, грохотъ орудій, запахъ стелющагося по землѣ порохового дыма, смѣшаннаго съ ароматомъ луговыхъ травъ и свѣжераспаханныхъ полей, мимо которыхъ приходилось проѣзжать, возвращаясь съ полубаттареей съ ученья. Вспомнились ему тихіе лѣтніе вечера съ яснымъ голубымъ небомъ и заходящимъ червонно-золотымъ солнцемъ, протяжная жалобная кавалерійская заря, вечерняя ракета, огненной змѣей бѣгущая въ синюю бездну ночного неба, и хоръ мужественныхъ солдатскихъ голосовъ, сливающихся въ общей молитвѣ. Вспомнились эти забытые теперь, но тогда дорогіе, друзья фейерверкеры и бомбардиры, отъ которыхъ пахло какимъ-то особымъ мужественнымъ, крѣп-

кимъ запахомъ и которые умѣли такъ тѣсно сливаться своей солдатской младенческой душой съ дѣтской душою сыновей офицеровъ. Штатскому показалось, что и теперь для него было-бы истиннымъ наслажденіемъ опять пройтись съ деньщикомъ Глазырина, бѣлоруссомъ Арищенкой, по траверзамъ—подземнымъ хранилищамъ артиллерійскихъ снарядовъ, и тамъ услышать запахъ смазочнаго сала и масла; посѣтить сарай съ запасными зарядными ящиками, гдѣ такъ хорошо пахло дегтемъ и кожею; пообѣдать въ караулкѣ изъ общей чашки вкуснымъ дымящимся горохомъ съ крупномолотымъ чернымъ солдатскимъ хлѣбомъ.

Образъ общаго съ Володей Глазыринымъ друга, деньщика Арищенки, всталъ передъ глазами бодрствовавшаго, какъ живой. Это былъ сильный, длинноусый, суровый на видъ солдатъ, проникнійся особой любовью къ обоимъ барчукамъ. Съ ними онъ проводилъ все свободное время, для нихъ мастерилъ изъ ударныхъ трубокъ гранатъ игрушечныя мортиры и изъ ружейныхъ патроновъ полевыя орудія; для нихъ онъ лазалъ въ болото рѣзать камышъ для плаванья на немъ въ ближайшей рѣчкѣ; имъ на свои скудные гроши онъ покупалъ яблоки и груши на базарѣ, и съ этимъ-же Арищенкой случилось тягостное происшествіе.

Штатскій въ мельчайшихъ подробностяхъ вспомнилъ этотъ удручающій случай. Володя прибѣжалъ въ баракъ къ дядѣ пріятеля и шепотомъ сообщилъ: «Папа сейчасъ побилъ Арищенку... папа ушелъ, а Арищенко сидитъ за баракомъ, и лицо у него въ крови». Мальчики побѣжали къ глазыринскому бараку: съ задней стороны его сидѣлъ на ящикѣ Арищенко и мокрой тряпкой вытиралъ окровавленное лицо. Ни гнѣва, ни раздраженія не выражали его хохлацкія черты, но только глубокая внутренняя боль отразилась въ нихъ. Мальчики долго стояли рядомъ съ деньщикомъ, не говоря ни слова; неизъяснимая

жалость охватила ихъ сердца. Штатскій помнилъ, что онъ заплакалъ и обнялъ за шею Арищенку, тоже самое сдѣлалъ и Володя Глазыринъ. Дѣтская ласка тронула сердце суроваго солдата. Горячая слеза скатилась съ его усовъ; онъ прижалъ мальчиковъ къ своей груди и долго держалъ ихъ такъ.

— Эхъ, хлопцы, — проговорилъ онъ дрожащимъ голосомъ,—у меня дома тоже близъ вашихъ лѣтъ хлопецъ есть, на васъ смотря, я все его вспоминалъ... Не бейте его, паничи, если онъ подъ вами солдатомъ будетъ!

Мальчики поклялись, они никогда никого бить не будутъ. Арищенко пошелъ въ свою палатку, принесъ оттуда краткій солдатскій молитвенникъ и подалъ его Володѣ.

— Возьмите его отъ меня какъ памятку, завтра меня отправятъ въ часть, — произнесъ онъ,—можетъ, когда взглянете на него, и вспомните солдата Арищенку.

Утромъ Арищенко былъ отправленъ въ часть. И вотъ, тотъ самый Володя Глазыринъ, который взялъ молитвенникъ обиженнаго деньщика, который плакалъ, клянясь, что никогда въ своей жизни никого не будетъ бить, нѣсколько минутъ тому назадъ ударилъ солдата, быть можетъ, сына того-же Арищенки!

Сердце штатскаго мучительно сжалось. Ему захотѣлось сейчасъ-же разбудить Глазырина, напомнить ему его клятву, отцовскую несправедливость, уговорить идти немедленно туда, въ вагонъ третьяго класса, отыскать потерпѣвшаго и просить у него прощенья... Поѣздъ подошелъ къ слѣдующей станціи и остановился. Толчокъ остановки разбудилъ офицера. Онъ открылъ глаза, привсталъ, оправился и приготовился выйти, чтобы взглянуть на свою команду.

— Послушайте, — съ горячностью обратился къ нему штатскій подъ вліяніемъ нахлынувшихъ на него чувствъ и воспоминаній,—вы не господинъ Глазыринъ?

Офицеръ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на штатскаго.

— Да, я Глазыринъ,—отвѣчалъ онъ,—а что? Откуда вы меня знаете?

— Я Варецкій... Петръ Варецкій... Помните лагерь подъ Энскомъ... деньщика Арищенку... молитвенникъ...

— Петя, такъ это ты, — воскликнулъ офицеръ, бросаясь къ другу дѣтства, — да какъ-же ты измѣнился... А я все на тебя смотрѣлъ... Господи! Вотъ неожиданность... Какъ я радъ...

Глазыринъ говорилъ искренно; онъ трясъ руку Варецкаго, лицо его опять разгорѣлось, глаза его радостно заблестѣли.

— Да, Володя, это я... Я также радъ нашей встрѣчѣ,— отвѣчалъ штатскій,—только, прости меня... не сердись... я такъ мучился, пока ты спалъ... Ты помнишь Арищенку?.. А я видѣлъ, какъ ты... сегодня...

Глазыринъ густо покраснѣлъ и точно захотѣлъ куда-то спрятать свою голову. Варецкій привлекалъ его къ себѣ и повторялъ, заикаясь:

— Голубчикъ, Володя, я видѣлъ... ты это сдѣлалъ въ первый разъ... Пусть онъ будетъ послѣднимъ... Я тебя прошу... Дай слово! Володя!

Застигнутый врасплохъ, Глазыринъ припалъ къ плечу друга дѣтства и прошепталъ:

— Въ послѣдній...

Глазырина, проснувшаяся отъ громкаго говора Варецкаго, съ изумленіемъ увидѣла обоихъ мужчинъ въ объятіяхъ другъ друга.

А. Луговой.

ИЗЪ ПРОШЛАГО И НАСТОЯЩАГО.

(Листки моего дневника.)

I.

Мнѣ вспоминается...

Мнѣ шелъ двадцать третій годъ. Я жилъ тогда въ Царевококшайскѣ. Этотъ городъ не внесенъ, кажется, ни въ одинъ учебникъ географіи. Но онъ извѣстенъ всей читающей Россіи: его названіе часто встрѣчается въ самыхъ разнообразныхъ органахъ печати въ видѣ приставки къ словамъ «какой-то» или «какой-нибудь», когда хотятъ характеризовать нѣчто до послѣдней степени захолустное, ничтожное. Впрочемъ, въ послѣдніе годы мнѣ, кажется, случалось читать, что царевококшайское земство оказалось однимъ изъ самыхъ передовыхъ въ дѣлѣ народнаго образованія и земской медицины. По календарю 98-го года въ Царевококшайскѣ числилось 2000 жителей, по календарю 99-го—только 1700: должно-быть послѣдняя перепись обнаружила въ немъ убыль населенія. Да и, въ самомъ дѣлѣ,

кому охота плѣсневѣть на его топкихъ болотахъ! Весной и осенью, въ распутицу, тамъ на главной улицѣ и на базарной площади море жидкой грязи; по нему разставляютъ вѣхи изъ слокъ для обозначенія фарватера, гдѣ можно проѣхать, не утопивъ телѣгу и лошадь. Безъ шутокъ—это дѣлалось не разъ. Плохой городъ! Я давно-давно не былъ въ немъ.

Но, когда я жилъ тамъ, онъ былъ мнѣ милъ: мнѣ тогда все было мило. Я и теперь сохранилъ о немъ только хорошія воспоминанія,—это вѣдь все радужныя воспоминанія о дняхъ моего свѣтлаго дѣтства и моей безпутной юности... Милый Царевококшайскъ!

У меня было тамъ еще въ 70-хъ годахъ унаслѣдованное отъ отца торговое дѣло, дававшее мнѣ хорошій доходъ. Я потомъ бросилъ его, стремясь изъ темнаго родного угла къ «окну въ Европу». Тогдашнее положеніе мое—купца—не удовлетворяло меня. Душа моя жаждала какихъ-то мнѣ и самому еще неясныхъ подвиговъ, которые надо было совершить для общаго блага, и я стремился пріобщиться къ слою высшей интеллигенціи; а для этого—жертву какими-нибудь матерьяльными интересами я считалъ даже и не жертвой, а однимъ удовольствіемъ.

Но, пока я занимался въ царевококшайскихъ дебряхъ своей торговлей, я предавался ей со всей энергіей, не ослабленной никакими тормазящими «рефлексами». И я съ такими-же удовольствіемъ и азартомъ встрѣчалъ и «бралъ» всякія—большія и маленькія—препятствія на своемъ торговомъ пути, съ какими это дѣлаютъ на скачкахъ ретивый конь и смѣлый всадникъ, не боящіеся сломать себѣ ноги и шею.

Моимъ заводомъ и торговлей въ Царевококшайскѣ управлялъ довольно долгое время одинъ изъ мѣстныхъ жителей: онъ достался мнѣ вмѣстѣ съ дѣломъ, такъ сказать, по наслѣдству. У старика были привычки, часто выводившія

меня изъ терпѣнія; но онъ имѣлъ не мало друзей - собутыльниковъ въ кругу покупателей моего товара; поэтому я мирился съ его недостатками, сваливая на его плечи не всегда пріятную обязанность поддерживанія дружескихъ отношеній продавца съ потребителемъ.

Расширяя производство завода и ища сбыта, я пріобрѣлъ, между прочимъ, значительнаго покупателя въ одномъ изъ торговыхъ мѣстъ за Волгой. Мой управляющій, бывшій его старымъ пріятелемъ, ѣздилъ для этого къ нему нѣсколько разъ,—это отъ насъ было верстъ за сто, бражничалъ съ нимъ по суткамъ и, наконецъ, путемъ пониженія цѣны и разными льготами, склонилъ того измѣнить своимъ прежнимъ торговымъ связямъ и брать товаръ у насъ. Въ предѣлахъ своей сферы это была маленькая побѣда.

Но, какъ-разъ черезъ годъ послѣ этого, отношенія между мной и моимъ управляющимъ настолько обострились, что я долженъ былъ съ нимъ разстаться. Въ интересахъ конкуренціи, его сейчасъ-же взялъ къ себѣ на службу мой соперникъ по торговлѣ, такой-же мѣстный заводчикъ, какъ и я. И я зналъ, что мнѣ теперь предстояла не легкая борьба; силы моего противника увеличивались силами перебѣжчика.

Я былъ увѣренъ, что мой бывшій управляющій постарается прежде всего отбить у меня только-что имъ-же пріобрѣтеннаго мнѣ заволжскаго покупателя,—тотъ, конечно, окажется податливымъ на его дружескія увѣщанія и для него покинетъ меня. Надо было предупредить этотъ ударъ,—и сейчасъ-же, потому что время было горячее—осень, когда совершались сдѣлки на цѣлый годъ. Дорогъ былъ каждый день, каждый часъ. Телеграфа въ Царевококшайскѣ тогда еще не было, а почта въ Заволжье шла два раза въ недѣлю, черезъ Казань, дальней круговой дорогой. Чтобъ сдѣлать продажу, надо было скорѣе ѣхать за Волгу; я зналъ, что тоже сдѣлаетъ и мой бывшій управляющій. И

кто изъ насъ пріѣдетъ первымъ, тотъ и вырветъ лакомый кусокъ.

Какъ только это пришло мнѣ въ голову, я рѣшилъ поѣхать, не медля ни часу; я только справился, не уѣхалъ ли уже мой соперникъ: мнѣ донесли, что онъ парится въ банѣ. Я велѣлъ послать за лошадьми, а тѣмъ временемъ дать мнѣ поужинать,—было девять часовъ вечера. Я разсчиталъ, что, выѣхавъ еще до полуночи, я къ разсвѣту буду на Волгѣ, къ утреннему чаю—у моего покупателя и, пообѣдавъ у него въ часъ, вернусь завтра къ вечеру домой. Провести ночь въ саняхъ было въ нашемъ торговомъ дѣлѣ дѣло привычное. Ѣздилъ я, обыкновенно, въ дорогу въ кибиткѣ, крытой циновкою и подбитой войлокомъ и зеленой байкой, и спалось мнѣ въ ней такъ-же хорошо, какъ на постели.

Но лошадей своихъ я въ дальнюю дорогу не бралъ, а ѣздилъ съ «вольнымъ» ямщикомъ, крестьяниномъ одной изъ пригородныхъ деревень. Хорошій былъ ямщикъ Прокофій Емельянычъ! Вспомню его,—онъ и сейчасъ, какъ живой, стоитъ предо мной, и я чувствую себя какъ-то бодрѣе, я чему-то привѣтливо улыбаюсь, и душа моя наполняется какой-то младенческой вѣрой въ мощь и свѣтлую будущность великаго русскаго народа,—великаго, несмотря на всякія болѣзни, которыя ему приходится переживать въ періодъ своего культурнаго роста. Культура вотъ еще и не коснулась Прокофія Емельяныча ни однимъ бокомъ, а, право, я не знаю, что нужно было-бы ему прибавить, чтобъ на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ былъ, сдѣлать его въ чемъ-нибудь лучше.

Росту немного выше средняго, онъ былъ коренастъ и здоровъ—тоже «выше средняго». Сидячая жизнь на облучкѣ да на козлахъ, хорошій аппетитъ отъ постояннаго пребыванія на чистомъ воздухѣ, въ дорогѣ, располагали къ полнотѣ,—но увѣсистость Прокофія Емельяныча не пере-

ходила границъ извѣстной красоты мускулатуры. Сила у него, говорили, большая; но онъ какъ-то никогда не хвастался ею, не показывалъ — случая не представлялось: была—и слава Богу, лежитъ до поры до времени, никто въ ней и не сомнѣвается. Водки Прокофій Емельянычъ, кажется, совсѣмъ не пилъ,—по крайней мѣрѣ, я не помню, чтобъ я видѣлъ его пьющимъ, чтобъ онъ когда-нибудь въ дорогѣ «составилъ мнѣ компанію»; онъ и «съ морозу» предпочиталъ согрѣваться чаемъ. Ему было лѣтъ подъ пятьдесятъ, а въ его рыжевато-русыхъ, мелко-курчавыхъ волосахъ, расчесанныхъ среднимъ проборомъ, не было ни одной серебряной нити, а маленькая курчавая русая бородка придавала его полному лицу съ небольшими сѣроватыми глазками видъ все еще молодого паренька. Говорилъ онъ немного, но всегда толково, дѣльно, скромно-добродушно. Обстоятельный былъ мужикъ!

Каковъ былъ онъ самъ, таковъ былъ у него и его крестьянскій домъ: росту выше средняго, двухъэтажный и коренастый. Пригородная деревня, гдѣ жилъ Прокофій Емельянычъ, принадлежала удѣльному вѣдомству, и, за немногими исключеніями, всѣ мужики тамъ не бѣдны,—онъ былъ однимъ изъ лучшихъ. И хорошее хлѣбопашество у него, и разныя домашнія «рукомесла», и выгодная ямщина,—словомъ, сила въ домѣ, говорили, была большая; но, какъ и въ самомъ Прокофьи Емельянычѣ, она,—безъ нужды, безъ случая,—на-показъ, на глаза не выпячивалась: тамъ, на задахъ, на гумнѣ, стояли многолѣтнія, непочатыя скирды, храня зерно лучшихъ урожаевъ.

Въ своей довольно многочисленной семьѣ Прокофій Емельянычъ былъ патріархомъ. Войдите къ нему, и вы чувствуете на всемъ отпечатокъ его личности, и чувствуете въ то-же время, что всѣмъ здѣсь дышется легко и свободно. Коренная, дружная крестьянская семья—всѣ для каждаго и каждый для всѣхъ. Всѣ подчинены общему духу, общему

строю во всемъ, что касается ихъ всѣхъ, но въ то-же время здѣсь каждый былъ воленъ въ своихъ дѣйствіяхъ, касавшихся его одного. Самъ Прокофій Емельянычъ былъ совсѣмъ не грамотенъ, а его «парнишки» и «дѣвчонки» всѣ «бѣгали» въ удѣльную школу. Старшій сынъ его только-что кончилъ курсъ въ городскомъ уѣздномъ училищѣ,—одинъ изъ первыхъ,—служилъ у меня въ конторѣ и, въ подражаніе старшему конторщику, уже ходилъ щепливой походочкой, помахивая камышевой тросточкой. Я недолюбливалъ у него эту тросточку,—быть-можетъ, потому, что самъ никогда не носилъ ихъ,—но Прокофій Емельянычъ посматривалъ на тросточку со снисходительно-насмѣшливой улыбочкой и ничего не говорилъ о ней сыну—парень вѣдь былъ вообще-то дѣльный.

У меня Прокофій Емельянычъ всегда ѣздилъ по уѣзду съ прикащиками, собиравшими или развозившими деньги, иногда большія. А по нашимъ мѣстамъ въ дорогѣ всякое бываетъ; и я никогда не безпокоился о сохранности этихъ денегъ, потому что ямщикомъ былъ Прокофій Емельянычъ. Случалось посылать въ дорогу, въ ночь, съ тысячными суммами конторскихъ писцовъ-мальчиковъ, которымъ, по закону, нельзя даже довѣрять револьвера; тогда револьверомъ опоясывался сидѣвшій на облучкѣ Прокофій Емельянычъ. На сто верстъ вокругъ Царевококшайска Прокофій Емельянычъ зналъ всѣ пути, всѣ проселки, всѣ и лѣтніе, и зимніе естественные маяки и примѣты; съ нимъ и ночью во вьюгу-мятель не страшно: онъ съ пути не собьется.

Тройка у него была здоровая — крупный вороной рысакъ въ корню и пара шустрыхъ бурыхъ на пристяжкѣ. Онъ, бывало, возилъ меня изъ Царевококшайска въ Яранскъ—78 верстъ—безъ остановки, безъ передышки, въ $6^1/_2$ часовъ.

Разумѣется, съ нимъ-же мнѣ предстояло теперь ѣхать

и за Волгу,—да и дорога ему была знакомая: въ прошломъ году мой бывшій управляющій ѣздилъ туда съ нимъ-же.

Прокофій Емельянычъ уже спалъ съ добрый часъ, когда посланный отъ меня явился звать его въ дорогу. Но, и съ просонья, онъ, увѣсистый, поворачивался такъ-же быстро, какъ среди бѣла дня. Не успѣлъ я поужинать, а за окномъ, у крыльца, уже зазвенѣли знакомые колокольчики, заскрипѣли по снѣгу полозья кибитки. Я поспѣшно надѣлъ свои высокіе валеные сапоги, черный романовскій пиджакъ-дубленку, подпоясался «Смитъ-Вессономъ» офицерскаго образца, накинулъ на плечи сибирскую доху, нахлобучилъ до ушей шапку и вышелъ на крыльцо.

— Здравствуй, Прокофій Емельянычъ, — привѣтствовалъ я его.

— Здорово, — отвѣтилъ онъ, снявъ рукавицу, и мы, по обыкновенію, крѣпко пожали другъ другу руку.

Тройка, какъ всегда по нашимъ глухимъ мѣстамъ въ эту пору года, была запряжена «гусемъ»,—снѣжными проселками иначе не проѣдешь. Передняя «гусевая» лошадь вертѣлась во всѣ стороны отъ нетерпѣнія: съ трудомъ сдерживалъ ее стоявшій около нея ночной сторожъ. Она, кажется, пугалась узкой полосы свѣта, бѣгавшей по снѣгу отъ маленькаго фонаря, который сторожъ машинально поворачивалъ въ рукѣ.

— Куда ѣхать-то?—спросилъ меня Прокофій Емельянычъ, когда я сѣлъ въ кибитку и мой слуга подтыкалъ со всѣхъ сторонъ покрывавшее мои ноги баранье одѣяло.

— Куда вѣтеръ дуетъ!—усмѣхнулся я въ отвѣтъ.

Прокофій Емельянычъ вскочилъ на облучокъ и крикнулъ:

— Съ Богомъ, милыя!

Онъ тронулъ возжами, сторожъ пустилъ «гусевую», и она такъ дернула съ мѣста, что постромки затрещали.

При выѣздѣ со двора я сказалъ:

— За Волгу, Прокофій Емельянычъ.

Онъ, съ-размаху, ловко щелкнулъ съ правой стороны длиннымъ гусевымъ бичомъ, и мы прямо отъ воротъ повернули влѣво.

Стоялъ ноябрь, въ началѣ. Зима круто наступила съ мѣсяцъ тому назадъ; потомъ большіе морозы и снѣга чередовались съ оттепелями. Было извѣстно, что и Волга окончательно встала недѣли двѣ тому назадъ и путь по ней открытъ.

За послѣдніе два дня хорошій морозецъ и маленькій снѣжокъ сдѣлали дорогу «скатертью». Слегка поскрипывая подрѣзами, наша кибитка шибко катилась по бѣлому снѣжному полю, примыкавшему къ южной окраинѣ города. Ночь была безлунная, но въ бѣломъ, чистомъ полѣ глазу, уже освоившемуся съ темнотой, все казалось свѣтло. На безоблачномъ небѣ крупныя звѣзды мерцали, точно вздрагивали отъ морозу. Почти надъ самымъ горизонтомъ великолѣпный Сиріусъ то блѣднѣлъ и синѣлъ, то разгорался-краснѣлъ, то вдругъ вспыхивалъ, какъ брилліантъ. Глядишь на него, и все забываешь: ночь, морозъ, дорога, все какъ-то исчезаетъ въ одномъ общемъ впечатлѣніи: «Какая красота!» Земля и все земное уходитъ куда-то далеко-далеко, а этотъ великолѣпный Сиріусъ кажется такъ близко-близко, что, упиваясь его лучами, чувствуешь себя какъ-будто принадлежащимъ къ какому-то другому міру—яркому, хорошему, самосвѣтящемуся.

Миновавъ поля и лѣсную опушку, мы въѣхали въ боръ, и сразу стало темнѣе: между черными стѣнами сосенъ виднѣлась гдѣ-то высоко надъ густыми вѣтвями вершинъ темная полоса звѣзднаго неба, а внизу, сливаясь во мракѣ съ чащей стволовъ, бѣлѣла снѣжная лента дороги. Почтовая дорога эта—не что иное, какъ широкая просѣка чрезъ дѣвственный лѣсъ отъ Царевококшайска къ Волгѣ. Не знаю,

какъ теперь, а въ то время на всѣхъ шестидесяти верстахъ пути не было ни одной деревни и никакого другого жилья, кромѣ двухъ постоялыхъ дворовъ—почтовыхъ станцій. Ѣздятъ здѣсь немного: главное сообщеніе захолустнаго городка съ его губерніей, Казанью, идетъ въ другой сторонѣ. Но мнѣ много разъ приходилось ѣздить и зимой, и лѣтомъ по этой дорогѣ на Волгу, и я особенно любилъ этотъ путь за его пустынность: здѣсь, случалось, въ теченіе всѣхъ шести, семи часовъ ѣзды не встрѣтишь ни одной живой души. Даже постоялые дворы казались иногда вымершими; если хозяинъ двора уйдетъ съ собакой на охоту въ лѣсъ, такъ и тявкнуть некому на звукъ проѣзжаго колокольчика; бабы—въ избѣ за работой, куры разбрелись по задворкамъ... Тишина!

Прокофій Емельянычъ, какъ всегда, гналъ тройку крупной рысью. Мы оба молчали. Онъ не покрикивалъ даже на лошадей. Зимой въ дорогѣ, когда ему случалось проводить по нѣскольку часовъ на облучкѣ въ сильные морозы, онъ поберегая горло, былъ не разговорчивъ. О чемъ онъ думалъ въ эти многочисленные часы добровольнаго молчанія въ обществѣ такого-же молчащаго, какъ и онъ, сѣдока—Богъ его знаетъ. Я разъ спросилъ его:

— О чемъ задумался, Прокофій Емельянычъ?

Онъ помолчалъ и какъ-то нехотя отвѣтилъ:

— Такъ, про-себя.

И на два-три моихъ замѣчанія ничего уже не сказалъ, а только промычалъ:

— Гмъ... гмы!

Но изъ разговоровъ съ нимъ въ другое время, дома, у него въ гостяхъ или за чайкомъ на станціи,—я догадывался, что эти его дорожныя думы «про-себя» были думами про многое, про все. Онъ былъ религіозенъ,—но не съ показной стороны. Богъ открывался ему въ природѣ, и долгіе, молчаливые часы на облучкѣ или на козлахъ были,

быть-можетъ, его часами молитвы. Только онъ не любилъ, или не умѣлъ, говорить подробно о томъ, что онъ видѣлъ въ природѣ, въ чемъ выражалось его молитвенное настроеніе. Онъ былъ въ этомъ похожъ на наши сѣверные, скованные морозомъ лѣса. Поживите подольше въ лѣсу, сроднитесь съ нимъ, и вы почувствуете, что каждое старое дерево, каждая старая вѣтка на немъ думаютъ свою многолѣтнюю думу. О чемъ она—Богъ ее знаетъ; но не бездушенъ, не безсмысленъ этотъ лѣсъ, пережившій десятки людскихъ поколѣній и видѣвшій тысячи бурь и непогодъ, тысячи красныхъ дней, тысячи звѣздныхъ ночей.

Сосны гиганты! Дорогія, незабвенныя! Цѣлы-ли вы, живы-ли вы? При одной мысли о васъ, я уже чувствую себя добрѣе, сильнѣе, моложе. Мнѣ и теперь, когда я захочу сосредоточиться, часто представляетесь вы, какъ старые знакомые спутники моихъ былыхъ мечтаній.

Хорошо думать въ глухомъ, безконечномъ лѣсу! Какъ будто скованъ его непроходимой чащей, а для мысли—просторъ и свобода. Онѣ бѣгутъ, мои мысли, одна за другой, неудержимою смѣлой, бойкой вереницей, тѣ, какія мнѣ любы,—тѣ, какія я вызываю волей моего воображенія, а не навязанныя мнѣ назойливо бросающимися въ глаза явленіями суетной, чужой жизни. И кажется, будто каждое дерево отзывается то на одну, то на другую мою думу и думаетъ вмѣстѣ со мною.

Мы ѣдемъ. Монотонно побрякиваютъ колокольчики, мягко постукиваютъ о морозную дорогу копыта, скрипятъ и взвизгиваютъ полозья. Чистый морозный воздухъ чуть-чуть пощипываетъ лицо, усы оледенѣли, рѣсницы покрылись инеемъ, пріятная свѣжесть нѣжитъ крѣпко защищенное мѣхами тѣло. Все убаюкиваетъ, все такъ располагаетъ къ привычному сну...

Но мнѣ еще спать не хочется. Я смотрю на окутанный мракомъ лѣсъ, и мнѣ весело: я ѣду навстрѣчу вѣр-

ной побѣдѣ надъ соперникомъ; она—маленькая, ничтожная побѣда,—но вѣдь и усилія, которыя я употреблю, чтобъ достичь ея, не велики: они и сами по себѣ—удовольствіе для того, кто еще настолько силенъ, что не считаетъ нормальный сонъ на хорошей постели роковой необходимостью.

Мы проѣхали первую станцію—Студеную. Ея спавшія во тьмѣ постройки промелькнули незамѣтно. И опять пошелъ все тотъ-же непрерывный лѣсъ. Мнѣ вспомнилось, какъ здѣсь, недалеко отъ станціи, я года за два передъ тѣмъ, проѣзжая тутъ въ жаркій лѣтній день, былъ пораженъ странными, но какъ-будто знакомыми мнѣ, звуками, доносившимися изъ чащи. Лошади, заслышавъ ихъ, запрядали ушами, задрожали и понесли такъ, что едва не опрокинули тарантасъ. Ямщикъ только взглянулъ на меня, и мы оба поняли—въ чемъ дѣло: въ лѣсу медвѣдь дралъ корову, вѣроятно ушедшую со станціи въ глухую чащу; медвѣдь, торжествуя, ревѣлъ, корова отчаянно мычала. Лошади уносили насъ такъ быстро, что я еще не успѣлъ освоиться съ впечатлѣніемъ отъ этого мрачнаго рева, а онъ, постепенно ослабѣвая вдали, уже смолкъ. Мнѣ тогда пришло въ голову: «Дитя природы! Не знаетъ никакого милосердія—деретъ и жретъ!.. А баба хозяйка — по коровѣ плакать будетъ».

Теперь медвѣди спали въ занесенныхъ снѣгомъ берлогахъ, спали мирно, и сладко сосали свои лапы, въ ожиданіи, пока другія дѣти природы—черемисы—не отыщутъ ихъ убѣжища и не поднимутъ ихъ кольями и рогатинами, чтобъ потомъ уже навсегда уложить мѣтко направленной пулей или смѣло всаженнымъ въ самое сердце ножомъ. Удивительные охотники эти черемисы: изъ дрянныхъ одностволокъ, съ которыми они охотятся за бѣлками, они маленькой пулькой наповалъ убиваютъ медвѣдя только потому, что хладнокровно, почти въ упоръ, цѣлятъ ему въ глазъ, или въ сердце, и попадаютъ...

Однако ночь и чистый воздухъ берутъ свое, я забываю и медвѣдей, и черемисъ, и цѣль моей поѣздки, — и крѣпкій сонъ охватываетъ меня на нѣсколько часовъ.

Когда я просыпаюсь, я замѣчаю, что мы стоимъ. Прокофія Емельяныча на козлахъ нѣтъ. Я приподымаюсь на своемъ сидѣньи и всматриваюсь въ окружающее. Утро чуть брезжитъ; розовой зари на востокѣ еще не видно. Надо всѣмъ легкая мгла. Въ воздухѣ пахнетъ оттепелью. Высокія сосны бора остались позади, а кругомъ меня рѣдкіе кусты тальника. Я догадываюсь, что мы близъ устья впадающей въ Волгу Кокшаги. Но никакой дороги не видно. Лошади стоятъ по колѣно въ снѣгу и тревожно посматриваютъ по сторонамъ: гдѣ-же Прокофій Емельянычъ? Я никакъ не могу понять, что случилось. Предполагаю самое обыкновенное: мы сбились, и Прокофій Емельянычъ, не будя меня, пошелъ отыскивать дорогу. Я громко кричу: «ау!» Лошади вздрагиваютъ, колокольчикъ подъ дугой звякнулъ, но отклика мнѣ нѣтъ. Я аукаюсь еще разъ—ничего. Что за притча? Я рѣшаюсь спокойно ждать еще нѣсколько времени, въ полной увѣренности, что съ Прокофьемъ Емельянычемъ ничего случиться не могло. Еслибъ онъ заснулъ и свалился съ козелъ—предположеніе невозможное! — онъ бы сейчасъ-же вскочилъ и догналъ повозку, лошади остановились-бы на его окрикъ, да и сами онѣ, не чувствуя вожжей, не пошли-бы дальше впередъ, не могли-бы сойти съ дороги въ такую ясную погоду. Я всматриваюсь въ снѣгъ около повозки и вижу глубокіе слѣды отъ нея къ кустамъ; это меня окончательно успокаиваетъ.

По мѣрѣ того, какъ свѣтало, я сталъ различать вдали немного приподнятый надъ равниной берегъ Кокшаги и на немъ чернѣющіе на снѣгу дома деревни. Ну, конечно! Это—Сѣдельшково,—оттуда мы уже выѣзжаемъ прямо на Волгу.

Я крикнулъ снова «ау!»—и на этотъ разъ, близко отъ

повозки, послышался откликъ, а вслѣдъ за нимъ я увидѣлъ и Прокофья Емельяныча, тяжело шагавшаго по глубокому снѣгу.

— Гдѣ ты былъ?—спрашиваю.

— Дорогу смотрѣлъ,—говоритъ.

— Гдѣ-же мы сбились?

— Зачѣмъ—сбились. Нѣтъ, дорога вотъ тутъ, близко. Это я сюда нарочно заворотилъ, чтобъ стояли. А только надо было посмотрѣть. Черемисленокъ давеча настрѣчу попался, сказывалъ, тутъ на дорогѣ вода стоитъ,—вишь, оттепель здѣсь какая пошла,—такъ надо одно мѣсто цѣлиной объѣхать.

Онъ взялъ подъ уздцы гусевую лошадь и вывелъ ее на только-что протоптанный имъ слѣдъ. Потомъ вскочилъ на облучокъ, тронулъ возжами. Увязая въ снѣгу, тройка медленно поволокла между кустами повозку.

— Кабы черезъ Волгу-то перебраться? — озабоченно замѣтилъ Прокофій Емельянычъ.

— А что?—спросилъ я.

— Да слышь, вода по льду-то.

— Ну, авось проѣдемъ.

Мы скоро выползли изъ снѣгу на торную дорогу и черезъ четверть часа были въ Сѣдельниковѣ.

Деревня уже давно проснулась: изъ трубъ, а гдѣ такъ прямо изъ отворенныхъ настежъ дверей, поднимался синій дымокъ, заволакивалъ почернѣвшія соломенныя или тесовыя крыши и таялъ въ сырой мглѣ безморознаго утра. Лохматыя мелюзга-дворняжки встрѣтили насъ неистовымъ лаемъ.

Между курными черемисскими избами нашлась одна попросторнѣе и почище. Мы сдѣлали здѣсь привалъ часа на два, чтобъ дать немного отдохнуть лошадямъ, а самимъ напиться чаю. Подслѣповатая черемиска, не понимавшая ни слова по-русски, поставила намъ грязный самоваръ,

подала синія съ цвѣточками чашки и чайникъ, горшокъ хорошаго молока съ устоемъ; а чай и закуска были у насъ съ собой.

Разговорились съ хозяиномъ. Оказалось, что на Волгѣ поверхъ льда стоитъ вода,—переправа несовсѣмъ безопасна.

— Ледъ не больно толста, — говорилъ старый черемисинъ своимъ ломанымъ языкомъ.—Вода дыра вертѣлъ. Много, много дыра есть ледъ.

Однако и по дырявому льду ѣздили каждый день. Нужно было только знать дорогу, такъ какъ дыры, покрытыя водой, были незамѣтны. Еще вчера провалился пѣшій черемисинъ, да выкарабкался. Сегодня, съ оттепелью, навертѣло, пожалуй, еще и новыхъ дыръ. Хоть не ѣзди. Но ѣхать надо. Мы съ Прокофьемъ Емельянычемъ пообсудили дѣло и рѣшили взять проводника на легкихъ дровняхъ,— онъ долженъ былъ ѣхать впередъ, а мы издали за нимъ.

— Ну, и потонетъ одинъ эдакой черемисленокъ—эка штука! — шутилъ Прокофій Емельянычъ. — Развѣ у него душа? Паръ. Строятъ-же другъ дружкѣ сухую бѣду, такъ одинъ-то и въ мокрую попадетъ—ничего!

Намекъ Прокофія Емельяныча на «сухую бѣду» заставилъ и меня улыбнуться. Это онъ-же разсказывалъ мнѣ, какъ случается, что какой-нибудь злой черемисинъ, желая жестоко отомстить какому-нибудь своему врагу, заявляетъ своимъ домашнимъ, что идетъ къ нему мириться, и пробирается потихоньку въ его сарай, или клѣть, и тамъ вѣшается. Смерть, это—пустяки, а вотъ наѣдутъ всякія власти и будутъ таскать его врага къ допросу: «не онъ-ли задушилъ, а послѣ того еще повѣсилъ у себя во дворѣ, пришедшаго къ нему мириться прежняго пріятеля, впослѣдствіи врага своего, Василія Ивановича?» — это и будетъ самая настоящая «сухая бѣда», горше которой нѣтъ ничего на свѣтѣ.

Мнѣ пришло въ голову, что и я, какъ черемисинъ, самъ полѣзу вотъ сейчасъ въ «мокрую бѣду», чтобъ досадить моему бывшему управляющему. Ну, и разумѣется, потонетъ, или не потонетъ, мой проводникъ,—это меня нисколько не безпокоило.

Приходилось, однако, соображать еще, что, если ледъ и выдержитъ черемисскую лошаденку съ дровнями—вопросъ, выдержитъ-ли онъ нашу тройку и повозку? Я было подумывалъ уже переправиться просто на другой черемисской подводѣ, тоже на дровняхъ, а за Волгой найти ямщика для дальнѣйшаго пути. Но Прокофій Емельянычъ этому воспротивился. Онъ не хотѣлъ пускать меня въ опасность одного, оставаясь на этомъ берегу съ лошадьми.

— Авось, Богъ не безъ милости—пронесетъ!—весело сказалъ онъ. — А то гдѣ еще вамъ тамъ лошадей искать да Богъ знаетъ въ какихъ саняхъ пятнадцать верстъ трепаться. Поѣдемъ.

Немного помолчавъ, онъ, съ серьезнымъ выраженіемъ лица, добавилъ:

— Только вотъ развѣ, для опаски, не садитесь въ повозку, а поѣзжайте поодаль на дровняхъ, сзади. Все-же у меня пудовъ на пять полегче будетъ.

Охотники провожать нашлись сейчасъ-же. Запросили по три рубля, я безъ торгу согласился.

Такъ какъ предвидѣлось, что вода покроетъ дровни, то мнѣ, чтобъ не замочиться, привязали на нихъ для сидѣнья скамейку.

Прокофій Емельянычъ далъ лошадямъ по нѣскольку ломтей чернаго хлѣба, немного попоилъ ихъ, и мы тронулись къ Волгѣ.

Утро настало дивное. Солнце свѣтило ярко и разогнало мглу оттепели. Каждая маленькая лужица на дорогѣ сверкала, какъ кусокъ зеркала, отражавшаго голубое, ясное небо.

Еще съ берега, издали, мы увидали на серединѣ Волги огромную полынью. Ширина Волги здѣсь, отъ берега до берега, почти съ версту. Полынья была шириной саженъ полтораста, или больше, и неопредѣленной длины: конца ей ни вправо, ни влѣво было не видно. Казалось, рѣка замерзла только у береговъ.

Темная полоса протоpенной дороги спускалась съ берега на занесенный снѣгомъ ледъ, подходила къ водѣ и, исчезнувъ подъ ней, снова выползала на ледъ на другой сторонѣ полыньи,—выползала далеко въ сторонѣ, сдѣлавъ, очевидно, какой-то зигзагъ подъ водой. Черемисы разсказали намъ, что Волга встала при болѣе высокомъ уровнѣ воды, чѣмъ теперь, и тогда возлѣ теперешней дороги была только маленькая полынья, которую объѣзжали по краю; потомъ вода сбыла, и ледъ осѣлъ; а съ внезапно наступившими оттепелями, вода опять быстро прибыла и широко выступила изъ полыньи на ледъ, не поднявъ его на поверхность. Такіе случаи на Волгѣ бываютъ нерѣдко,—теперешній отличался отъ тысячи подобныхъ лишь тѣмъ, что вода залила очень большое пространство.

Какъ только мы спустились на ледъ — сдѣлали пересадку: я вылѣзъ изъ повозки, сбросилъ въ нее доху и въ своемъ овчинномъ пиджакѣ усѣлся на дровни. Впередъ, на маленькой клячонкѣ, поѣхалъ молодой, красивый, рослый парень, какіе нерѣдко встрѣчаются и между тщедушными и малорослыми черемисами. Онъ правилъ лошадью стоя, разставивъ ноги на полозья дровней. За нимъ, саженяхъ въ пяти, пошла тройка. Прокофій Емельянычъ, вскочивъ на облучокъ и высоко подобравъ ноги, снялъ шапку и трижды перекрестился.

— Ну, Богъ съ вамъ,—крикнулъ онъ на лошадей, потрагивая ихъ возжами.

Саженяхъ въ пяти за повозкой поѣхалъ я. Я сидѣлъ на укрѣпленной поперекъ дровней скамейкѣ, старый чере-

мисинъ стоялъ на полозьяхъ позади меня и, перекинувъ мнѣ черезъ плечи возжи, правилъ лошадью.

Я съ любопытствомъ смотрѣлъ, какъ приближался къ водѣ нашъ передовой проводникъ. Вотъ онъ въѣхалъ въ нее; сначала вода покрывала только копыта лошади и полозья дровней; но чѣмъ дальше, тѣмъ было глубже, и лошадь уже шла въ водѣ почти по колѣно, а у черемисина и лапти, и онучи оказались въ водѣ. Но лошаденка его шагала впередъ, не задумываясь.

Зато гусевая Прокофія Емельяныча, какъ только подошла къ полыньѣ, сдѣлала крутой поворотъ въ сторону. Онъ хлестнулъ ее возжой, но это не помогло: она только метнулась въ другую.

— Стой! Стой! — закричалъ Прокофій Емельянычъ передовому.

Тотъ оглянулся и остановился среди воды. Лицо его было ясно и спокойно; безъ всякихъ слѣдовъ недоумѣнія или любопытства онъ смотрѣлъ въ нашу сторону, ожидая распоряженія тронуться опять впередъ. Что его ноги были покрыты ледяной водой, этого онъ, казалось, и не замѣчалъ.

Прокофій Емельянычъ слѣзъ съ облучка и сталъ отпрягать гусевую. Одну онъ привязалъ сзади къ повозкѣ, другую сзади-же къ дровнямъ, гдѣ сидѣлъ я.

— Эхъ, съ самаго начала это надо было сдѣлать! — сердито ворчалъ онъ.—И какъ это я не догадался.

— Ну, не бѣда, — успокоилъ я его.—Лишнихъ пять минутъ, только и всего.

— Такъ-то такъ, да примѣта нехорошая,—пробурчалъ Прокофій Емельянычъ.

Старикъ черемисинъ, понявъ его, тоже съ озабоченнымъ лицомъ, кивнулъ утвердительно головой.

Не ворочаться-же мнѣ было изъ-за ихъ нехорошихъ примѣтъ!

Когда все уладили, тронулись. Коренникъ въ повозкѣ, хотя нервно пофыркивалъ, однако, не артачась, пошелъ въ воду.

Дошла очередь и до нашей подводы. Чтобъ не замочить свои валенки, я высоко поднялъ ноги на передніе загибы полозьевъ и въ этомъ неловкомъ положеніи сидѣлъ на узкой скамейкѣ, держась за нее обѣими руками и рискуя каждую минуту, при какомъ-нибудь толчкѣ, свалиться въ воду. Но мы ѣхали самымъ медленнымъ шагомъ, и толчковъ не было.

Проѣхавъ нѣсколько времени прямо поперекъ полыньи, передовой нашъ свернулъ вправо и поѣхалъ уже вдоль полыньи. Я видѣлъ, какъ Прокофій Емельянычъ, внимательно слѣдя за его путемъ, сдѣлалъ поворотъ на томъ-же самомъ мѣстѣ. За ними повернулъ и мой черемисинъ. Потомъ мы ѣхали въ этомъ направленіи довольно долго. Меня это бѣсило, потому что поднятыя кверху ноги мои начинали отекать; отекали и руки, такъ какъ держаться приходилось крѣпко. Вода надо льдомъ была мѣстами на полъаршина, мѣстами даже глубже, такъ что подъ ея мутью иногда не видно было и льда, по которому мы ѣхали.

Но вотъ нашъ проводникъ опять повернулъ влѣво—поперекъ полыньи. Теперь мы пересѣкаемъ рѣку въ самой серединѣ и ѣдемъ прямо по направленію къ виднѣющейся темной полосѣ дороги на чистомъ льду у нагорнаго берега Волги.

И вдругъ — точно глухой, отдаленный пушечный выстрѣлъ раздается подъ нами. И я замѣчаю, какъ вода, поднимаясь, начинаетъ наплывать на отводы ѣдущей впереди меня повозки, вижу, какъ она уже покрываетъ колѣнныя чашки нашей лошади. Сердце у меня ёкнуло.

— Тонемъ, что-ли?—спрашиваю я своего черемисина, поневолѣ оставаясь спокойнымъ въ той безпомощной позѣ, въ которой я нахожусь.

— Нисево!—отвѣчаетъ старикъ.—Ледъ садитъ.

И дѣйствительно, ничего. Эти гулкія осадки льда мнѣ уже случалось испытывать въ пути въ самые сильные морозы. Теперь я соображаю, что ледъ сѣлъ даже не подъ нами, не отъ нашей тяжести, а гдѣ-нибудь ближе къ берегамъ, гдѣ надъ нимъ и подъ нимъ нѣтъ воды, а до насъ эта осадка дошла, такъ сказать, рикошетомъ. Собственно, ледъ нашей дороги лежитъ на водѣ, и отъ осадки его гула не было-бы. Я успокаиваюсь, убѣдившись, что и прибыль воды надъ дорогой сейчасъ-же пріостановилась.

Но я отъ души сказалъ «слава Богу», когда мы, наконецъ, выѣхали изъ полыньи, и я имѣлъ возможность, поразмявъ немного руки и ноги, опять пересѣсть въ повозку. Постланное на днѣ ея сѣно пропиталось водой, оказались немного подмоченными и мѣховое одѣяло, и уголъ подушки; но брошенная мною сверху доха уцѣлѣла сухой. Мы выгрузили на ледъ мокрое сѣно, и я сѣлъ въ повозку на сложенное вчетверо одѣяло.

Черезъ десять минутъ мы выѣхали на твердую землю.

Я оставилъ черемисъ сушиться и ждать моего возвращенія въ Маріинскомъ посадѣ, что на самомъ берегу Волги, а мы съ Прокофіемъ Емельянычемъ покатили дальше.

Къ обѣду, къ полудню, я былъ уже у моего покупателя. За обѣдомъ я продалъ ему то, что ему было нужно для его торговли на весь годъ; послѣ обѣда мы написали условіе, я получилъ обычный задатокъ и поспѣшилъ уѣхать, опасаясь, чтобъ продолжавшаяся оттепель не испортила окончательно переправу черезъ Волгу.

Но, когда мы пріѣхали въ посадъ, уже стемнѣло, и ѣхать, на ночь глядя, въ полынью черемисы не захотѣли. Мнѣ ничего не оставалось, какъ переночевать на скверномъ постояломъ дворѣ и выѣхать съ разсвѣтомъ. Жалѣть объ этой остановкѣ, впрочемъ, не приходилось: въ ночь завернулъ крутой морозъ, и переѣздъ чрезъ Волгу, хотя все ещё по водѣ, былъ теперь, во всякомъ случаѣ, безопаснѣе.

Когда черезъ часъ я снова ѣхалъ уже лѣсомъ въ обратный путь, я былъ въ отличномъ расположеніи духа; объ опасной переправѣ чрезъ Волгу я и не вспоминалъ; выспался я на жесткомъ диванѣ постоялаго двора, какъ нельзя лучше, а самое главное — мнѣ удалось сдѣлать дѣло, за которымъ я ѣздилъ. Я былъ вполнѣ доволенъ Божьимъ міромъ и его устройствомъ.

Но судьба доставила мнѣ еще дополнительное удовольствіе. Уже на половинѣ дороги, когда Прокофій Емельянычъ какъ-разъ далъ лошадямъ ходу, и гусевыя перешли изъ рыси въ галопъ, намъ повстрѣчался какой-то проѣзжающій. Прокофій Емельянычъ, не сдерживая лошадей, громко крикнулъ:

— Правѣе!

Встрѣчный не имѣлъ возможности разъѣхаться съ нами на узкой дорогѣ, свернулъ въ снѣгъ и пріостановился. Мы пронеслись мимо пошевней, запряженныхъ парой. Я, однако, успѣлъ выглянуть изъ повозки, чтобъ посмотрѣть, кто это. Ямщикъ оказался знакомымъ Прокофія Емельяныча и раскланялся съ нимъ, а спавшій въ саняхъ человѣкъ, разбуженный остановкой, прищурился заспанными глазами на меня. Мнѣ стало совсѣмъ весело: это былъ мой бывшій управляющій.

Прокофій Емельянычъ, въ своей роли «придворнаго» ямщика, отлично понимавшій многіе шахматные ходы нашей торговой политики, повернулся ко мнѣ лицомъ и, съ иронической улыбкой, многозначительно произнесъ:

— Ѣдетъ.

Я весело отвѣтилъ:

— Пущай старается!

У меня не было сомнѣнія, что мой соперникъ ѣдетъ туда-же, гдѣ былъ я, и за тѣмъ-же, и что онъ опоздалъ. Но меня забавляло еще и то, что я воображалъ себѣ его отчаяніе, когда онъ узнаетъ въ Сѣдельниковѣ о положеніи

переправы черезъ Волгу. Трусъ онъ былъ большой,—не только опасности, а и просто быстрой ѣзды, боялся. Между тѣмъ, вернуться, не побывавъ у нашего заволжскаго покупателя, ему было нельзя: это вѣдь было начало его дѣятельности у новаго хозяина. А узнать о томъ, сдѣлалъ я продажу, или нѣтъ, ему на этомъ берегу будетъ не отъ кого. Я торжествовалъ.

Въ сравненіи съ вѣчностью, эта побѣда моя — повторяю — была маленькая, ничтожная; но она заключала въ себѣ всѣ элементы настоящей побѣды. И она заставляла быстрѣе переливаться мою кровь въ жилахъ, она бодрила и укрѣпляла мои нервы, она возвышала мою энергію, она воспитывала для всякой дальнѣйшей борьбы мою волю, расправляя крылья моей фантазіи. Теперь, отсюда, я могу свысока и съ усмѣшкой посмотрѣть на то торжествующее настроеніе, въ какомъ я тогда находился, — но... вѣдь я былъ тогда только полукультурнымъ человѣкомъ!..

Зато теперь, когда благодѣтельная культура съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе сглаживаетъ во мнѣ черты прежняго «дикаря», я чувствую, какъ часто недостаетъ мнѣ радости прежнихъ «дикихъ» настроеній.

Ихъ было у меня когда-то не мало, впечатлѣній болѣе яркихъ и сильныхъ, чѣмъ вотъ эта поѣздка за Волгу, вспомнившаяся мнѣ, какъ что-то среднее въ ряду тѣхъ воспоминаній, къ которымъ я обращаюсь всякій разъ, когда мнѣ хочется воскресить въ себѣ былую силу и смѣлость! Но, увы, когда на эти яркія картины моей прошлой жизни я смотрю иногда черезъ призму моей теперешней бо̀льшей культурности, я задаю себѣ вопросъ: что хорошаго было въ моемъ тогдашнемъ образѣ дѣйствій? Чему было радоваться, чѣмъ кичиться?

Изъ-за какихъ-нибудь тысячи, или двухъ тысячъ, рублей лишней прибыли къ моему и безъ того достаточному ежегодному доходу, я пускался въ опасный путь чрезъ

Волгу, подвергая риску жизнь и свою, и ямщика, и проводниковъ черемисъ. Каковъ былъ этотъ рискъ, я знаю это теперь еще лучше, чѣмъ тогда: нѣсколько лѣтъ спустя у меня, при другихъ обстоятельствахъ, во время мятели, ночью, утонула-таки въ полыньѣ на Волгѣ и ушла подъ ледъ пара почтовыхъ лошадей,—мы же съ ямщикомъ благополучно спаслись. Жителямъ Поволжья извѣстно немало случаевъ, когда на волжскихъ зимнихъ дорогахъ исчезали подо льдомъ повозки и возки съ лошадьми и людьми.

Но я тогда не думалъ объ опасности, я и теперь не съумѣлъ-бы описать эту опасность мрачными, устрашающими красками,—такъ мнѣ все это казалось просто и естественно. Меня въ ту минуту занимало только одно: надо было одержать верхъ надъ соперникомъ, а поставить въ такого рода борьбѣ нѣсколько жизней на карту, это для меня ничего не стоило. Это была своего рода забава, быть-можетъ дикая, но, несомнѣнно, заключающая въ себѣ большую прелесть.

Теперь я, вѣроятно, не пошелъ-бы на такой рискъ, я бы взвѣсилъ всѣ выгоды и невыгоды его и предпочелъ бы списаться съ моимъ покупателемъ по почтѣ, рискуя не жизнью, а проигрышемъ дѣла, еслибъ мой соперникъ предупредилъ меня. Благодѣтельная культура научила меня цѣнить самое благо жизни больше удовольствія играть ею ради нѣкоторыхъ выгодъ, или наслажденія сознаніемъ побѣды.

Но странное дѣло, — что бы я ни вспоминалъ изъ того прежняго, «дикаго», періода моей жизни, когда я еще не былъ писателемъ, а былъ купцомъ, я чувствую, что тогда самыя дѣйствія мои, а теперь воспоминанія о нихъ, вызывали и вызываютъ во мнѣ то здоровое настроеніе, какое, обыкновенно, испытываешь въ ясный, безвѣтренный, не слишкомъ морозный день: знаешь, что морозомъ скова-

на сила, которая ждетъ только близкой весны, чтобъ проявиться благодатнымъ расцвѣтомъ... Теперь-же, какъ только мысли мои переносятся отъ прошлаго къ настоящему, мнѣ кажется, что я дышу какимъ-то отравленнымъ, гнилымъ воздухомъ, зараженнымъ болѣзнью «культурныхъ» обществъ—поголовной трусостью...

В. Шуфъ.

ИСТОРІЯ ОДНОГО БАТАРДА.

Разсказъ неизвѣстнаго автора.

(Юморески.)

«Charmant batard, coeur noble, âme sublime!
Le tendre amour me faisait sa victime,
Mon salut vient d'un enfant de l'amour.»

Voltaire.

Въ корзинѣ подъ своимъ письменнымъ столомъ я нашелъ этотъ разсказъ, неизвѣстно кѣмъ туда положенный. Судя здраво, у него долженъ быть авторъ, но кто онъ— я не знаю. Такъ какъ законныхъ авторскихъ правъ на анонимный разсказъ не можетъ быть предъявлено, то я рѣшилъ его усыновить и дать ему свое имя. Мнѣ жаль было выбросить его на улицу. Надѣюсь, что читатели, подобно мнѣ, примутъ его благосклонно. Чопорные англичане встрѣтили очень сочувственно сатирическую поэму Саважа, которая называлась—«Батардъ». Это было, правда, въ 1728 году. Свѣтъ, общество и мораль съ тѣхъ поръ значительно перемѣнились, но и теперь, почти черезъ

двѣсти лѣтъ, отношеніе къ батардамъ не много улучшилось. Батарды все еще существуютъ, и я считаю долгомъ извиниться за неизвѣстнаго мнѣ автора, происхожденіе котораго нѣсколько сомнительно.

Вотъ что написано въ безъимянной рукописи...

Я родился на свѣтъ круглымъ сиротой. Мое рожденье, конечно, не было сверхъестественнымъ, но во всякомъ случаѣ мой отецъ не могъ называться моимъ отцомъ, а моя мать—моей законной матерью. Я—батардъ. Въ моемъ рожденіи только одно несомнѣнно: что я сынъ своего вѣка,—и этого у меня никто не можетъ отнять,—сынъ девятнадцатаго столѣтія, со всѣми унаслѣдованными отъ него достоинствами и недостатками.

Собственно говоря, я не имѣлъ никакого права родиться на свѣтъ. Это было даже противузаконно и предусмотрено статьей 132-ю гражданскихъ законовъ. Но я тогда ничего подобнаго не зналъ и былъ плохимъ законовѣдомъ. Если-бы отъ меня зависѣло, я никогда-бы не родился на свѣтъ, который, говоря правду, я нахожу очень скучнымъ и лицемѣрнымъ. Клянусь вамъ, я не виноватъ въ днѣ моего рожденія, и мнѣ совершенно незаслуженно ставятъ его въ упрекъ. Своимъ появленіемъ въ мірѣ я не хотѣлъ нарушить не только законности, но даже простыхъ приличій и этикета.

И такъ, родившись сиротой при живыхъ родителяхъ я, тѣмъ не менѣе, ни въ чемъ не могу ихъ обвинить. Могъ ли отецъ мой не полюбить мою маму, такую умную, добрую и хорошенькую? У него не было-бы ни сердца, ни вкуса, если-бы онъ не полюбилъ ея. Я не могу быть о немъ дурного мнѣнія. Я до сихъ поръ сохраняю ея портретъ въ бархатной рамкѣ и воспоминаніе о ней, хотя она давно умерла. Она была стройная, тоненькая, съ го-

лубыми глазами и темными локонами, — настоящая мурильевская мадонна. Говорятъ, она хорошо пѣла, была даже на сценѣ. Въ моемъ воспоминаніи до сихъ поръ смутно звучитъ ея голосъ, какой-то грустный и нѣжный мотивъ. Можетъ быть, колыбельная пѣсня. Впослѣдствіи я слышалъ однажды пѣсню, которая прозвучала мнѣ чѣмъ-то милымъ и знакомымъ:

«Не шуми ты, буря,
Не качайтесь, ели!—
Мой малютка дремлетъ
Сладко въ колыбели».

Кто знаетъ, какимъ путемъ передаются и гдѣ начинаются воспоминанія?

Да, мой отецъ не могъ не полюбить моей мамы, и она едва-ли могла остаться равнодушной къ тому портрету, который виситъ у меня на стѣнѣ. Портретовъ другихъ предковъ у меня тогда не было. По общему признанію, у меня могутъ быть только потомки, но не предки. Мой отецъ, если мнѣ можно такъ назвать его, изображенъ на портретѣ красивымъ, статнымъ офицеромъ, съ высокимъ лбомъ и насмѣшливой улыбкой подъ черными усами.

Это странно и противузаконно во всякомъ случаѣ: я очень похожъ на человѣка, который не можетъ называться моимъ отцомъ. Чѣмъ я становился старше, тѣмъ разительнѣе было это сходство. Иногда подходя къ зеркалу, я пугался: передо мною стоялъ мой покойный отецъ.

Исторія любви моего отца и матери, говорятъ, была очень трогательная и романическая. Не знаю, почему онъ не могъ жениться на ней. Кажется, онъ былъ женатъ на женщинѣ много старше его годами.

Вѣдь бальзаковскія женщины хороши только въ романѣ. Эти отцвѣтающія розы бываютъ очень сварливы въ дѣйствительности. У нихъ мало аромата и несносный ха-

рактеръ. Отецъ мой былъ тогда еще очень молодъ. Онъ увезъ мою мать въ Италію, противъ воли ея родителей и своей супруги, чѣмъ сильно вооружилъ ихъ всѣхъ противъ себя и моей мамы. Уѣхавъ съ нимъ, она пѣла въ Миланѣ и пользовалась извѣстностью. Я родился въ Россіи, въ имѣніи отца, но оттуда меня скоро перевезли въ Петербургъ. Мама жила вдвоемъ со мною. Отецъ мой, безумно меня любившій, умеръ отъ этого безумія. Ему казалось, что меня ждетъ горькая участь, и онъ считалъ противуестественнымъ то, что я не могъ называться его сыномъ. Его умъ и законъ находились въ противорѣчіи, и онъ рѣшилъ скорѣе сойти съ ума, чѣмъ согласиться съ закономъ. Онъ такъ и сдѣлалъ. Его считали сумасшедшимъ, пока онъ не умеръ. Да, въ немъ все было безумно: страсть, привязанности, поступки, гордость и храбрость. Онъ ни въ чемъ не походилъ на нормальныхъ людей. Бѣдный отецъ!

Я не ношу его фамиліи, но его отчество я получилъ отъ него, благодаря той маленькой хитрости, къ которой прибѣгли при моемъ крещеніи. Мой крестный отецъ былъ тезкой моего родного, но незаконнаго, отца. Меня назвали Андреемъ Сергѣевичемъ—по крестному батюшкѣ.

Законы наслѣдственности, должно быть, въ большомъ противорѣчіи съ законами гражданскими. Во мнѣ текла наша старая, родовая кровь. Я унаслѣдовалъ вспыльчивость и доброту отца, его манеру говорить и смѣяться, даже—увы!—его безуміе. Отъ матери я получилъ склонность къ искусству, ея художественное чутье и способность увлекаться. Когда я сержусь, у меня между бровями ложится рѣзкая складка, какъ бывало у отца. Когда мнѣ грустно, или я задумаюсь надъ картиной художника, выраженіе моего лица напоминаетъ мать, ея дорогой мнѣ портретъ. Я самъ становлюсь копіей съ лучшаго оригинала.

Впрочемъ, кромѣ достоинствъ и недостатковъ, я ничего

другого не получилъ въ наслѣдство отъ своихъ родителей. Законы о наслѣдствѣ тутъ были сильнѣе законовъ наслѣдственности. Имѣніе отца перешло къ его законной дочери, которая тоже не носила его фамиліи. Она перемѣнила ее при замужествѣ. Родъ отца, старый, дворянскій родъ, исчезъ безслѣдно, а я, батардъ, не могъ его продолжить. Усыновить меня нельзя было по многимъ причинамъ, изъ которыхъ каждая была важнѣе другой. Я оставался мѣщаниномъ, но менѣе всего жалѣю о томъ, что не получилъ наслѣдства или титула. Никто, по крайней мѣрѣ, не можетъ обвинить меня въ томъ, что я ждалъ смерти богатыхъ родственниковъ, какъ это часто случается въ жизни. Смерть отца мнѣ ничего не принесла, кромѣ огорченія. Статьи 164—195 законовъ гражданскихъ меня мало интересовали.

Но возвращаюсь къ своему дѣтству. Моя незаконная мать вскормила меня своею грудью. Когда я засыпалъ на ея груди, я, вѣроятно, менѣе всего думалъ о своемъ будущемъ гражданскомъ и общественномъ положеніи. Я обнималъ маму своими незаконнорожденными ручками и улыбался во снѣ незаконной улыбкой. Для каждаго юриста это, должно быть, была ужасная картина криминальнаго характера. Мнѣ же это казалось вполнѣ естественнымъ. Мама была моя, и никто ея у меня не могъ отнять. Она, бѣдная, меня слишкомъ любила, хоть и эта любовь была незаконна.

Странная это вещь, право. У домашнихъ и дикихъ звѣрей всѣ ихъ дѣтеныши—ихъ дѣтеныши, и только у людей, которые считаются выше животныхъ, есть дѣти законныя и незаконныя. Развѣ можетъ быть у кошки незаконнорожденный котенокъ? Права матери у нея никѣмъ не ограничены. Кошка выцарапала-бы глаза всякому коту, который объявилъ-бы себя юристомъ.

Виноватъ. Что-то въ-родѣ нашей юриспруденціи существуетъ у апстовъ. Если апстихѣ положить въ гнѣздо

утиное яйцо, она выведетъ утенка, и судъ собравшихся на крышѣ аистовъ признаетъ утенка незаконнорожденнымъ. Его оставятъ на произволъ судьбы, а несчастную аистиху, обвинивъ ее въ измѣнѣ и нарушеніи супружеской чести, растерзаютъ клювами въ поднебесьѣ. Есть птицы, болѣе жестокія, чѣмъ даже человѣкъ. Жители нашихъ южныхъ городовъ часто позволяютъ себѣ жестокую забаву надъ аистами и наблюдаютъ картину птичьяго суда. Да, и у птицъ есть свой птичій умъ и свои законы...

Я тоже былъ похожъ на этого утенка, но, хотя былъ одной породы съ матерью, меня признали незаконнымъ сыномъ. Общественное мнѣніе, клювы сплетниковъ и сплетницъ могли-бы и ее заклевать, такъ что полетѣли-бы пухъ и перья, но этого не случилось. Она была слишкомъ самостоятельна, у нея были средства, талантъ. Ей многое прощалось, чего не простилось-бы другимъ, на ея мѣстѣ. Она съумѣла заставить уважать себя. Она не называла меня своимъ «пріемышемъ», а честно и смѣло говорила, что я—ея сынъ.

Говорятъ, я былъ хорошенькимъ мальчикомъ. Это часто случается съ батардами. Дѣти любви, хотя-бы и незаконныя, красивѣе печальныхъ малютокъ, рожденныхъ отъ брака по разсчету. Природа часто несогласна съ юристами. Это нехорошо съ ея стороны—неуваженіе къ юриспруденціи. Безобразное въ юридическомъ смыслѣ часто бываетъ красивымъ въ жизни. Флора враждуетъ съ Ѳемидой и увѣряетъ ее, что она слѣпа. Эти двѣ богини не могутъ понять другъ друга, хотя ничто не мѣшаетъ ихъ нѣжнѣйшей дружбѣ.

Я былъ красивымъ и смышленымъ ребенкомъ съ живыми глазками, съ вьющимися волосами, которые мнѣ отпускали до плечъ. Румяный, здоровый и бойкій, я не походилъ на другихъ петербургскихъ дѣтей, игравшихъ со мною въ Лѣтнемъ саду у статуи дѣдушки Крылова. Помню,

я ужасно любилъ его лисицъ, слоновъ и мартышекъ, басни о которыхъ мнѣ читала мама. Меня не воспитывала гувернантка. Мнѣ позволяли бѣгать, лазать и прыгать, даже пачкать штанишки пескомъ—сколько угодно. Это было противно благовоспитанности, но вѣдь вся моя жизнь была такова—нарушеніе этикета.

Однажды въ Лѣтнемъ саду со мною вышелъ непріятный случай. Я нечаянно толкнулъ какого-то кислаго и вялаго мальчишку въ элегантномъ костюмчикѣ. Онъ упалъ, разбилъ себѣ носъ и запачкалъ платье.

— Не играй съ этимъ сорванцомъ! — сказала ему нянька.—Ишь ты, безотецкій сынъ!—обернулась она ко мнѣ.

Я ничего не понялъ, но нянька сочла нужнымъ мнѣ пояснить:

— Твой батька не настоящій и мать у тебя не твоя!

— Не моя мама?—удивился я.

— Не твоя и есть!

— Ты дура!—разсердился я и убѣжалъ къ мамѣ, которая была тутъ, близко на скамейкѣ, и не могла быть не моей мамой. Я потомъ спрашивалъ у нея, что это мнѣ говорила чужая нянька? Мама меня успокоила, но я, укладываясь въ постель, видѣлъ, какъ она плакала.

Нянька, конечно, была дура, но я впослѣдствіи понялъ, что ея глупость имѣла свои основанія.

Когда я поступилъ въ школу, мнѣ часто приходилось драться съ товарищами, которые мнѣ говорили то-же, что и нянька. Но я ихъ колотилъ, я былъ сильнѣе, и они не смѣли болѣе оскорблять меня. Впрочемъ, тогда я уже понялъ и почувствовалъ эту обиду. Кстати сказать, моя незаконнорожденность одинъ разъ въ жизни послужила мнѣ на пользу: я не попалъ ни въ одно изъ такъ называемыхъ привиллегированныхъ заведеній, за что благословляю судьбу.

Статья 172-я гражданскихъ законовъ гласитъ: «Родители

происшедшихъ отъ недѣйствительнаго брака дѣтей обязаны давать несовершеннолѣтнимъ дѣтямъ пропитаніе, одежду и воспитаніе, доброе и честное, по своему состоянію». Я получилъ вполнѣ законное, доброе и честное воспитаніе. Средствъ на него не жалѣли. Отбывая воинскую повинность, я былъ хорошимъ солдатомъ; моимъ примѣромъ былъ другой извѣстный «батардъ»—рыцарь Дюнуа. Хотя мнѣ не пришлось «спасать отечество», какъ Дюнуа спасъ Францію, но я вѣрно служилъ родинѣ, и, если-бы было нужно, умеръ-бы за нее со знаменемъ въ рукахъ. Бывъ честнымъ солдатомъ, я былъ потомъ честнымъ инженеромъ, порядочнымъ художникомъ, и моя незаконнорожденность ничего дурного отечеству не принесла. Я зналъ вполнѣ легальныхъ по происхожденію моихъ согражданъ, которые были ворами и мошенниками большой руки, обкрадывали казну, ставили гнилые продукты въ армію, строили плохія казенныя постройки, требовавшія ежегоднаго ремонта. Я зналъ вполнѣ легальныхъ художниковъ, рисовавшихъ бездарныя вещи и считавшихъ ихъ шедеврами. Эти художники, на мой взглядъ, были болѣе незаконнорожденными, чѣмъ я. Но я всетаки считалъ нужнымъ, для приличія, сокрушаться о своемъ происхожденіи—въ душѣ, конечно.

Я имѣлъ успѣхъ въ обществѣ, но я сокрушался: я—батардъ. Я своимъ трудомъ нажилъ деньги, но сокрушался: я—батардъ. Меня любили и уважали, ко мнѣ прибѣгали за помощью и совѣтами, но я всегда помнилъ, какъ незаконно я родился на свѣтъ, и постоянно сокрушался въ сердцѣ своемъ. Вотъ живу, незаконнорожденный, и даромъ коптю небо. Сколько мостовъ, желѣзныхъ дорогъ построилъ, сколько картинъ написалъ—а законны-ли они? Вѣдь изъ моихъ рукъ вышли! Былъ у насъ извѣстный профессоръ Найденовъ, питомецъ Воспитательнаго Дома, принявшій даже фамилію подкидыша, — онъ могъ-бы послужить мнѣ

великимъ примѣромъ и утѣшеніемъ. Онъ былъ хорошій человѣкъ и крупный ученый. Но я все-же думалъ, что мой долгъ—сокрушаться. Сколько разъ я собирался проклясть день и часъ своего рожденія, но не находилъ для этого свободнаго времени.

Наконецъ, я вздумалъ жениться. Дѣвушка, которую я полюбилъ, была очень умная, милая и хорошенькая. Она мнѣ напоминала мою мать. Но, прежде чѣмъ объясниться ей въ любви, я почелъ долгомъ объяснить ей, что я—незаконнорожденный. Это было весной, въ липовой аллеѣ. Кругомъ расцвѣтала сирень, пчелы жужжали въ кустахъ, пахло цвѣтами и свѣжей, молодой зеленью.

— Сударыня!—сказалъ я ей,—я долженъ открыть вамъ страшную, ужасную тайну...

— Вы меня пугаете!—улыбнулась она.

— Да, прежде чѣмъ просить вашей руки, я вынужденъ объяснить вамъ тайну моей жизни. Я васъ люблю...

— Это для меня не тайна.

— Я васъ люблю, но есть нѣчто ужасное въ моемъ прошломъ...

— О, страхъ! Вы—отцеубійца?

— Нѣтъ, хуже.

— Вы зарѣзали свою мать?

— Хуже.

— Но что-же это такое, наконецъ?

— У меня никогда не было ни отца, ни матери.

— Вы призракъ, фантомъ, привидѣніе?

— Почти. Я незаконнорожденный.

Къ моему удивленію, она не закрыла лица руками, не упала въ обморокъ, не прогнала меня съ глазъ долой, полная презрѣнія и негодованія.

Она просто—расхохоталась.

— Дорогой Андрей!—сказала она мнѣ,—но вѣдь у васъ

всетаки есть фамилія, которой я могу назваться въ качествѣ вашей жены?

— Фамилія есть, какъ не быть? Но она—незаконнорожденная.

Моя милая Вѣра закрыла мнѣ ротъ поцѣлуемъ, и ровно черезъ недѣлю мы обвѣнчались въ деревенской церкви. Тутъ случилось нѣчто совсѣмъ непонятное въ моей жизни. У меня, незаконнорожденнаго, всѣ дѣти были—законныя. Начало не соотвѣтствовало продолженію, причина—слѣдствію. Батардъ—я произвелъ законное потомство. У меня, не имѣющаго предковъ, были несомнѣнные потомки: прелестный мальчикъ и хорошенькая дѣвочка. Должно быть, въ силу атавизма, оба напоминали моего незаконнаго дѣдушку и незаконную бабушку. Я былъ страшно радъ. Я начиналъ даже сомнѣваться въ незаконности своего происхожденія. Я начиналъ вѣрить, что однимъ изъ моихъ предковъ, несомнѣнно, былъ стольный бояринъ и воевода, жившій еще при царѣ Иванѣ Васильевичѣ Грозномъ. Такъ оно и было по отцу моему, но я не могъ признавать законности моей восходящей линіи и фамильныхъ преданій. Геральдика была не за меня. Впрочемъ, все это не было существенно важно для моего счастья. Я поселился съ женой и дѣтьми въ благопріобрѣтенномъ имѣніи, имѣлъ личное дворянство по служебному и образовательному цензу и не особенно чувствовалъ тяготѣвшую надо мной судьбу батарда. Даже портреты предковъ, купленные мною съ аукціона, висѣли въ моемъ деревенскомъ замкѣ.

Улыбающіяся лица напудренныхъ дамъ въ фижмахъ, екатерининскихъ временъ кавалеры, въ чулкахъ и со шпагами, не отворачивались отъ меня и привѣтливо смотрѣли на моихъ дѣтей. Можетъ быть, они вспоминали кое-какіе собственные грѣшки, любовныя приключенія, похожія на миѳы боговъ и богинь Эллады, на картинки старыхъ гобеленовъ и живопись Ватто. Во всякомъ случаѣ, улыбки

предковъ были снисходительны. Въ нихъ свѣтилось много ума и знанія жизни.

Впрочемъ, я отлично понималъ свое положеніе въ ихъ обществѣ. Я зналъ, что въ родословномъ деревѣ я принадлежалъ, такъ сказать, къ побочной вѣткѣ, несомнѣнно существующей, но необозначенной на рисункѣ. Вѣтви дерева можно отрубить, но они были и цвѣли, какъ всѣ другія. Наше дерево было просто подстрижено, какъ въ англійскомъ скверѣ, деревьямъ котораго придаютъ округленную и симметрическую форму, ножницами поправляя природу.

Однажды, когда я сдѣлалъ какой-то безумный поступокъ, кажется—поручился по векселямъ моего благороднаго, но опрометчиваго, друга, и затѣмъ заплатилъ его кредиторамъ, чтобы спасти его въ глазахъ свѣта и еще болѣе въ хорошенькихъ глазкахъ его жены, одинъ изъ предковъ, висѣвшихъ на стѣнѣ кабинета, весело расхохотался и, хлопнувъ меня по плечу, громко сказалъ:

— Яблочко отъ яблонки недалеко откатится. Мы всѣ были въ свое время такими честными дураками!

Словомъ, я превосходно чувствовалъ себя въ кругу своей семьи. Но скоро все перемѣнилось. Съ нѣкоторыхъ поръ я сталъ впадать въ мрачную меланхолію. Мое происхожденіе снова стало занимать меня. Въ сорокъ пять лѣтъ отъ роду я снова почувствовалъ, что я—сирота. Я горько плакалъ надъ своимъ сиротствомъ, какъ старый казакъ въ повѣсти Гоголя. По ночамъ мнѣ стала сниться 132-я статья гражданскихъ законовъ. Она подходила къ моей постели, строгая и суровая, неумолимая и безжалостная. На головѣ у нея былъ средневѣковый шлемъ, въ рукахъ карающій мечъ. Статья вперяла въ меня неподвижный взглядъ и мрачно говорила: «Незаконныя дѣти суть...»

Потомъ она, какъ Протей, перемѣняла образъ. Она являлась мнѣ въ видѣ стараго дьяка-законника, въ очкахъ, съ крючковатымъ носомъ, съ портфелемъ подъ мышкой,

сгорбленная и ехидная. Она нюхала табакъ, злостно улыбалась и опять говорила: «Незаконныя дѣти суть...»

Этого я не могъ вынести. Именно «сути» я тутъ и не видѣлъ. Мнѣ становилось страшно за человѣчество.

Ужасный призракъ я могъ отогнать отъ себя только чтеніемъ въ слухъ утвержденнаго 12 марта 1891 года мнѣнія Государственнаго Совѣта о дѣтяхъ усыновленныхъ и узаконенныхъ. При этомъ чтеніи, статья 132-я блѣднѣла и уходила въ стѣну, какъ привидѣніе. Я отдыхалъ и радовался за будущее.

Но галлюцинаціи продолжались въ слѣдующую ночь. Скоро мнѣ стало казаться незаконнымъ все, что я дѣлаю. Я незаконно мыслилъ, пилъ, ѣлъ, спалъ, двигался. Въ каждомъ движеніи и помыслѣ я былъ батардомъ. Даже моя жена стала мнѣ представляться незаконной, такъ какъ она вышла замужъ за батарда. Мнѣ вспоминались всѣ суровыя кары среднихъ вѣковъ, инквизиція, законы о незаконныхъ, плахи и топоры для матерей и отцовъ, жившихъ внѣ брака. Все это пережилъ нашъ бѣдный міръ. Я забывалъ, что я живу въ гуманномъ девятнадцатомъ вѣкѣ и приходилъ въ ужасъ.

Я сталъ призывать свою смерть. Родившійся безъ права на рожденіе долженъ былъ умереть.

И смерть пришла...

Это былъ длинный и тощій скелетъ, завернутый въ простыню, съ косою въ костлявыхъ рукахъ и совершенно лысымъ черепомъ. Зубы въ его челюсти торчали такъ странно, что ихъ можно было принять за вставные. Скелетъ щелкалъ и стучалъ ими, точно отъ голода или дрожи. Издали этотъ стукъ казался колотушкой ночного сторожа. Отъ страшнаго фантома пахло какой-то мертвечиной, тлѣніемъ могилъ, старыми кодексами права, гнилыми принципами, истинами и предразсудками, обратившимися въ прахъ. Длинные, красные черви болтались, какъ бахрома,

на его ребрахъ. Черныя впадины глазъ свидѣтельствовали, что черепъ его былъ давно пустъ и лишенъ мозга. Видъ скелета былъ одновременно глупъ, смѣшонъ и страшенъ. Когда это Memento mori выросло передо мной, точно манекенъ, выскочившій на пружинѣ изъ коробочки, я невольно воскликнулъ: «Бѣдный Іорикъ!»

— Если слухъ меня не обманулъ, а я плохо слышу вообще,—сказала смерть,—то вы меня, кажется, звали?

— Положимъ, вы являетесь и безъ зова,—замѣтилъ я.

— По обязанностямъ службы!—извинилась смерть.

— Я васъ звалъ.

— Я нѣсколько близорука, но, если вы утверждаете, что именно вы меня приглашали, то я, милостивый государь, къ вашимъ услугамъ.

— Метрическаго, нотаріальнаго свидѣтельства, послужного списка, или чего-нибудь въ этомъ родѣ, не требуется?

— Я вѣрю своимъ кліентамъ на слово. Если есть что нибудь сомнительное въ вашей личности, потрудитесь объяснить сами.

Я нѣсколько сконфузился, но передъ лицомъ смерти нельзя было лгать, и я чистосердечно признался:

— Видите-ли, я незаконнорожденный.

— Ммм!—неодобрительно протянула смерть.

— Да-съ, я—батардъ!

— Что-же вамъ, собственно, угодно?—сказалъ скелетъ, принимая нѣсколько оффиціальный видъ.

— Чортъ возьми! Неужели вы не понимаете? Я желалъ-бы умереть, какъ всякій порядочный человѣкъ.

Смерть любезно улыбнулась, но возразила:

— Я съ удовольствіемъ исполнила-бы вашу просьбу, но, къ сожалѣнію, это невозможно.

— Но почему-же?—вспылилъ я.

— Вы незаконнорожденный.

— Такъ что-же изъ этого?

— Будучи незаконнорожденнымъ, вы, вполнѣ естественно и логично, должны оказаться и незаконноумершимъ. Я не могу этого взять на свою отвѣтственность.

— Незаконноумершій! Да вѣдь такого юридическаго термина не существуетъ?

— Все равно-съ! Я невправѣ.

— И въ сводѣ гражданскихъ законовъ не указано!

— Законъ не предвидѣлъ такого случая, но это вытекаетъ изъ положенія о незаконнорожденныхъ. Законъ допускаетъ толкованіе.

— Какъ? И тутъ формальность? По вашему, я не могу умереть спокойно и съ чистой совѣстью?

— Вы—батардъ!—презрительно заключила смерть, и, не желая продолжать преній, провалилась сквозь землю,— точно въ моей комнатѣ былъ театральный люкъ.

Клянусь, если-бы она этого не сдѣлала, я собственноручно вытолкалъ-бы ее въ шею и спустилъ съ лѣстницы.

Я былъ возмущенъ до глубины души такой явной несправедливостью. Неужели смерть не могла какъ-нибудь меня узаконить и усыновить? Она могла быть мнѣ пріемной матерью, или хотя-бы акушеркой. Нѣтъ, смерть всегда была безжалостна, и у ней отсутствовало человѣколюбіе! Старая корга! Отъ сотворенія міра, она дѣлала людямъ только однѣ непріятности и рѣдко совершала благодѣянія.

Но неужели, думалъ я, совершенная природа стала подражать несовершеннымъ законамъ человѣчества и, вмѣсто физіологіи, усвоила пандекты и юриспруденцію? Химію и физику она замѣнила гражданскимъ правомъ, полицейскимъ правомъ, уголовнымъ правомъ и отняла у меня всякое право естественное? Кто изучалъ естественныя науки, тотъ знаетъ, что о незаконнорожденныхъ тамъ не упоминается. Солнце и звѣзды до сихъ поръ смотрѣли на всѣхъ одинаково, но я теперь сомнѣваюсь даже въ ихъ собственномъ происхожденіи. Кто знаетъ, насколько оно законно?

Созвѣздіе Дѣвы могло родить отъ Марса или Козерога какую-нибудь незаконную планету. Кометы, во всякомъ случаѣ,—батарды. Само солнце имѣетъ пятна. Какъ бы то ни было, участь моя была прискорбна. Зачѣмъ родители мои въ дѣтствѣ не отдали меня въ Воспитательный Домъ, гдѣ младенцы умираютъ совершенно свободно? Увы! Теперь я осужденъ на вѣчное незаконнорожденное существованіе. Вѣчный жидъ—вѣчный батардъ! Сама жизнь должна стать для меня незаконной и нарушить свои незыблемыя основанія.

Но что-же изъ того, что я батардъ? Жилось мнѣ, право, не хуже другихъ, батарду! Мнѣ было довольно весело жить, ба...

Тутъ рукопись прерывается. Что значитъ это послѣднее восклицаніе, или недописанное слово, «ба...»—я не знаю. Но, очевидно, у автора образовался свой идефиксъ—идея о незаконнорожденности. Онъ думалъ, лишившись разсудка, что незаконнорожденные будутъ существовать вѣчно. Я этого не предполагаю. Они, какъ и все на свѣтѣ, отживутъ свое время. Время уничтожитъ батардовъ. Юристы признаютъ незаконнымъ ихъ существованіе, и, быть можетъ, сама статья 132-я будетъ признана незаконнорожденной.

Аполлонъ Коринфскій.

ПѢВЕЦЪ ВОЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ.

(ПАМЯТИ Д. Н. САДОВНИКОВА.)

НАБРОСОКЪ.

«Ой, пора тебѣ на волю, пѣсня русская!»

Мей.

I.

Нѣтъ у насъ на Руси ни Пантеоновъ, ни Вестминстерскихъ аббатствъ; нѣтъ даже ни одного подобнаго парижскому «Père Lachaise» мѣста вѣчнаго успокоенія, хотя такъ называемые литературные мостки петербургскаго Волкова кладбища издалека, — если можно такъ выразиться,—и приближаются къ этому послѣднему. Наши писатели, художники, артисты, ученые и общественно-государственные дѣятели — какъ извѣстно, не отличающіеся особеннымъ единодушіемъ при жизни—и умирая, не сходятся въ какомъ-либо одномъ «городѣ мертвыхъ». И живые, и мертвые—идутъ въ-разбродъ!

Надъ литературными мостками Волкова кладбища витаютъ тѣни многихъ близкихъ чуткому русскому сердцу людей, начиная съ Бѣлинскаго и кончая Лѣсковымъ. Словно сторонясь отъ этихъ дорогихъ и имъ могилъ, покоятся—возлѣ одной изъ волковскихъ церквей—Тургеневъ, Салтыковъ и Кавелинъ. На аристократическомъ кладбищѣ Александро-Невской лавры спитъ вѣковѣчнымъ сномъ великій русскій сердцевѣдецъ, пророкъ мертваго дома—Достоевскій—о-бокъ съ Глинкою, Мусоргскимъ, Чайковскимъ, Крыловымъ, Баратынскимъ, Щербиною и по сосѣдству (не особенно близкому) съ Гончаровымъ, Рубинштейномъ, Апухтинымъ и другими знаменитыми русскими людьми. На Смоленскомъ кладбищѣ есть свой—литературно-артистическій уголокъ; на Митрофаніевскомъ затерялись среди многихъ тысячъ безмолвныхъ сосѣдей Аполлонъ Григорьевъ въ трогательномъ общеніи съ Меемъ. Въ не особенно еще густомъ лѣсу крестовъ и мавзолеевъ Новодѣвичьяго монастырскаго кладбища выдѣляются увѣнчанные бюстами памятники Некрасова и недавно присоединившагося къ нему А. Н. Майкова... Какъ много говорятъ русскому сердцу всѣ эти имена!..

Но на послѣднемъ изъ только-что названныхъ кладбищъ есть одна почти никому невѣдомая, всѣми забытая, никѣмъ не посѣщаемая могила. Шестнадцатая зима одѣла снѣгомъ еле-замѣтный холмикъ, надъ которымъ сиротливо склоняется все глубже и глубже вростающій въ землю крестъ съ полустертымъ именемъ лежащаго подъ его печальной сѣнью человѣка. Имя это—пустой звукъ для огромнаго большинства современныхъ читателей, и только у очень немногихъ любителей поэзіи и записныхъ библіографовъ связывается съ нимъ сколько-нибудь опредѣленное представленіе.

Не то было шестнадцать лѣтъ тому назадъ...

II.

«... Въ его пѣсняхъ, сказкахъ и легендахъ — духъ русскаго народа, его вѣчно живые образы воскресали во всей своей свѣтлой печали, со всѣмъ своимъ мрачнымъ юморомъ... Потеря его для насъ тяжела теперь; потеря для народа сознается послѣ!»...

«... Въ тайникахъ души его прекрасной билъ ключомъ поэзіи родникъ!»...

«... Смерть похитила у насъ молодого поэта съ крупными задатками настоящаго поэтическаго таланта, который, казалось, способенъ былъ воскресить лучшія традиціи русской поэзіи»...

«... Родись онъ на французской или англійской почвѣ, принадлежи къ французской или англійской литературѣ, талантъ и имя его давно уже горѣли-бы яркой звѣздой»...

Эти—приведенныя здѣсь изъ газетныхъ некрологовъ—слова въ двадцатыхъ числахъ декабря 1883 года раздавались надъ свѣжей могилою Дмитрія Николаевича Садовникова, автора самобытныхъ пѣсенъ-легендъ о Стенькѣ Разинѣ и многихъ другихъ замѣчательныхъ стихотвореній.

Громкія, многообѣщающія слова!.. Они остались только словами,—хотя ихъ и произносили искренніе друзья и почитатели безвременно смолкшаго талантливаго поэта-художника. Достаточно было всего нѣсколькихъ лѣтъ, чтобы это когда-то довольно хорошо извѣстное въ литературныхъ кружкахъ имя стало мертвой буквою для читающихъ массъ и выцвѣтшимъ дагерротипомъ полузабытаго, хотя и милаго, лица—для ближайшихъ друзей.

Короткая русская память уже успѣла почти совершенно заслонить въ себѣ творческій обликъ, начинавшій яркими чертами запечатлѣваться въ ней, десятками другихъ — блѣдныхъ, другъ на друга похожихъ, мелькающихъ пе-

строй смѣною современнаго калейдоскопа, если и оставляющаго впечатлѣніе, то—неопредѣленное, туманное, расплывающееся безцвѣтными свѣтотѣнями. Много громкихъ словъ было брошено въ воздухъ, много искреннихъ, повидимому, слезъ звучало въ словахъ, произнесенныхъ надъ могилой, гостепріимно принявшею въ свою промерзлую землю поэта, унесшаго съ собою, по словамъ критики *), огромные задатки поэтическаго дара, проявившіеся въ прекрасныхъ формахъ... Но время показало болѣе чѣмъ ясно, какъ мало значатъ и слова, и слезы передъ всеразрушающей силою забвенія.

Схоронили—позабыли!

Это лаконически краткое, но многозначительное, выраженіе оправдалось тутъ со всею своей грустной точностью.

Среди творцовъ нашего художественнаго слова не мало можно найти такихъ, которымъ сопутствуетъ эпитетъ «забытый». Къ забытымъ поэтамъ иные памятливые журналисты еще недавно, ни мало не сомнѣваясь, относили, по своему личному произволу, даже Тютчева, даже гр. Алексѣя Толстого, не говоря уже о Мѣ, которому въ ихъ многорѣчивыхъ устахъ нѣтъ даже и другого названія. Между тѣмъ, какъ первыхъ двухъ никто никогда изъ грамотныхъ русскихъ людей и не думалъ забывать, точно также и посмертная участь послѣдняго не можетъ казаться печальною—въ сравненіи съ дѣйствительно позабытыми литературными именами.

Русское забвеніе—обидное забвеніе: мы позабудемъ—какъ ножомъ отрѣжемъ! Тяжело видѣть, какъ забывается то, память о чемъ должна быть дорогой и незабвенной... «Таланты на Руси не любятъ долго жить»; это—глубоко

*) В. В. Чуйко: «Современная русская поэзія». Спб., 1885. Стран. 146—159.

печальный фактъ. Но несравненно прискорбнѣе сознавать, что «Русь» не любитъ долго помнить объ этихъ талантахъ, если сама судьба не позаботится объ оставляемомъ ими наслѣдіи.

Имя Садовникова придавлено тяжестью жестокаго русскаго забвенія болѣе, чѣмъ чье-нибудь другое: оно было вычеркнуто изъ памятныхъ списковъ—даже сверстниковъ-собратьевъ — чуть-ли не на другой день послѣ похоронъ талантливаго поэта.

III.

Д. Н. Садовниковъ не только унесъ съ собою въ могилу крупные задатки настоящаго поэтическаго таланта, но успѣлъ выказать въ своихъ оригинальныхъ поэтическихъ произведеніяхъ художественное дарованіе, ставящее его въ ряду выдающихся русскихъ поэтовъ. Онъ внесъ въ свою поэзію ту освѣжающую струю, которая бьетъ изъ сердца народной стихіи, никогда не изсякая. Въ большинствѣ его — какъ эпическихъ, такъ и лирическихъ— стихотвореній замѣтенъ тотъ душевный подъемъ, который даетъ свободный размахъ мысли,—тотъ сердечный захватъ, который способенъ зажигать чувство. Какъ поэтъ, въ натурѣ котораго жилъ истинный художникъ, — онъ понялъ, что чарующая сила поэзіи таится въ единеніи мыслей и образовъ, чувства и содержанія, простоты и изящества. Неподдѣльная искренность тона придаетъ его стихамъ мягкій колоритъ задушевности и теплоты. Завидное богатство языка, мѣткость эпитетовъ, живая красота образовъ, выпуклость красокъ—дѣлаютъ ихъ сильными и яркими. Чувство художественной мѣры, имѣющее такое громадное значеніе въ изящной словесности, соблюдено почти въ каждой написанной имъ строфѣ, — что̀ даетъ ему немалое преимущество передъ многими. Мелодичная му-

зыка ритма и благоуханная свѣжесть созвучій взаимно дополняютъ другъ друга.

Содержаніе поэзіи Садовникова, строго гармонирующее съ художественной техникою его произведеній, до нѣкоторой степени почерпнуто имъ въ сокровищницѣ изустнаго народнаго творчества, въ большей-же части своей—бережно выношено поэтомъ въ собственной душѣ, любовно воспринявшей духъ народа-пахаря—народа-богатыря и проникшейся непосредственностью его міросозерцанія. Типичныя по обрисовкѣ, крупныя по внутреннему замыслу, мощныя фигуры русскихъ «вольныхъ людей», вызванныхъ поэтомъ изъ мрака прошлаго, облеченныя въ живую плоть, согрѣтую горячей кровью,—выдержаны во всѣхъ чертахъ своихъ. Историческая-«былевая» правда придаетъ художественной правдѣ поэтическихъ картинъ Садовникова особенно яркій колоритъ. И всѣ эти картины словно освѣщены какими-то незримыми лучами.

Волга, любимая рѣка русскаго народа, отражается въ посвященныхъ ей стихахъ Д. Н—ча, что называется, и широко, и глубоко. Читаешь иные стихи этого художника слова и не можешь понять, какимъ образомъ могло безслѣдно исчезнуть изъ лѣтописей литературы столь яркое и своеобразное дарованіе... Передъ вами—лицомъ къ лицу вся эта вѣющая вольной волею, дышащая силой-удалью, говорящая своими картинами жизнь. Вы слышите бурливый прибой волнъ могучей рѣки, подтачивающей каменныя крѣпи горъ... До вашего слуха доносится вѣщій шумъ лѣса... Васъ пригрѣваетъ своими, перенесенными на печатныя страницы, лучами благодатное лѣтнее солнышко... Надъ вами высоко-высоко въ небесной глубинѣ разливается тающими трелями пѣсня жаворонка... Чу, раздаются мѣрные всплёски вёселъ; вы вслушиваетесь, вы вглядываетесь въ даль: на васъ изъ-за излучины причудливо вьющейся, широко разлегшейся въ своемъ гигантскомъ руслѣ, рѣки выплываютъ

«расписные острогрудые челны» съ разудалыми молодцами, которымъ всё—по-плечу, для которыхъ нѣтъ на бѣломъ свѣтѣ ничего запретнаго, невозможнаго... Рвется изъ могучей груди плавная пѣсня, разливается—голосистая-по широкому раздолью... Ее смѣняетъ безшабашная «пѣсня», отъ которой всѣ жилочки такъ и ходятъ, всѣ суставы говорятъ... Выступаютъ изъ-за лѣса дремучаго, орлами летятъ по поднебесью—ширяютъ надъ вершинами Жегулей воскрешонныя поэтомъ тѣни стародавнихъ преданій... Васъ подхватываетъ, васъ несетъ на себѣ мощная волна былой жизни... И все это дѣлаетъ размашистая сочная кисть вдохновеннаго пѣвца Волги... Неотразимая власть впечатлѣнія говоритъ о чарующей силѣ мощнаго дарованія талантливаго поэта.

«Подъ шапкой утреннихъ тумановъ
Молчатъ сосновые лѣса
Про удальство и чудеса
Давно погибшихъ атамановъ...
«Давно въ горахъ не свищетъ пуля,
Кистень въ лѣсу не сторожитъ;
Лишь чайка въ воздухѣ дрожитъ,
Свою добычу карауля...
«Изъ трубъ поселка дымъ взлетаетъ,
Земля сохою поднята,
Стучитъ топоръ, и выплываютъ
Въ горахъ сѣдые беркута...
«Но духъ людей, которымъ тѣсенъ
Казался міръ въ избыткѣ силъ,
Родной напѣвъ поволжскихъ пѣсенъ
Въ своемъ размахѣ сохранилъ.
«И пѣсня та путиной долгой—
И величава, и стройна—
Несется вмѣстѣ съ синей Волгой,
Кидая въ душу сѣмена...
«Кто пѣсню вольную заслышитъ,
Кто отъ души ее споетъ,—
Любое сердце раскольшетъ,
Любыя цѣпи разобьетъ!»

Послѣднее четверостишіе этого отрывка изъ посмертныхъ стихотвореній Д. Н. Садовникова можно съ полной справедливостью отнести и къ нему-самому—съ его проникнутыми бодрымъ чувствомъ вольными пѣснями.

Волжскія пѣсни и легенды... Какъ онѣ хороши у самобытнаго поэта! Но не хуже ихъ волжскіе пейзажи его, хотя и набросанные бѣглыми мазками, но—при всемъ этомъ—явно выдающіе въ пѣвцѣ-художникѣ несомнѣнные задатки большого мастера своего искусства.

«Зеленыя горы!.. Здѣсь—каждый бугоръ
Особое носитъ названье;
Глухіе овраги, расщелины поръ
Хранятъ у себя съ незапамятныхъ поръ
Порослее мохомъ преданье...
Среди этихъ темнозеленыхъ холмовъ
Сказанія мѣстнаго слово,—
Какъ крикъ выплывающихъ въ небо орловъ,
Какъ шумъ отдаленный сосновыхъ лѣсовъ,
И дико, и вмѣстѣ сурово»...

Этотъ яркій отрывокъ изъ легенды «Полонянка» могъ-бы служить выразительнымъ эпиграфомъ ко всѣмъ эпическимъ стихотвореніямъ Садовникова.

Лучшими изъ навѣянныхъ Волгою произведеній Д. Н—ча являются тѣ, которыя посвящены Стенькѣ Разину («Астраханскій загулъ», «Стенькина шуба», «Настасьина могила», «Зазноба», «Въ острогѣ»), затѣмъ — «Усолка» и «Богатырь-дѣвка» (два сказанія о женщинахъ-богатыряхъ), «Попутный вѣтеръ» (сказка), «Полонянка» («На старой Волгѣ») и «Изъ волжскихъ пѣсенъ» (пестрый рядъ мелкихъ стихотвореній). Вотъ, напримѣръ, три характерныхъ для своего автора наброска изъ послѣдней серіи:

«Десятки верстъ взбѣгаютъ горы,
Природный каменный оплотъ,—
На нихъ не встрѣтятъ ваши взоры
Ни стѣнъ, ни башенъ, ни воротъ.
Надъ гладью Волги бровью черной

Идетъ верхами темный боръ,
Храня ревниво и упорно
Неувядаемый уборъ.
Вкругъ мощныхъ дѣдовъ въ три обхвата
Стоитъ рѣдѣющая рать,—
Она готова, братъ за брата,
Не отступая, умирать...
То—горсть героевъ безоружныхъ
Спокойно ждетъ своей поры,
Когда придутъ изъ селъ окружныхъ
И разомъ примутъ въ топоры»...

Второй набросокъ выдвигаетъ предъ читателями типичную фигуру современнаго поволжанина, встающую изъ развертывающихъ широкое полотно вѣющей живой жизнью картины восьми строчекъ во весь свой недюжинный, чуть-чуть не богатырскій, ростъ:

«Въ бударкѣ кто-то вдругъ мелькнулъ, затѣмъ—исчезъ;
Вотъ снова вскинуло кумачную рубаху...
Смѣльчакъ одинъ плыветъ, сѣдой волнѣ въ-разрѣзъ,
Не покоряяся спасительному страху...
Съ вершины Жегулей крыломъ своимъ горычъ
Наноситъ быстринѣ удары за ударомъ...
Авось, Богъ милостивъ! Какъ бросить магарычъ?
Какъ водки не попить съ пріятелями даромъ?!.»

Въ третьемъ—«вѣтеръ безъ устали дуетъ, Волгу взрывая до дна; буря шумитъ и лютуетъ, мутная ходитъ волна»... Вотъ эта лютующая буря:

«Волнъ бѣлогривые гребни
Грозно рядами идутъ
И, разбѣгаясь на щебнѣ,
Пѣной пески обдаютъ...
Вѣтеръ въ налетѣ могучемъ
Тучей вздымаетъ пески;
О-землю бьются по кручамъ —
Чуя бѣду—тальники...

«Къ пристани свалены груды
Бревенъ, раскиданныхъ дровъ;
Щепки разбитой посуды
Тянутся вдоль береговъ...
— Зла безъ добра не бываетъ!—
Такъ разсуждаетъ народъ:
— Буря купцовъ раззоряетъ,
Дровъ бѣдняку подаетъ!..»

Не зная хотя-бы одной изъ его пѣсенъ о Стенькѣ Разинѣ, нельзя составить и сколько-нибудь близкаго къ дѣйствительности понятія о силѣ и самобытности поэтическаго таланта, потеряннаго литературою въ Садовни-

жовѣ. Вотъ одна изъ нихъ: («Астраханскій загулъ»): «Государевымъ указомъ всѣ прошедшія вины атаману-вору Стенькѣ съ голытьбою прощены.... Откачнулся разудалый прочь отъ Шаховой земли и опять на Волгу сгрудилъ всѣ суда и корабли. Снова Стенькѣ съ казаками вплоть до Дона вольный ходъ, и — до Астрахани Волгой онъ на Соколѣ плыветъ. Вотъ и устье съ камышами, святорусская земля; вотъ и башни зачернѣли астраханскаго кремля. Съ каравана шумъ несется, пѣсни, крики и пальба. Дуетъ свѣжая моряна въ парусовые зоба. Вьются шали дорогія на мачтовыхъ деревахъ; снасти шелкомъ перевиты, позолота на кормахъ. А на пристани собрался астраханскій вольный людъ,—машутъ шапками на Волгу, не расходятся и ждутъ. Сходни сброшены на берегъ; атаманъ впередъ идетъ; передъ соколомъ залетнымъ разступается народъ. Да и есть чему дивиться,—воротъ золотомъ расшитъ, на кудряхъ сибирскій соболь, на кафтанѣ аксамитъ. А за нимъ толпою пестрой сходятъ царскіе стрѣльцы и низовые бурлаки, и донскіе удальцы. Здравствуй, батюшка родимый!—Всѣ кричатъ—и старъ, и малъ. По добру-ли по здорову? Гдѣ, кормилецъ, пропадалъ? «На царя работалъ, братцы; за святую бился Русь. Вотъ опослѣ, время будетъ—здѣсь дѣлами разберусь! А теперь гулять пригрянулъ,—пей, народъ, на Стенькинъ счетъ!» И съ ватагою казацкой шумно городомъ идетъ. Всѣхъ поитъ, не разбирая, государевымъ виномъ, серебро горстями мечетъ, стелетъ улицу сукномъ. А бабьё и дѣвки ловятъ отъ удалыхъ на-расхватъ—бирюзу, цвѣтныя бусы и парчу, и канаватъ. Словно городъ весь, огуломъ, сталъ царевымъ кабакомъ: только Стенька показался,—все по городу вверхъ дномъ. Съ воеводой вмѣстѣ ходитъ,—по кормлёному плечу бьетъ рукой да шутки шутитъ:—«Не ворчи! Озолочу!» А чего ворчать? Недаромъ воевода съ нимъ въ ладу: Стенька будетъ посильнѣе воеводы въ городу.

За Степаномъ, только свистни—колыхнётся весь народъ; а кому охота биться за царевыхъ воеводъ?!».

Въ легендѣ «Стенькина шуба», связанной по содержанію съ «Астраханскимъ загуломъ», пѣвецъ вольныхъ людей рисуетъ своей размашистой кистью картину разошедшейся во-всю народной удали... «Отъ казацкаго похмѣлья захмѣлѣла вся рѣка, на судахъ и пьютъ, и пляшутъ»,—начинается это стихотвореніе, съ каждой новой строкою выдвигающее все новыя и новыя черты живой были. Воевода отъ Степана не отходитъ, «такъ и льнетъ». Стенька пьетъ изъ одного жбана съ нимъ («На, попробуй воровского!—шутку шутитъ атаманъ»). Подарки за подарками сыплятся воеводѣ отъ тороватаго разбойника («Наложилъ добра въ амбары воевода семь подводъ».). Но алчность его завидущихъ глазъ не знаетъ предѣла: проситъ онъ то, клянчитъ другое; наконецъ—«со Степана дорогую шубу тянетъ за рукавъ». Тотъ не соглашается отдать: «Ну, братъ, шубой не уважу! Есть на ней большой завѣтъ!»... Ненасытный грозится «цареву милость такъ и этакъ повернуть». Легенда кончается слѣдующими, выпукло дорисовывающими крупную фигуру атамана строками:

«....Крѣпится Стенька,—
Привскочилъ-бы онъ съ ковра,
Показалъ-бы воеводѣ,
Да не Стенькина пора!..
—Ты вѣдь, если разойдешься,
Такъ намелешь сгоряча...
«Пошутилъ я!—И спускаетъ
Шубу цѣнную съ плеча.
— На, старикъ! Бери, да помни,
Что и я порой сердитъ!..
Не надѣлала-бы шуба
Много шуму!—говоритъ...»

IV.

Поэтъ-художникъ—Д. Н. Садовниковъ удивительно тонко понималъ душу природы. Онъ былъ надѣленъ тютчевской способностью чувствовать каждое проявленіе ея жизни, незамѣтное для взгляда простого наблюдателя. Послушайте,

какъ могла оживать въ его осѣненныхъ вдохновеніемъ стихахъ природа. Вотъ, напримѣръ, его граціозная «Лѣтняя сказка»:

«Идетъ, опустивши рѣсницы,
Обвита вечернею мглой,
Задумчивой ночи царица
Со свитой своей золотой.
Какъ тѣни, одежды струятся,
Прозрачный колеблется станъ:
И сквозь очертаній туманъ
Далекія звѣзды глядятся.
Навстрѣчу объятіямъ Ночи,
Тревогою дня утомленъ,
Смежая усталыя очи,
Слетаетъ невидимо Сонъ.
Лѣса, прошумѣвъ, затихаютъ:
Ложится рѣчная волна;
Цвѣты, засыпая, вздыхаютъ,
И клонятся травы отъ сна.
Подъ силой призывною ласки
Ночныхъ сновидѣній царя,
Убѣгаютъ стыдливыя краски,
Вечерняя гаснетъ заря.
И въ часъ, когда все умолкаетъ,
Не слышно ничьихъ голосовъ,
«Влюбленная Ночь обнимаетъ
Царя обольстительныхъ сновъ.
Какъ сладки тогда сновидѣнья,
Людей кочевыя мечты!
Но счастіе—только мгновенье
Для этой влюбленной четы...
Свѣтаетъ, и тихо смѣется
На небѣ другая заря,—
Царица испуганно бьется
Въ объятьяхъ любимца-царя.
Изъ глазъ ея падаютъ слезы—
Росою—на зелень луговъ,
А сны и отрадныя грезы
Взлетаютъ толпой облаковъ.
«Прощай!» по полямъ раздается;
«Прощай!» отвѣчаетъ въ лѣсахъ;
«Прощай!»—надъ рѣкою несется;
«Прощай!»—замираетъ въ горахъ».

Вѣдь это—цѣлая симфонія красокъ, образовъ и ласкающихъ душу звуковъ. Отъ такихъ чудныхъ стиховъ не отказался-бы даже ни одинъ изъ первоклассныхъ поэтовъ. Съ перваго до послѣдняго слова все въ этомъ прекрасномъ стихотвореніи говоритъ объ яркомъ художественномъ талантѣ. Мелодія нѣжащими слухъ волнами льется прямо въ душу—и какая мелодія!..

Авторъ «Лѣтней сказки» въ одинаковой степени вдохновлялся, на-ряду съ подобными сюжетами, и совсѣмъ иными. Вотъ, напримѣръ, его «Тоска»—стихотвореніе, не менѣе замѣчательное какъ по внѣшней формѣ, такъ и по изумительно гармонирующему съ нею, до неподражаемости своеобразному, богатству внутренняго содержанія:

«Не ходи въ лѣсную чащу,—
Въ ней живетъ Тоска сѣдая,
Безобразная старуха,
Молчаливая и злая!
Подъ защитой темной ночи,
Въ одинокой ветхой кельѣ
Для тебя она готовитъ
Одуряющее зелье...

«Ты войдешь,—Тоска за горло
Схватитъ, медленно придушитъ,
Вынетъ трепетное сердце
И огнемъ его изсушитъ;
А потомъ, пожалуй, молвитъ,
Надъ твоей глумясь бѣдою:
—Полежи! Быть можетъ, воронъ
Прилетитъ съ живой водою!..»

Отъ мрачной поэзіи «Тоски», заставляющей сердце сжиматься какимъ-то недобрымъ предчувствіемъ, поэтъ переходилъ къ мирнымъ картинамъ русскихъ степей, воплощавшимся въ его стихахъ въ живыя краски. «Вотъ она, родная степь, проглянула изъ тумановъ, и синѣющихъ кургановъ обозначилася цѣпь»,—говоритъ онъ въ одномъ изъ подобныхъ стихотвореній, вызывая передъ вашимъ мысленнымъ взоромъ родную ширь. «Встрѣчу мнѣ бѣжитъ ковыль серебристыми волнами»,—читаете вы въ слѣдующей строфѣ этого стихотворнаго пейзажа, звучащаго говоромъ природы,—«позади ложится пыль сѣроватыми клубами. Надо мной сквознымъ узоромъ тучекъ движется гурьба, и повисли ястреба̀, сторожа добычу взоромъ. Ширь степная раздалась: ни лѣсовъ, ни горъ высокихъ; и подолгу ищетъ глазъ деревенекъ одинокихъ!» Стихотвореніе прочитано, а передъ глазами читателя все еще какъ-будто разстилается ковылемъ-травой эта оживленная поэтомъ родная степь,—все еще ширится-растетъ эта монотонная по окраскѣ, простая по существу, но безконечно милая, картина.

А вотъ—еще небольшое, но много и краснорѣчиво говорящее русской душѣ, стихотвореніе Д. Н. Садовникова, выхваченное изъ, родного вдохновенію поэта, откровеннаго сердца задумчивой русской природы,—«Пѣсня колосистой ржи»:

«Съ неба насъ печетъ немилосердно,
Отъ земли садится пыль на колосъ...
Пить хотимъ мы влагу дождевую,
Слушать грома перекатный голосъ...

«Заслони намъ, туча, это солнце:
Пожалѣй, остановись надъ нами,—
Проливнымъ, съ веселою грозою,
Обойди засохшими полями...

«Не забудь мѣста свои родныя,
Гдѣ туманомъ прежде отдыхала,—
Гдѣ себѣ подъ утреннія зори
Молодыя кудри распрядала;

«И они тянулись, словно пряжа,
Золотяся восходившимъ солнцемъ,—
Пряхою былъ ласковою вѣтеръ,
Гребнемъ лѣсъ, ржаное поле—донцемъ...

«А, когда пройдетъ шумящій ливень
Полосами зрѣющаго хлѣба,—
Пусть опять насъ грѣетъ это солнце
И глядитъ съ лазореваго неба!..»

Какъ рѣзокъ переходъ отъ этой, дышащей истомою лѣтняго полдня, пѣсни къ такимъ, напримѣръ, металлически-звенящимъ строфамъ Садовникова, какъ его обвѣянный мистической тайною «Сонъ».

«Я видѣлъ сонъ тяжелый, безпокойный... Печальный видъ открылся предо мною: я шелъ одинъ широкою тропою, пустынею безжизненной и знойной. Виднѣлись скалъ причудливыя кручи; ряды вершинъ, обглоданныхъ вѣками: кругомъ—песокъ подвижный и сыпучій, по прихоти взметаемый вѣтрами. Далекихъ горъ рѣзное очертанье широкою каймою озарило какое-то волшебное сіянье, и мысль влекла невѣдомая сила. Вершины горъ пылали неугасно, при блескѣ дня, какъ дивныя лампады; я шелъ безъ остановокъ; мои взгляды слѣды жилья искали, но напрасно. Я дождался печальнаго заката. Я встрѣтилъ ночь съ ея могильной тьмою... Все тотъ-же путь лежалъ передо мною,—назадъ, казалось, не было возврата. Тамъ, позади, опущена завѣса. Рвался впередъ я съ жаждой необъятной, какъ рвется вѣтвь изъ темной чащи лѣса въ просторъ и

свѣтъ живительно-пріятный. Впередъ! Впередъ! Туда, гдѣ незакатно волшебный свѣтъ горитъ надъ этой мглою!.. А сердце мнѣ сжимало непонятно тяжелою, гнетущею тоскою. То былъ не солнца блескъ животворящій, а ровное, холодное сіянье, какъ-бы алмазъ, сквозь эту мглу свѣтящій; но дивное въ немъ было обаянье. И видѣлъ я, что къ отдаленной цѣли насъ много шло: людскихъ тѣней немало мои глаза во мракѣ разглядѣли, и шумъ походки ухо различало. Мелькали всюду люди-привидѣнья, по сторонамъ, посереди дороги передвигались торопливо ноги, слегка шурша объ острые каменья. Такъ за волною, на морскомъ просторѣ, вослѣдъ волна тревожная несется,— взбѣжитъ на берегъ, тихо разольется и межъ камней, журча, стекаетъ въ море. «Остановись!..»— послышался мнѣ голосъ: «Иди назадъ: усилья безполезны!..» И у меня поднялся дыбомъ волосъ: я на краю стоялъ отверстой бездны... Смѣнила страхъ боязнь иного рода,—она была сильнѣе и острѣе: «Гдѣ перейти?!.» И въ безднѣ, не робѣя, мои глаза искали перехода. Онъ узокъ былъ, какъ лезвіе кинжала, какъ мечъ, ведущій къ раю Магомета, но истины желанье, жажда свѣта меня впередъ все дальше увлекала. И я ступилъ неробкою ногою на этотъ путь къ источнику сіянья... Земля изъ глазъ исчезла подо мною, но ожили о ней воспоминанья... Мнѣ память все былое воскресила... Такъ прошлаго страшна была утрата, что я въ виду желаннаго свѣтила вновь захотѣлъ свободы и возврата... Въ едва сквозящей полусвѣтомъ дали, предъ взоромъ, отуманеннымъ тоскою, какъ гребни пѣны надъ волной морскою, знакомые мнѣ образы взбѣгали... Какъ облака, смѣнялися видѣнья, молящія протягивались руки... Мнѣ слышались призывныя моленья, мнѣ раздирали сердце эти звуки!.. «Не любишь ты!..»—шепталъ мнѣ голосъ милый, и сердце вслѣдъ мнѣ тихо говорило: «Вернись назадъ, люби съ былою силой,—зачѣмъ тебѣ блестящая мо-

гила?!.» Въ отчаяньѣ назадъ я оглянулся,—но прежній путь уже объяла бездна... И—огласивши воплемъ безполезно пустынный міръ—я въ ужасѣ проснулся...»

Нельзя не согласиться съ мнѣніемъ В. В. Чуйко, восторженно отозвавшагося объ этомъ въ высшей степени оригинальномъ,—хотя и не вездѣ одинаково звучномъ,—стихотвореніи. «Вся картина», говоритъ онъ,—какъ въ общемъ, такъ и въ деталяхъ, безподобна; въ ней видѣнъ крупный, энергическій талантъ, не удовлетворяющійся мелкою ходячею монетой нашего современнаго поэтическаго вдохновенья; она обнаруживаетъ въ поэтѣ энергію мысли и чувства, которыя какъ-бы сдѣлались анахронизмомъ въ наше время»... Это говорилось въ началѣ 80-хъ годовъ.

Оригинальный талантъ автора «Сна» былъ совершенно чуждъ всякаго стремленія къ заѣзженному другими пѣвцами его дней поэтическому шаблону. Вотъ, напримѣръ, какими яркими, какими въ полномъ смыслѣ слова—художественными, выходили изъ-подъ его пера даже такъ называемыя «случайныя» стихотворенія:

«Въ отрадный мигъ желаннаго рожденья
Все, что въ наслѣдство передалъ апрѣль,
Душистый даръ послѣдняго цвѣтенья
Тебѣ весна кидала въ колыбель...
«Май отцвѣталъ и шелъ навстрѣчу лѣта;
И думалъ онъ—переходя ко сну:
«Я встрѣтилъ день рожденія поэта,—
Онъ воскреситъ умершую весну!..»
«Ты оправдалъ святыя упованья:
Заслыша пѣсни первыя твои,
Въ усталомъ сердцѣ ожили желанья,
Въ нѣмомъ лѣсу проснулись соловьи...
«Любили мы, но спорною любовью!
Давно-ль у насъ топтали твой вѣнокъ?
Но ты простишь минутному злословью,
Прекраснаго созданіемъ высокъ...
«Простишь намъ то, что рѣчь, тебѣ родная,
Вплела шипы въ цвѣтущій твой вѣнецъ...
Теперь мы всѣ сошлись на праздникъ мая
Твой день привѣтствовать, пѣвецъ!..

«И въ честь тебя, поэта-чародѣя,
Пѣвца живой любви и красоты,
Весна, какъ встарь, бросаетъ, не жалѣя,
Къ твоимъ ногамъ послѣдніе цвѣты!..»

Это—вѣнокъ на памятникъ великому Пушкину, присланный авторомъ изъ Симбирска на московскій пушкинскій праздникъ 1880 года,—благоухающій свѣжестью вѣнокъ, который такъ кстати было-бы возложить на могилу солнца поэзіи русской и въ недавніе «пушкинскіе» дни... Спокойно-эпическій тонъ, наиболѣе свойственный поэту, не измѣнилъ ему и здѣсь,— какъ не измѣнило и ни на шагъ не отходившее отъ него вдохновеніе.

Въ русской поэзіи имѣется нѣсколько стихотвореній о Вальтерѣ-фонъ-деръ-Фогельвейде, нѣмецкомъ средневѣковомъ миннезингерѣ. Поэты разныхъ силъ брались у насъ за этотъ сюжетъ. Но ни у кого не воплотилась трогательная легенда въ болѣе живую форму, чѣмъ у Д. Н. Садовникова. Вотъ это его стихотвореніе:

«Умеръ славный Фогельвейде...
Жизнь на небо отлетѣла;
Въ старомъ Вюрцбургскомъ аббатствѣ
Онъ оставилъ только тѣло...
Завѣщалъ онъ все монахамъ,
Съ уговоромъ, чтобъ кормили
Каждый полдень птицъ окрестныхъ
На его они могилѣ:
—«У крылатыхъ менестрелей
Самъ учился я когда-то;
Пусть кормленье пташекъ будетъ
Фогельвейдова уплата»...
Такъ пѣвецъ любви скончался...
Завѣщанье соблюдая,
На могилу ежедневно
Вольныхъ птицъ скликалась стая.
Каждый день на кровли, стѣны
И на башенные шпицы
Окрыленныхъ менестрелей
Собирались вереницы...
На вѣтвистой старой липѣ
Засѣдало ихъ собранье,
На дворѣ, могильномъ камнѣ
И могильномъ изваяньѣ...
На оконныхъ переплетахъ,
На дверяхъ—зимой и лѣтомъ —
Птицы хоромъ распѣвали
Пѣсни, пѣтыя поэтомъ.
Это было нѣчто въ-родѣ
Поэтическаго спора
Молодой пѣвучей братьи
Возлѣ стараго собора...
Всюду имя Фогельвейде
Птицы въ пѣсняхъ повторяли;
Всюду имя Фогельвейде,
Распѣвая, прославляли...
Но аббатъ сказалъ однажды:

—«Чѣмъ бросать какимъ-то птахамъ,
Лучше хлѣба больше выдать
Голодающимъ монахамъ!..»
Съ той поры на шумный завтракъ
Не спускалась птичья стая,
Надъ могилой Фогельвейде
Въ ясный полдень пролетая.
Съ той поры, крича нестройно,
Тщетно птицы тучей вились
Надъ оградой монастырской,—
Угощенья не добились...
Время сгладило на камнѣ
Монастырскомъ начертанье;
Гдѣ схороненъ Фогельвейде—
Говоритъ одно преданье;
Но до сей поры всѣ птицы,
Пролетая надъ соборомъ,
Эту старую легенду
Повторяютъ дружнымъ хоромъ».

Ну, развѣ это—не сама поэзія?!.

На призваніе и личность поэта Д. Н. Садовниковъ смотрѣлъ очень серьезно и,—какъ видно по всему его литературному наслѣдію, оставленному забывшей о немъ родинѣ,—подходилъ къ святая святыхъ поэтическаго творчества съ глубоко благоговѣйнымъ чувствомъ.

«Въ строѣ твоихъ пѣснопѣній», - говоритъ онъ, обращаясь къ поэту,—«смѣняютъ тяжелыя тучи сомнѣній мечтаній заоблачныхъ свѣтъ...» и продолжаетъ: «Уноситъ всѣ грезы и сны золотые богатый сознаніемъ умъ, и чувство любви заслоняютъ впервые толпы угнетающихъ думъ... Ты видишь вездѣ столько пошлаго, злого и столько неправды кругомъ, срывается съ устъ твоихъ молнія-слово, угрозы доносится громъ... Въ душѣ нераздѣльны въ такія мгновенья отчаянье, злоба и гнѣвъ,—ты къ роду людскому питаешь презрѣнье, на сердцѣ любовь отогрѣвъ... Но гнѣвъ отошелъ, и— иное понятно: стихаетъ волненье въ крови, и бывшихъ враговъ ты кропишь благодатно дождемъ животворной любви!..» Въ другомъ его стихотвореніи вы встрѣчаетесь съ дальнѣйшимъ художественно-поэтическимъ развитіемъ этой прочувствованной мысли: «Я не рожденъ для злобы дня, для битвы долгой и упорной, и съ суетой своею вздорной такая жизнь — не для меня!.. И вотъ, въ надзвѣздные края, въ пространство свѣтлаго эфира, за грани видимаго міра душа уносится моя...

Какъ хорошо, привольно тамъ въ безбрежномъ исчезать просторѣ, отъ сна перелетать ко снамъ, позабывать земное горе!.. Что-жъ, сердце, на призывъ мечты, летящей всюду беззаботно, не скоро поддаешься ты? Нѣтъ, сердце, ты не перелетно!... И въ этомъ сумракѣ земномъ все бьешься старою любовью, людскою обливаясь кровью, о прошломъ помнишь и родномъ! Въ порывѣ бури грозовой опавшій листъ мелькаетъ, тонетъ, а дубъ, склоняясь головой, отъ бурнаго налета стонетъ,—какъ-бы вздыхаетъ глубоко надъ облетѣвшими листами, своими цѣпкими корнями ушедши въ землю далеко»... Эти отрывки не лишены значенія и для характеристики творческой личности самого автора. Когда онъ отрѣшался отъ эпоса и переходилъ къ лирикѣ,—то, дѣйствительно, порою срывалось съ его вдохновенныхъ устъ молнія-слово, но это грозное слово скоро смѣнялось «дождемъ животворной любви». Чуткое, не перелетное, сердце поэта умѣло любить и понимать глубоко, всецѣло отдаваясь любимому и познаваемому. Потому-то и звучатъ такой неподдѣльной искренностью его проникновенныя, его одухотворяемыя огнемъ поэтической мысли, слова:

«Молюсь тебѣ, весны моей мечта,
И въ эти дни къ тебѣ одной взываю—
Людской души живая красота!..»

V.

Жизнь Садовникова была такъ-же не красна, какъ не завидна и посмертная участь. Родился Дмитрій Николаевичъ на Волгѣ, которой посвящены и лучшіе перлы его вдохновеній, въ Симбирскѣ (городѣ, давшемъ Россіи Карамзина, Дмитріева, Ден. Давыдова, Гончарова, Григоровича, Минаевыхъ). 25-го апрѣля 1847 года, въ небогатой дворянской семьѣ. Матери онъ лишился на третьемъ году отъ рож-

денія. Отецъ его, разносторонне образованный человѣкъ, принужденъ былъ нести тяжкій крестъ домашняго учителя,—почему и не могъ посвящать всего себя воспитанію сына. Будущій русскій поэтъ первые годы дѣтства провелъ у своей родной тетки (со стороны матери) Юліи Ивановны Полянской, скромной труженицы, всю жизнь отдавшей другимъ. Онъ росъ тихимъ ребенкомъ, обнаруживая необычайно раннее развитіе, заставлявшее задумываться его родныхъ: пяти лѣтъ онъ читалъ, восьми—сочинялъ стихи, а на десятомъ году настолько пристрастился къ научнымъ занятіямъ, что написалъ даже цѣлую тетрадь о «Космосѣ» (конечно, по-дѣтски наивно). Семилѣтнимъ ребенкомъ отецъ взялъ его съ собою въ деревню, гдѣ жилъ домашнимъ учителемъ въ семьѣ помѣщика Д—го, но каждый годъ проводилъ по 3, по 4 мѣсяца вмѣстѣ съ сыномъ у матери и сестры своей покойной жены. По словамъ Ю. И. Полянской, вліяніе отца было самымъ благотворнымъ для не по лѣтамъ развитого мальчика. Занимаясь съ сыномъ, онъ готовилъ его прямо въ университетъ, всесторонне обогащая воспріимчивую дѣтскую натуру. Отцу Дмитрій Николаевичъ обязанъ основательнымъ знаніемъ нѣсколькихъ иностранныхъ языковъ и страстной любовью къ литературѣ. На тринадцатомъ году оставшись круглымъ сиротою, на попеченіи Ю. И. Полянской, онъ поступилъ въ симбирскую классическую гимназію (въ четвертый классъ), гдѣ и продолжалъ свое образованіе,—но уже, конечно, не въ тѣхъ размѣрахъ, какъ предполагалъ отецъ, мечтавшій о поѣздкѣ съ нимъ, въ образовательныхъ цѣляхъ, за-границу. Не окончивъ курса гимназіи и не попавъ, по несчастной случайности, въ университетъ, Д. Н—чъ всю жизнь сознавалъ научные пробѣлы и, путемъ чтенія книгъ и самостоятельнаго изученія предметовъ университетскаго курса, блистательно пополнилъ ихъ, выступивъ во всеоружіи знаній на литературное поприще.

Съ дѣтскихъ дней полюбивъ родную Волгу, поэтъ всегда приглядывался зоркимъ взоромъ къ жизни и обычаямъ, одновременно прислушиваясь пытливымъ слухомъ къ повѣрьямъ и преданіямъ, нашего волгаря-крестьянина. Въ раннюю пору запала въ сердце богато одаренному отъ природы юношѣ счастливая мысль собрать разсѣянныя по берегамъ старой Волги произведенія изустнаго народнаго творчества. Мысль эта впослѣдствіи, въ болѣе зрѣлые годы, и была приведена имъ въ исполненіе,—когда онъ, прошелъ, что называется, вдоль и поперекъ все жегулевское побережье Волги, занося въ свою походную записную книжку «сказанія мѣстнаго слово». Результаты этой экскурсіи воплотились въ два объемистыхъ тома—«Загадки русскаго народа» и «Сказки и преданія Самарскаго края» *), могущіе поставить имя его на-ряду съ извѣстнѣйшими этнографами-собирателями. Нѣтъ сомнѣнія, что и оригинальное поэтическое творчество Д. Н. Садовникова почерпнуло—въ значительной степени — свой самобытный строй изъ того неизсякаемаго кладезя, который зовется сердцемъ народнымъ.

Въ бумагахъ покойнаго поэта остался (и до сихъ поръ остается) ненапечатаннымъ третій этнографическій трудъ—«Поволжскіе заговоры». Слѣдовало-бы Географическому Обществу, или Академіи Наукъ, обратить вниманіе на эту, быть можетъ, и не законченную, но — во всякомъ случаѣ—имѣющую свою цѣнность, работу вдохновеннаго изслѣдователя русскаго народнаго быта.

Жизнь была для поэта злой мачихою. Выросши сиротой въ чужомъ домѣ, Д. Н—чъ женился по любви на прекрасной дѣвушкѣ (Варварѣ Ивановнѣ Лазаревой) и черезъ шесть лѣтъ послѣ женитьбы остался вдовцомъ съ

*) «Сказки и преданія» были, послѣ смерти своего собирателя, изданы Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ—съ предисловіемъ Л. Н. Майкова.

тремя малолѣтками-дѣтьми, безо всякихъ опредѣленныхъ средствъ. Началась борьба за существованіе,—изъ-за которой онъ, поручивъ дѣтей попеченію своей воспитательницы, уѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ раньше живалъ только временно, наѣздомъ. Въ приневской столицѣ,—этомъ громадномъ каменномъ городѣ-спрутѣ, высасывающемъ изъ своихъ безчисленныхъ жертвъ всѣ жизненные соки,—Д. Н. Садовникова ждала жизнь литературнаго труженика—со всѣми ея невзгодами, лишеніями и случайностями. Проживъ нѣсколько лѣтъ въ Петербургѣ, онъ умеръ (неожиданно, послѣ одной изъ поѣздокъ къ дѣтямъ въ Симбирскъ),—умеръ, не успѣвъ даже издать книги своихъ стихотвореній, оставивъ ихъ разбросанными по журналамъ и газетамъ. Смерть настигла его 19-го декабря 1883 года. Еще за три-четыре дня до нея онъ былъ въ кругу своихъ друзей, велъ оживленныя бесѣды, строилъ грандіозные литературные планы. Дѣти поэта (двѣ дочери и сынъ) остались совершенно необезпеченными на рукахъ все той-же любвеобильной труженицы. Изъ дочерей—одна умерла ребенкомъ, вскорѣ вслѣдъ за отцомъ, другая (Ольга Дмитріевна)—недавно, уже будучи замужемъ (за симбирскимъ помѣщикомъ М. Н. Вернеромъ). Юлія Ивановна выростила сиротъ и съумѣла воспитать въ нихъ благоговѣніе къ памяти отца. Имя послѣдняго въ ея глазахъ было синонимомъ всего чистаго, возвышеннаго и благороднаго. Каждое письмо «покойнаго Мити», каждый забытый имъ у нея черновой набросокъ, каждая читанная имъ книга казались для нея драгоцѣнными реликвіями. Когда, во второй половинѣ восьмидесятыхъ годовъ, я начиналъ свои журнальныя скитанія и, живя въ Симбирскѣ, посѣщалъ бѣдную квартирку Ю. И. Полянской,—на меня вѣяло отъ ея разсказовъ о Д. Н. Садовниковѣ вѣяніемъ живыхъ литературныхъ преданій. Кроткая, скромная, нѣжная—она умѣла порою простымъ, отъ чистаго сердца сказаннымъ, словомъ

заронить въ душу собесѣднику многое и многое. Сама она являлась воплощеннымъ идеаломъ самоотверженной любви къ ближнимъ, ближайшими изъ которыхъ были для нея «Митины дѣтки». Святая женщина!.. При одномъ воспоминаніи о ней—какъ-то легче становится на душѣ, пробуждается въ памяти столько дорогого-незабвеннаго, начинаетъ давать ростки въ сердцѣ зерно отраднаго сознанія, что не такъ уже безпросвѣтно тёменъ нашъ больной вѣкъ, охваченный желѣзнымъ кольцомъ лжи, лицемѣрія и хищныхъ инстинктовъ,—если еще бьются въ груди человѣчества такія поистинѣ золотыя сердца.

Бьется-ли еще теперь, горитъ-ли еще неугасимымъ огнемъ любви ея сердце? Жива-ли эта добрая, милая старушка? Если нѣтъ, если она уже спитъ вѣковѣчнымъ сномъ, то—да будетъ благословенна ея память.

VI.

Литературная дѣятельность Д. Н. Садовникова началась въ 1868-мъ году, когда одно стихотвореніе его—«Первый снѣгъ»—появилось, за подписью «С—въ», въ «Иллюстрированной Газетѣ» В. Р. Зотова. Но еще раньше — въ «Сѣверной Пчелѣ» 1864 года, будучи гимназистомъ пятаго класса — онъ помѣстилъ двѣ замѣтки (за подписью «Ю. Подгоричъ»), — чего, конечно, нельзя считать началомъ его литераторскаго поприща. Появившись въ зотовскомъ журналѣ, бывшемъ для многихъ современныхъ нашихъ писателей литературной купелью, Д. Н-чъ печатался уже непрерывно. Съ этихъ поръ до послѣдняго года жизни поэтъ принималъ участіе въ сорока журналахъ и газетахъ. Его произведенія можно найти въ «Бесѣдѣ» (С. А. Юрьева), «Грамотеѣ», «Волжскомъ Вѣстникѣ», «Семьѣ и Школѣ», «Дѣтскомъ Чтеніи», «Игрушечкѣ», «Пчелѣ», «Вѣстникѣ

Европы», «Историческомъ Вѣстникѣ», «Русской Старинѣ», «Искусствѣ», «Нивѣ», «Кругозорѣ», «Всемірной Иллюстраціи», «Живописномъ Обозрѣніи», «Новомъ Времени» (ежедневномъ и еженедѣльномъ), «Свѣтѣ» (Н. П. Вагнера), «Русской Мысли», «Словѣ», «Восточномъ Обозрѣніи», «Будильникѣ», «Стрекозѣ», «Осколкахъ», «Суфлерѣ», «Огонькѣ», «Новомъ Русскомъ Базарѣ», «Вѣкѣ», «Изящной Литературѣ», «Восходѣ», «Модномъ Свѣтѣ» и нѣкоторыхъ другихъ изданіяхъ. Кромѣ своей настоящей фамиліи, Д. Н-чъ подписывался и псевдонимами; изъ нихъ мнѣ удалось собрать точныя свѣдѣнія о слѣдующихъ семи: «Жанристъ», «Д. Волжановъ», «Дм. Симбирцевъ», «Д. Полянскій», «Ю. Подгоричъ», «Пеонъ 2-й» и «Димъ» (два послѣдніе—въ юмористическихъ журналахъ). Отдѣльно изданы были изъ его произведеній, кромѣ упомянутыхъ уже выше двухъ капитальныхъ вкладовъ въ отечественную этнографію, еще сборникъ этнографическо-историческихъ очерковъ «Русскіе землепроходцы» да прозаическій переводъ «Норвежскихъ сказокъ». Стихи же, эти перлы его творчества, до сихъ поръ ждутъ своего издателя.

Являясь замѣчательнымъ русскимъ поэтомъ, Д. Н. Садовниковъ былъ одновременно и выдающимся поэтомъ-переводчикомъ. Въ этомъ отношеніи имя его должно быть поставлено рядомъ съ такими крупными силами русской переводной литературы—какъ М. И. Михайловъ, Д. Л. Михаловскій и В. С. Лихачовъ. Стихотворные переводы его прекрасно удовлетворяютъ двумъ главнымъ требованіямъ отъ поэта-переводчика: близости къ буквѣ подлинника и вѣрности красотѣ духа послѣдняго. Особенно хороши у него переводы изъ А. Терье («Малиновка», «Ласточки», «Крестьянская мыза»), Лонгфелло («На разсвѣтѣ», «Сонъ невольника», «Перелетныя птицы» и поэмы—«Эмма и Эгингардъ», напечатанная въ январьской книгѣ «Русской Мысли» за 1883 г., и «Пѣсня о Гайаватѣ»,—

изъ которой появились въ печати только отрывки), Мориса Бушора («Изъ веселыхъ пѣсенъ», «Изъ Современнаго Фауста»), Петёфи («Аистъ» и др.), Эдгара Поэ («Аннабель-Ли»), Рунеберга («Король Фьязаръ» и др.) и Байрона (Изъ «Манфреда»).

Перу Д. Н—ча принадлежатъ нѣсколько прозаическихъ разсказовъ, —изъ которыхъ наиболѣе удались автору: «Сила Ерофеичъ», помѣщенный въ «Живописномъ Обозрѣніи», «Наброски Жанриста»—въ «Огонькѣ» и «Языческіе сны русскаго народа» («Разсказы пастуха»: I. «Лѣшій».— II. «Водяной».)—въ «Дѣтскомъ Чтеніи».

Въ послѣдній годъ жизни поэтъ попробовалъ свои силы на поприщѣ литературной критики. Опытъ не былъ неудаченъ. Рядъ критическихъ этюдовъ о поэзіи—на страницахъ журнала «Искусство», за подписью «Д. Волжановъ», краснорѣчиво подтверждаетъ это. Изъ него—при благопріятныхъ условіяхъ—могла-бы выработаться далеко не заурядная критическая величина.

По смерти Д. Н. Садовникова, осталось въ его бумагахъ не мало черновыхъ стихотворныхъ набросковъ. Часть ихъ появилась за 1892-1894 годы въ печати на страницахъ «Историческаго Вѣстника» (поэма «Кума»), «Всемірной Иллюстраціи», «Игрушечки», «Труда», «Нашего Времени» («Изъ забытыхъ тетрадей», «Изъ писемъ и легендъ», «Изъ пѣсенъ о Волгѣ», «Вабунъ») и литературномъ сборникѣ «Помочь», изданномъ въ 1892 г., подъ редакціей П. В. Засодимскаго и пишущаго эти строки, въ пользу голодающихъ. Среди этихъ посмертныхъ, зачастую—неотдѣланныхъ и незаконченныхъ, стихотвореній попадаются настоящія поэтическія жемчужины и художественные бриллiанты чистой воды. Талантъ автора видѣнъ во всемъ выходившемъ изъ-подъ его пера. Отъ каждой строки вѣетъ истиннымъ вдохновеніемъ,—каждое слово забытаго пѣвца вольныхъ людей не мимо молвилось.

VII.

И все это богатство образовъ и мыслей гибнетъ для читающихъ массъ (не говоря уже о «будущемъ читателѣ») — затерянное среди журнальнаго балласта на запыленныхъ дыханіемъ времени библіотечныхъ полкахъ... А сорная трава забвенія все гуще и гуще поростаетъ вокругъ имени и созданій самобытнаго поэта...

Выходитъ безчисленное количество книгъ, порою не заслуживающихъ и сотой доли того вниманія, которое имъ оказывается и въ читающемъ, и въ пишущемъ мірѣ. Писатели пишутъ, издатели издаютъ, читатели «почитываютъ». А у покойнаго Садовникова все еще не находится издателя; нѣтъ у него и читателей.

«Ой, пора тебѣ на волю, пѣсня русская!..»

Н. Юрьинъ.

ЧЕРНИЛЬНЫЙ ЯДЪ.

РАЗСКАЗЪ.

Всѣ мы знали, что Ѳедоръ Ѳедоровичъ, даже еще до изобрѣтенія телефона, принадлежалъ къ числу закоренѣлыхъ противниковъ всякаго рода письменныхъ сношеній. На письма онъ никогда не отвѣчалъ, чернила, перья, бумагу, конверты и марки считалъ предметами, нарочно придуманными на пагубу людскую.

Однажды въ пріятельской бесѣдѣ мы пристали къ нему, чтобы онъ объяснилъ намъ причину своего отвращенія ко всякой письменности. Но на отвлеченныя разсужденія Ѳедоръ Ѳедоровичъ не былъ мастеръ, а потому на наши приставанья отвѣчалъ:

— Да ужъ извѣстно, что всѣ эти письма, записочки, цидулки и тому подобное существуютъ только для наполненія празднаго времени. Вы вотъ думаете, что, благодаря имъ, поддерживаются хорошія отношенія между людьми,— а я такъ увѣренъ, что портятся.

— Это парадоксъ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ.

— Ничуть не парадоксъ. Это истина. Да вотъ, не хотите-ли, я вамъ разскажу на этотъ счетъ одинъ назидательный случай.

Хотя изъявлять согласіе на выслушиваніе разсказовъ, длина которыхъ заранѣе неизвѣстна, вещь довольно рискованная, однако отказываться въ такихъ случаяхъ не принято. Поэтому съ нашего разрѣшенія Ѳедоръ Ѳедоровичъ началъ.

— Недавно мнѣ пришлось по дѣламъ заѣхать въ городъ Свищевскъ, въ которомъ когда-то я провелъ пять самыхъ скучныхъ лѣтъ своей жизни, и первою моею мыслью было узнать, что подѣлываетъ, какъ поживаетъ Иванъ Петровичъ Брусницынъ. Положительно могу сказать, что никогда не встрѣчалъ я болѣе мягкаго, деликатнаго, кроткаго и уступчиваго человѣка. Онъ былъ назначенъ въ Свищевскъ акцизнымъ надзирателемъ мѣсяца за три передъ моимъ отъѣздомъ оттуда, и я очень хорошо помнилъ, какъ быстро успѣлъ онъ расположить всѣхъ въ свою пользу. На всевозможныхъ торжествахъ — именинныхъ, свадебныхъ, похоронныхъ и другихъ — присутствіе Ивана Петровича считалось необходимымъ. Если составлялась партія въ винтъ и къ тремъ безпокойнымъ и сердитымъ партнерамъ нужно было подыскать четвертаго, который олицетворялъ-бы въ своей особѣ умиротворяющее начало,— можно было дать голову на отсѣченіе, что роль эта будетъ поручена Ивану Петровичу. Словомъ, припоминая первые шаги Ивана Петровича въ Свищевскѣ, я не сомнѣвался въ томъ, что теперь, когда прошло почти уже два года послѣ его водворенія въ этомъ городѣ, онъ успѣлъ съ половиною города покумиться, съ другою половиною сойтись на «брудершафтъ», и что, при одномъ упоминаніи его имени, лица всѣхъ мѣстныхъ обывателей будутъ расплываться въ пріятную улыбку.

Первый, кого мнѣ пришлось навѣстить въ городѣ, былъ исправникъ Разумниковъ. Къ нѣкоторымъ людямъ фамиліи ихъ удивительно подходятъ, — и къ числу такихъ людей принадлежалъ свищевскій исправникъ. Это былъ человѣкъ чрезвычайно разсудительный и спокойный. Никогда не приходилось мнѣ видѣть, чтобы онъ вышелъ по какому бы то ни было поводу изъ себя, такъ какъ для всего онъ находилъ естественное объясненіе, а разъ какая-нибудь вещь является неизбѣжнымъ послѣдствіемъ тѣхъ или иныхъ причинъ, разумѣется, не стоитъ изъ-за нея и волноваться. Мы мирно бесѣдовали съ нимъ впродолженіи цѣлаго часа о разныхъ дѣловыхъ вопросахъ. Но, когда я, покончивъ съ дѣлами, спросилъ Разумникова, не можетъ-ли онъ сообщить мнѣ, какъ поживаетъ нашъ общій пріятель— добрѣйшій и милѣйшій Иванъ Петровичъ, — онъ вдругъ побагровѣлъ и какимъ-то не своимъ, хриплымъ голосомъ произнесъ:

— Съ господиномъ Брусницынымъ я знакомства больше не вожу. Это—въ буквальномъ смыслѣ слова невозможный человѣкъ!..

Я не могъ придти въ себя отъ изумленія. Иванъ Петровичъ—«господинъ»! Иванъ Петровичъ—«невозможный человѣкъ»! Очевидно, тутъ вышло какое-нибудь недоразумѣніе, и эти два человѣка, какъ-будто нарочно созданные для того, чтобы крестить дѣтей другъ у друга, поссорились [illegible] ..дствіе какой-нибудь злосчастной ошибки, кото- [illegible] объяснится, и тогда снова возстановится между ними [illegible]ие.

Приставать съ нескромными разспросами къ Разумникову мнѣ не хотѣлось. Не было сомнѣнія, что исторія раздора исправника съ Брусницынымъ занимаетъ весь городъ, и что не далѣе, какъ къ вечеру этого-же дня, я буду знать всѣ подробности событія. Но отъ уѣзднаго предводителя дворянства, барона Шренка, на мой вопросъ

объ Иванѣ Петровичѣ, я опять-таки услыхалъ презрительно произнесенное сквозь зубы:

— Психопатъ! Я очень радъ, что за послѣднее время мнѣ не приходится нигдѣ съ нимъ встрѣчаться. А то прежде это былъ какой-то «непремѣнный членъ» всѣхъ здѣшнихъ сборищъ.

Предводитель совсѣмъ прищурилъ свои и безъ того маленькіе безцвѣтные глаза, повертѣлъ пальцемъ около лба и добавилъ.

— Думаю, впрочемъ, что онъ не своимъ умомъ додумывается до такихъ вещей, благодаря которымъ сдѣлался притчей во языцѣхъ. Вѣроятно, онъ поступаетъ такъ вслѣдствіе наущеній жены. Иначе я не могу объяснить себѣ такой рѣзкой метаморфозы.

У податного инспектора, у двухъ земскихъ начальниковъ, у судебнаго слѣдователя и еще у полдюжины свищевскихъ обывателей слышу то-же самое: съ Брусницынымъ они знакомства больше не водятъ, считаютъ его за вздорнаго и неуживчиваго человѣка, но, впрочемъ, обвиняютъ не столько его самого, сколько его жену, такъ какъ, судя по первымъ его шагамъ въ городѣ, трудно предположить, чтобы въ немъ таился такой большой запасъ злости и ядовитости.

Все это было очень загадочно, тѣмъ болѣе, что подробностей никто не сообщалъ, а всѣ ограничивались общими фразами. Забѣжалъ я, между прочимъ, къ своему старому благопріятелю, доктору Немвродову, и повѣдалъ ему о всѣхъ своихъ недоумѣніяхъ. Докторъ расхохотался...

— Такъ всѣ на него сердятся? Ну, да, конечно, сердятся! Ахъ, онъ чудакъ!.. Ахъ, чудакъ, чудакъ!.. Надѣлалъ себѣ столько враговъ и изъ-за чего, спрашивается?

— Но въ чемъ тутъ дѣло, Яковъ Григорьевичъ? Разскажите, ради самого Создателя!

— Могу-съ! — сказалъ докторъ. — Даже очень могу-съ.

Тѣмъ болѣе, что я и самъ попалъ въ число пострадавшихъ. Не далѣе, какъ третьяго дни, присылаетъ за мною Иванъ Петровичъ свою кухарку. Спрашиваю, что у нихъ такое,—узнаю, что барыня кашляетъ. Ну, а она кашляетъ, надо вамъ замѣтить, изъ 365 дней въ году 300. А у меня въ этотъ день какъ-разъ трудная больная, купчиха Леонова, я кухарочкѣ-то и объясняю, что вотъ, молъ, голубушка, какая исторія,—сегодня никакъ не могу, а буду завтра утромъ. Вернулся въ этотъ день домой я поздно,—случай, дѣйствительно, былъ изъ ряду вонъ трудный,—и нахожу у себя на столѣ прелюбопытный документикъ. Не угодно-ли полюбоваться?

Докторъ порылся среди разбросанныхъ по столу бумагъ и протянулъ мнѣ письмо, которое я запомнилъ почти отъ слова до слова.

«Милостивый (хотя не совсѣмъ-то скорый и правый) Государь,

«Яковъ Григорьевичъ!

«До сихъ поръ я полагалъ, что обязанность врача помогать страждущему человѣчеству. Теперь я вижу, что ошибался и что слѣдовало-бы сказать—«страждущему купечеству». Къ несчастью, природа поступила столь мало предусмотрительно, что лица другихъ сословій также бываютъ подвержены болѣзнямъ. Впрочемъ, недаромъ больные называются паціентами! Вѣдь, если память мнѣ не измѣняетъ, patientia обозначаетъ терпѣніе. И такъ—терпѣніе, терпѣніе! Хотя бываютъ случаи, что и терпѣніе лопается.

«Вашъ покорнѣйшій слуга

«И. Брусницынъ».

— Но это писалъ не онъ,—воскликнулъ я.—Это совершенно на него не похоже.

— Вотъ и я тоже говорю... Да и всѣ такъ думаютъ, что тутъ не обошлось безъ вліянія его жены.

— И что-же, видѣлись вы съ нимъ послѣ этого письма?

— Какъ-же-съ! На другой день отправился, какъ и обѣщалъ. Встрѣчаетъ, какъ ни въ чемъ не бывало, веселый такой, руки жметъ, хохочетъ, обнимаетъ. Однимъ словомъ, милѣйшій человѣкъ. И, однако, такимъ вотъ самымъ манеромъ всѣхъ разобидѣть успѣлъ.

— Какъ ему удалось исправника вывести изъ терпѣнія?

— Ухитрился-таки! Играли они въ винтъ у предсѣдателя земской управы, Ивану Петровичу замѣчательно въ этотъ разъ не везло,—проигралъ рублей около двадцати пяти. Выигралъ все почти одинъ исправникъ. У Ивана Петровича денегъ столько съ собой не оказалось, онъ и обѣщалъ прислать на другой день. Однако прошло съ недѣлю, онъ все денегъ не шлетъ. Понадобилось зачѣмъ-то исправнику послать человѣка къ Ивану Петровичу, онъ ему кстати напоминаетъ про должокъ и проситъ, если можно, заплатить. Иванъ Петровичъ деньги то послалъ, да кромѣ того записочку присовокупилъ. Пишетъ, что со стороны кого-нибудь другого напоминаніе о деньгахъ показалось-бы ему, можетъ быть, и страннымъ, но онъ ничуть не удивляется такому поступку со стороны исправника, такъ какъ онъ-де привыкъ «къ выколачиванію недоимокъ». Ну, этого нашъ исправникъ не могъ вынести!..

— Я думаю. Ну, а съ предводителемъ дворянства что такое у него вышло?

— Въ такомъ-же родѣ исторія. Приглашаетъ его нашъ баронъ, очень вѣжливо, къ себѣ для какихъ-то переговоровъ по поводу своего винокуреннаго завода. А Иванъ Петровичъ на это ему пишетъ, что, кажется, барону есть до него надобность, а не ему до барона; поэтому онъ никакъ не можетъ взять въ толкъ, почему онъ долженъ явиться къ барону, а не наоборотъ. Приэтомъ ввернулъ

что-то язвительное насчетъ «остзейскихъ замашекъ» и «баронскихъ фантазій». А вѣдь барона, вы сами знаете, ничѣмъ нельзя сильнѣе уязвить, какъ намекомъ на его прибалтійское происхожденіе. Да отчего все это васъ такъ интересуетъ?

— Просто потому, что къ Ивану Петровичу я чувствовалъ всегда большое расположеніе.

— Ну, такъ, если у васъ расположеніе это сохранилось, постарайтесь повліять на Ивана Петровича такъ, чтобы онъ поудержался на будущее время отъ подобныхъ выходокъ. Какъ вы сами видите, не всѣ относятся къ нимъ съ такимъ философическимъ спокойствіемъ, какъ вашъ покорный слуга.

Я немедленно отправился къ Брусницыну и очень удачно засталъ дома его одного. Жена пошла пить чай къ попадьѣ, съ которой дипломатическія сношенія у Брусницыныхъ не были еще прерваны. Иванъ Петровичъ очень обрадовался мнѣ и не зналъ, гдѣ посадить, чѣмъ угостить.

Я притворился, будто ничего не знаю о его ссорѣ съ кѣмъ бы то ни было изъ свищевскихъ обывателей.

— Ну, что, Иванъ Петровичъ, какъ вамъ живется здѣсь?—спрашиваю.

Сначала онъ крѣпился,—какъ видно, не хотѣлъ распространяться о своихъ столкновеніяхъ,—но потомъ его прорвало. Очень ужъ долго не было у него случая отвести съ кѣмъ-нибудь душу. Всю исторію своихъ недоразумѣній онъ мнѣ разсказалъ въ подробности и даже черновички всѣхъ писемъ досталъ и, съ видимымъ наслажденіемъ, прочелъ ихъ мнѣ. Такъ тогда мнѣ и вспомнилось, какъ въ стихотвореніи одномъ картинно изображено: «Прочтетъ, улыбнется и снова прочтетъ»... Какъ только онъ кончилъ, я сейчасъ-же ему:

— Иванъ Петровичъ! Голубчикъ! Зачѣмъ вы это дѣ-

лаете? Вы хорошій человѣкъ, да и они всѣ люди не дурные. А вѣдь вы наровите каждаго въ самое чувствительное мѣсто ударить, да побольнѣе.

На лицѣ Ивана Петровича появилась самая самодовольная улыбка.

— А вѣдь ловко у меня это выходитъ, правда?

— Ловко-то, ловко... А—съ другой стороны—какъ-будто и неловко. Ну, если вы тамъ обижены чѣмъ-нибудь или недовольны,—что-бы вамъ на словахъ объясниться! Шуточкой, какимъ-нибудь этакимъ намекомъ,—оно бы, можетъ быть, не хуже письма вашего подѣйствовало, да и отношеній къ людямъ не испортило-бы. А то вѣдь письмо, это—документъ... Это—клеймо, приложенное къ человѣку...

Иванъ Петровичъ взволновался.

— На словахъ, вы говорите? Нѣтъ-съ! На словахъ ничего у меня бы не вышло. Вотъ вы сами должны были сознаться, что въ этихъ письмахъ много меткаго... Скажу даже, безъ ложной скромности, остроумнаго. И все бы это на словахъ пропало. На словахъ у меня ничего не выйдетъ, я это ужъ знаю, а на письмѣ все очень даже хорошо выходитъ.

— Помилуйте, Иванъ Петровичъ,—говорю,—отчего-же на словахъ-то хуже все это выйдетъ?

— Говорить объ обидахъ своихъ не умѣю... Горло сейчасъ перехватываетъ, голосъ выходитъ какой-то козлиный. Ну, и кромѣ того, жалость беретъ. Увидишь у другого лицо обиженное, или огорченное, и жаль становится... Нѣтъ, на словахъ все это пропало-бы,—закончилъ онъ, похлопывая рукой по пачкѣ черновичковъ.

— Но, послушайте, Иванъ Петровичъ,—обратился я къ нему съ послѣднимъ бывшимъ у меня въ запасѣ доводомъ,—знаете-ли вы, что во всемъ винятъ вашу жену? Ей приписываютъ всѣ ваши злостныя выходки... Подумайте, какую славу вы ей создаете...

Онъ вдругъ нахмурился и, съ озабоченнымъ видомъ, сталъ ходить по комнатѣ.

— Жена?..—сказалъ онъ, наконецъ.—Что-жъ, можетъ быть, она и въ самомъ дѣлѣ тутъ не совсѣмъ непричемъ... Все возможно. Во всякомъ случаѣ, я бы могъ высказать ей кой-что по этому поводу, но мы съ ней болѣе, какъ на нѣсколько часовъ, никогда не разстаемся. Ну, и все это я долженъ таить въ себѣ, такъ какъ, къ сожалѣнію, мнѣ не приходится писать ей писемъ...

Взглядъ его принялъ мечтательный оттѣнокъ и сталъ блуждать по потолку. И мнѣ вдругъ представилось, что потолокъ является передъ его глазами въ видѣ огромнаго листа чистой бумаги, на который онъ съ наслажденіемъ вписываетъ, вписываетъ безъ конца, всѣ затаенныя обиды и невысказанныя огорченія, какія ему довелось испытать отъ жены за годы ихъ совмѣстной жизни...

— Такъ вотъ видите,—закончилъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ свое повѣствованіе,—если-бы этого зловреднаго обычая писать своимъ знакомымъ письма не существовало, считался-бы Иванъ Петровичъ смирнѣйшимъ и тишайшимъ человѣкомъ на свѣтѣ и никогда бы даже мухи не обидѣлъ... А теперь—на-поди! Полъ-города Свищевска враговъ себѣ нажилъ!..

П. Гнѣдичъ.

ЗАВѢЩАНІЕ.

КОМЕДІЯ ВЪ 4-ХЪ ДѢЙСТВІЯХЪ *).

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Алексѣй Валентиновичъ Чебышевъ.
Ида Константиновна, его племянница.
Леонидъ Ѳедоровичъ Барабинъ, его племянникъ.
Павелъ Платоновичъ Бѣломорцевъ.
Ксенія, его дочь.
Антипъ Васильевичъ Болотниковъ, присяжный повѣренный.
Анемподистъ Петровичъ Плауновъ, частный повѣренный.
Пелагея Харитоновна Лютикова, хозяйка меблированныхъ комнатъ.
Крамаренко, ученикъ Консерваторіи.
Диканскій, художникъ.
Розановъ, студентъ-медикъ.
Адольфъ Богдановичъ Хильцъ, служащій въ банкѣ.
Готлибъ Хильцъ, его отецъ.
Лакей Чебышева.
Наталья, прислуга Лютиковой.

Дѣйствіе—въ Петербургѣ. Первое и третье—у Лютиковой; второе и четвертое—въ домѣ Чебышева. Первое и второе происходитъ въ одинъ и тотъ-же день, третье—черезъ недѣлю, четвертое—на другой день послѣ третьяго.

*) Поставлена въ первый разъ на сценѣ императорскаго Малаго театра въ Москвѣ 9 декабря 1899 г.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Столовая въ квартирѣ Лютиковой. Направо отъ зрителей пустой мольбертъ. Дальше, по стѣнѣ—небольшой рояль, довольно опрятный, хорошаго тона. По стѣнѣ, что противъ публики—дверь въ корридоръ—темный, освѣщенный керосиновой лампою. Лѣвѣе—диванъ, старинный, кожаный, съ валькамн. Лѣвая сторона короткая, съ дверью, двумя стульями и небольшимъ столомъ. Посреди комнаты — четыреугольный обѣденный столъ, вокругъ—дубовые стулья. На столѣ—потухшій самоваръ, остатки масла, колбасы, ситнаго хлѣба, лимона. По стѣнамъ—овальные мѣдные медальоны съ изображеніемъ зайцевъ, тетеревовъ и прочей дичи. Утро.

I.

[КРАМАРЕНКО беретъ шумные аккорды на фортепіано, импровизируя и въ то-же время желая блеснуть смѣлостью техники. Розановъ лежитъ на диванѣ съ толстой, растрепанною книгой. Въ паузахъ, между аккордами, слышно его чтеніе. Въ открытыхъ дверяхъ показывается ЛЮТИКОВА.]

РОЗАНОВЪ [читаетъ].

«...Общая фиброзная сумочка локтевого сочлененія начинается выше блока и головчатаго возвышенія плечевой кости и обхватываетъ также переднюю и заднюю надблоковыя ямочки...»

ЛЮТИКОВА.

Это что-же за произволъ? До сихъ поръ самоваръ не убранъ? [Крамаренкѣ.] Тише, вы. Прекратите ваши упражненія. Что это такое—оглушили совсѣмъ!

КРАМАРЕНКО.

Согласно нашимъ съ вами кондиціямъ, синьора, имѣю полное право предаваться искусству еще двадцать три минуты.

РОЗАНОВЪ [засучивъ рукавъ, ощупываетъ себѣ руку].

«... И охватываетъ также переднюю и заднюю наблоковыя ямочки».

ЛЮТИКОВА [поворачиваясь къ нему].

А вы что-же въ общественной комнатѣ на диванѣ разлеглись? Входитъ дама, а вы хоть-бы ноги спустили...

РОЗАНОВЪ [спуская ноги и не отрываясь отъ книги].

Извините...

ЛЮТИКОВА.

Отчего вы не въ своемъ аппартаментѣ?

РОЗАНОВЪ.

Тамъ Наталья убираетъ... «Такъ какъ плечевая верхушка при высшей степени распрямленія предплечія упирается...»

ЛЮТИКОВА [трогая самоваръ].

Остылъ, какъ есть. Для кого вы сторожите его?

КРАМАРЕНКО [играя піано].

Слышите: ручей журчитъ по камнямъ?.. Похоже?

ЛЮТИКОВА.

Самоваръ-то, говорю, для кого бережете?

КРАМАРЕНКО.

Да, думали, Барабинъ придетъ. Онъ, не пивши чая, ушелъ.

ЛЮТИКОВА.

Что съ нимъ ночью было?

КРАМАРЕНКО.

А я почемъ знаю!

ЛЮТИКОВА [садится у стола, отрѣзаетъ ломтикъ сыра и ѣстъ].

Удивительное дѣло—вы такой равнодушный тонъ придаете всему этому, а онъ цѣльную ночь жильцамъ спать не давалъ. Такой экстазъ.

КРАМАРЕНКО.

Да, ну?

ЛЮТИКОВА.

Цѣльную ночь по комнатѣ изъ угла въ уголъ промаячилъ, точно медвѣдь бѣлый въ клѣткѣ. Дошелъ до забывчивости, что за стѣнкой спитъ дама, хозяйка. И хоть бы утромъ извиненіе принесъ.

РОЗАНОВЪ [отрываясь отъ книги].

Онъ пришелъ вчера не въ духѣ, выпилъ два графина воды. Можетъ-же человѣкъ быть не въ духѣ? Вѣдь не всѣмъ, какъ вамъ, быть рантье.

ЛЮТИКОВА.

Что онъ два графина воды выпилъ—мнѣ не жалко, а каблуками по полу стучать всетаки это довольно низкое поведеніе, и я рисовала его себѣ болѣе идеальнымъ, почитая выше всѣхъ прочихъ квартирантовъ.

КРАМАРЕНКО [продолжая тихо играть].

Фаворитъ!

ЛЮТИКОВА.

У, безстыдникъ, какъ у васъ языкъ поворачивается на такое! Ну, ужъ и сыръ у васъ тоже [отодвигаетъ тарелку], совсѣмъ казанское мыло.

КРАМАРЕНКО.

А вы бы намъ, carissima, преподнесли фунтика два честеру?

ЛЮТИКОВА [смѣясь].

Какъ-же! Такъ вотъ сейчасъ! А какое сегодня число, вы это помните? Господинъ докторъ, и къ вамъ это отношеніе имѣетъ. Слышите?

РОЗАНОВЪ [равнодушно].

Слышу.

КРАМАРЕНКО [вставая].

Grandissima! Ну, когда-же платежи производятся по праздникамъ? Подождите. Наконецъ, у насъ есть граціонныхъ три дня. Хотя, быть можетъ,—не хочу васъ тѣшить обманчивой надеждой,—быть можетъ, сегодня-же вы получите, и даже все!

ЛЮТИКОВА.

Никогда такому сюрпризу не повѣрю.

КРАМАРЕНКО [наклоняясь ей къ уху].

Нашъ Дикъ пошелъ къ одному колоніальному коммерсанту. Тотъ желаетъ, чтобы съ него написали ландшафтъ. Если сойдутся, то—очевидно—Дикъ принесетъ въ видѣ задатка нѣсколько фунтовъ стерлинговъ.

ЛЮТИКОВА.

Ха-ха! Такъ и принесъ!

КРАМАРЕНКО [слегка ее обнимая].

Divina! Я люблю, когда вы прикидываетесь меркантильной. Я знаю вашу возвышенную душу. Вы понимаете, что мы—молодежь, полная силъ и упованій на будущее! Посмо-

трите, какой цвѣтникъ, какой питомникъ лелѣете вы въ этихъ стѣнахъ. Вотъ [показываетъ на Розанова] будущій знаменитый терапевтъ, профессоръ, академикъ. Вотъ [показываетъ на себя] — будущій маэстро, божественный, несравненный, предъ которымъ лопнутъ, какъ мыльные пузыри, всѣ эти Вагнеры, Мендельсоны, Глинки. Тамъ за стѣнами сего дома, гдѣ-нибудь, шагаетъ по стогнамъ мрачный архитекторъ, Барабинъ-Растрелли или какіе тамъ еще были зодчіе? Наконецъ, портретистъ Диканскій, или просто Дикъ, или Ванъ-Дикъ, котораго повѣсятъ во всѣхъ галлереяхъ Европы. Вы только подумайте, дуэнья,—въ біографіи каждаго изъ насъ будетъ упомянуто, что таланты наши развивались подъ тихимъ и нѣжнымъ кровомъ вдовы регента Лютикова. Вы будете канонизированы въ храмѣ искусствъ. [Обнимаетъ ее.]

ЛЮТИКОВА [улыбаясь, толкаетъ его локтемъ].

Ну, васъ, шутъ гороховый!

II.

[Изъ корридора показывается ХИЛЬЦЪ, — худой, длинный, безъ рѣсницъ и бровей. Онъ въ хорошемъ драповомъ пальто, въ рукахъ новенькій цилиндръ, одна рука въ перчаткѣ.]

ХИЛЬЦЪ.

Виноватъ, я помѣшалъ?

ЛЮТИКОВА.

Куда тамъ помѣшали,—входите, входите!

КРАМАРЕНКО.

Вотъ вамъ еще жилецъ: господинъ Хильцъ. Тоже будущая знаменитость, хотя трудно опредѣлить, на какомъ

поприщѣ. Можетъ быть, это будетъ директоръ банка въ Америкѣ, можетъ быть, онъ откроетъ ссудную кассу, наконецъ, можетъ быть, онъ будетъ однимъ изъ блестящихъ культуртрегеровъ на Сахалинѣ.

ХИЛЬЦЪ [кисло улыбаясь].

Вы всегда остроумны, Крамаренко, всегда остроумны. [Къ Лютиковой.] Я ухожу на полчаса времени, Пелагея Харитоновна, и счелъ своею священною обязанностью принесть вамъ долгъ. [Подаетъ ей деньги.] Сегодня первое число, Пелагея Харитоновна, и я долженъ вамъ впередъ за мѣсяцъ.

ЛЮТИКОВА.

Очень вы всего меня обязываете. Ужъ въ такой мѣрѣ вы аккуратны, какъ пропись:—всегда я васъ въ примѣръ другимъ-прочимъ ставлю.

ХИЛЬЦЪ.

А, между тѣмъ, Пелагея Харитоновна, даю вамъ слово честнаго благороднаго человѣка, что мнѣ труднѣе, чѣмъ кому-нибудь, быть аккуратнымъ. Я не только ниоткуда не вижу подмоги...—я, быть можетъ, и не заслуживаю ея по своимъ способностямъ: я—не художникъ, не композиторъ, я — просто честный и благородный молодой человѣкъ, Пелагея Харитоновна. Не только я не вижу ниоткуда помощи, но у меня на рукахъ папашенька, несчастный, больной папашенька, которому я долженъ помогать. И вотъ, я долженъ изъ своего ограниченнаго жалованья покупать тонкое бѣлье, галстуки, заказывать платье изъ англійской матеріи, дѣлать по мѣркѣ головы цилиндръ и, наконецъ, содержать папашеньку. Мнѣ очень трудно, Пелагея Харитоновна.

КРАМАРЕНКО [аккомпанируя себѣ, поетъ].

«Да здравствуетъ Адольфъ Хильцъ, вотъ образецъ граждани—и-и-на!» Это—изъ моей будущей оперы.

ХИЛЬЦЪ.

Благодарю васъ, Крамаренко, я очень польщенъ. Да, еще хотѣлъ вамъ сказать два слова, Пелагея Харитоновна. [Отводитъ ее всторону и понижаетъ голосъ.] Если-бы пришелъ сюда безъ меня папашенька, не пускайте его. Если онъ вамъ дастъ свертокъ, или не свертокъ, а просто новыя ботинки—возьмите. Но попросите его тотчасъ-же уходить и скажите, что я самъ буду у него. Я очень несчастливъ съ нимъ, Пелагея Харитоновна. Я вамъ разсказывалъ про него. Ну, что-же, у всѣхъ свой крестъ. [Дѣлая нѣсколько шаговъ къ двери.] Такъ черезъ полчаса времени я буду дома, Пелагея Харитоновна. [Уходитъ.]

КРАМАРЕНКО.

И вы, мистрисъ, еще ставите въ примѣръ эту фаршированную селедку. Содержитъ папашеньку! Онъ принадлежитъ къ числу тѣхъ людей, у которыхъ нѣтъ папашенекъ. Они родятся такъ, какъ грибы-дождевики. Если имъ нуженъ папашенька, они его откуда-то добываютъ,—а въ большинствѣ случаевъ считаютъ родителей только лишней обузой.

ЛЮТИКОВА.

А не стыдно вамъ про островъ Сахалинъ было поминать?

КРАМАРЕНКО.

Что-же тутъ стыднаго, миледи? Онъ не изъ тѣхъ людей, что отвинчиваютъ мѣдныя ручки у замковъ. Такихъ въ кутузку сажаютъ. Нѣтъ, ужъ если онъ тяпнетъ, такъ

прямо что-нибудь съ далекой перспективой на этотъ островъ.

РОЗАНОВЪ [читаетъ].

«...Верхушка при высшей степени распрямленія...»

ЛЮТИКОВА [въ дверь направо].

Наталья, скоро ты уберешь?

ГОЛОСЪ НАТАЛЬИ.

Тутъ однихъ окурковъ на подводѣ не увезти. Сейчасъ кончаю.

ЛЮТИКОВА.

Ну, пойти къ себѣ, для праздника пасьянсъ разложить.

КРАМАРЕНКО [тихо наигрывая.]

Разложите, это очень развиваетъ умственныя способности. Гимнастика ума.

ЛЮТИКОВА.

Скажете тоже, гимнастика! Очень я васъ люблю, что вы все врете. Цѣльный день врете. Весело, по крайности, съ вами. [Уходитъ.]

РОЗАНОВЪ (лежа, опускаетъ книгу].

Знаешь, Крамаренко, я нахожу, что ты человѣкъ не современный. Ты опоздалъ родиться.

КРАМАРЕНКО [равнодушно].

Развѣ?

РОЗАНОВЪ.

Все ты сидишь, какъ въ трясинѣ, въ своей музыкѣ, и тебѣ—хоть трава не рости. Ничего тебя не волнуетъ: ни соціальные вопросы, ни экономическіе, ни научные.

Развѣ ты молодой человѣкъ? Ты точно свалился съ луны. На тебѣ кора дубовая.

КРАМАРЕНКО [поетъ на мотивъ «Русалки»].

Вотъ человѣкъ,—онъ весь обросъ корою!..

РОЗАНОВЪ.

И какъ у тебя достаетъ силъ всю жизнь улыбаться?

КРАМАРЕНКО.

Достаетъ, милочка, достаетъ, душечка. Радость моя, жизнь моя,—не хочется мнѣ нюнить. Нѣтъ у меня ни папашеньки, ни мамашеньки, ни соціальныхъ вопросовъ. [Подходитъ къ нему и садится на диванъ.] А знаешь, что у меня есть? Я слышу цѣлый день аккорды, голоса, отдѣльные тоны, хоры. Я выйду на улицу,—въ уличномъ шумѣ улавливаю гармонію, ѣду на пароходѣ—вода шумитъ и поетъ мнѣ каждый разъ что-то новое, интересное. Заблаговѣстятъ, и въ этомъ звонѣ—сотни голосовъ. Лягу спать,—и, если-бы ты зналъ, какія дивныя симфоніи я сочиняю во снѣ!

РОЗАНОВЪ.

Галлюцинатъ!

III.

[Изъ корридора входитъ ДИКАНСКІЙ, сбрасываетъ на стулъ потертое пальто и шляпу съ широкими полями. Онъ мраченъ.]

КРАМАРЕНКО.

А, Ванъ-Дикъ! Ну, какъ стерлинги?

ДИКАНСКІЙ [садясь къ столу, наливаетъ изъ чайника].

Ни одного шиллинга.

КРАМАРЕНКО.

Это подло.

РОЗАНОВЪ.

Гм! Да.

КРАМАРЕНКО.

Ненадежная фирма у колоніальнаго-то коммерсанта?

ДИКАНСКІЙ.

Пятьдесятъ рублей предложилъ за портретъ. Больше, говоритъ, не могу.

КРАМАРЕНКО.

Ну, что-же ты?

ДИКАНСКІЙ.

Ну, я показалъ ему кулакъ и ушелъ.

КРАМАРЕНКО.

Идіотъ! Вѣдь пятьдесятъ рублей—деньги.

ДИКАНСКІЙ.

Скорѣй съ голоду околѣю [рѣжетъ сыръ], чѣмъ за пятьдесятъ рублей пойду портретъ писать. Вѣдь я три недѣли с нимъ, анафемой, провожусь.

РОЗАНОВЪ [меланхолично].

Да, это грустно.

КРАМАРЕНКО.

Придется завтра что-нибудь тащить въ закладъ.

ДИКАНСКІЙ [набивая ротъ сыромъ].

Придется.

РОЗАНОВЪ.

Можетъ, Барабинъ выручитъ?

ДИКАНСКІЙ [жуя].

Едва-ли. Я думаю: онъ вѣшаться пошелъ.

КРАМАРЕНКО.

Это зачѣмъ-же?

ДИКАНСКІЙ.

Поругался опять съ дядей; по всѣмъ швамъ расползлось.

РОЗАНОВЪ [свиститъ].

Плохо дѣло. Татарина надо звать.

ДИКАНСКІЙ [дразнитъ его].

Татарина! А что ты будешь продавать татарину? Гардероба, небось, много осталось?

РОЗАНОВЪ.

Доведенъ до минимума.

ДИКАНСКІЙ.

А, между тѣмъ, внизу во фруктовомъ магазинѣ какія миноги! Боже мой, какія миноги получены!

РОЗАНОВЪ.

Ты почемъ знаешь?

ДИКАНСКІЙ.

Вчера сахаръ покупалъ,—такъ прикащикъ хвалилъ. Понимаешь—жирненькія, ровныя, какъ налитыя.

РОЗАНОВЪ.

Да не раздражай, чортъ тебя возьми!

КРАМАРЕНКО [ходя поетъ].

«Куска лишь хлѣба онъ просилъ,
И взоръ являлъ живую муку».

РОЗАНОВЪ.

Я на тебя, Дикъ, удивляюсь. У тебя розсыпи золотыя подъ ногами, Голконда, а ты даже нагнуться не хочешь. Отчего ты въ иллюстраціяхъ не работаешь?

ДИКАНСКІЙ [пьетъ чай].

Не умѣю,—да и темъ нѣтъ.

РОЗАНОВЪ.

Тема! Что такое тема? Нарисовалъ мальчика съ удочкой—вотъ тебѣ «лѣто». Мальчикъ съ салазками—«зима». Баба съ младенцемъ—«Счастливая мать». Свирѣпаго мужика нарисуй—будетъ литературный альбомъ: — «Пугачевъ изъ Капитанской дочки».

IV.

[Слѣва изъ дверей НАТАЛЬЯ—грязноватая баба съ платкомъ на головѣ. Въ рукахъ ведро, тряпка и половая щетка.]

НАТАЛЬЯ.

Самоваръ-то убирать?

ДИКАНСКІЙ.

Тащите, Наталья Абрамовна, тащите.

V.

[Въ дверяхъ корридора она встрѣчается съ ПЛАУНОВЫМЪ,—гладко выбритымъ, гладко причесаннымъ, въ очкахъ.]

ПЛАУНОВЪ [очень вѣжливо].

Скажите, голубушка, не могу-ли я видѣть Леонида Ѳедоровича Барабина?

НАТАЛЬЯ.

Охъ, чуть ведерка не плеснула. Здѣсь онъ стоитъ, а только ушедца. Пождите въ столовой: можетъ, скоро будетъ.

ПЛАУНОВЪ.

Вы говорите,—скоро будетъ?

НАТАЛЬЯ.

Надо быть, скоро.

ПЛАУНОВЪ.

Тогда будьте любезны взять мое пальто. Благодарю васъ. Такъ я, значитъ, здѣсь обожду. [Дѣлаетъ всѣмъ легкій поклонъ.]

КРАМАРЕНКО.

Мое почтеніе.

[РОЗАНОВЪ взглядываетъ на вошедшаго и молча уходитъ налѣво. ДИКАНСКІЙ, сдѣлавъ полупоклонъ, продолжаетъ ѣсть и пить. ПЛАУНОВЪ садится на свободный стулъ, противъ Диканскаго, у стола, не выпуская изъ рукъ шляпы.]

ПЛАУНОВЪ.

Изволите тоже здѣсь квартировать?

[ДИКАНСКІЙ издаетъ утвердительный звукъ.]

КРАМАРЕНКО.

Мы всѣ живемъ здѣсь, милостивый государь. Мѣсто, гдѣ вы находитесь—столовая.

ПЛАУНОВЪ.

Да, я догадался, судя по этимъ стѣннымъ изваяніямъ.

КРАМАРЕНКО.

Вы очень догадливы, милостивый государь. Но, кромѣ того, мы всѣ сюда сходимся, какъ въ каютъ-кампанію. Вотъ здѣсь мой инструментъ. Вотъ у окна—пустой мольбертъ художника Ванъ-Дика. А вотъ самъ Ванъ-Дикъ.

ПЛАУНОВЪ.

Очень пріятно. Моя фамилія Плауновъ, я частный повѣренный по дѣламъ. А съ кѣмъ честь имѣю?

КРАМАРЕНКО.

Піанистъ Крамаренко.

ПЛАУНОВЪ.

Очень пріятно. Что можетъ быть выше музыки? Музыка, по моему, величайшее и, главнѣйшимъ образомъ, тончайшее изъ искусствъ, дарованныхъ намъ небомъ.

КРАМАРЕНКО.

Виноватъ,—вы не съ какимъ-нибудь взысканіемъ къ Барабину?

ПЛАУНОВЪ.

А развѣ на него есть взысканія?

КРАМАРЕНКО.

До сихъ поръ не было.

ПЛАУНОВЪ.

Фуй, молодой человѣкъ, какъ вы меня напугали! Я считаю Леонида Ѳедоровича за чудеснѣйшаго и талантливѣйшаго человѣка, самыхъ честныхъ правилъ. И чтобы онъ довелъ себя до взысканія? Нѣтъ-съ, я по чисто семейнымъ дѣламъ, хотя и самаго неотложнаго свойства.

VI.

[Входитъ НАТАЛЬЯ, прибираетъ все со стола, снимаетъ самоваръ.]

КРАМАРЕНКО.

Но, быть можетъ, вамъ придется очень долго ожидать его. По мнѣнію Дика, онъ едва-ли вернется. Дикъ думаетъ, что онъ долженъ повѣситься.

ПЛАУНОВЪ [глядя на Диканскаго].

Что это, господинъ... Дикъ, какія у васъ предположенія? Меня просто въ жаръ кидаетъ. Какія-же у васъ основанія это предполагать?

НАТАЛЬЯ [Диканскому].

Пальто-то можно унести?

ДИКАНСКІЙ.

Берите. Основанія есть.

[НАТАЛЬЯ уходитъ, составивъ все на подносъ. Самоваръ она раньше вынесла за дверь.]

ПЛАУНОВЪ.

Будьте добры, изложите. Я имѣю честь быть повѣреннымъ его дяди и явился по серьезному дѣлу.

ДИКАНСКІЙ.

Мы товарищи по академіи. Живемъ въ одной комнатѣ. Вчера пришелъ, глаза воспалены, кулаки сжаты,—только вотъ на людей не кидается. И всю ночь не прилегъ.

ПЛАУНОВЪ.

Такъ.

ДИКАНСКІЙ.

Онъ съ дядей что-то не того...

ПЛАУНОВЪ.

Такъ-такъ! Охъ-охъ!.. Нетактичность какая въ молодыхъ людяхъ. Леониду Ѳедоровичу двадцать семь лѣтъ—и все еще учится, и все еще не установился, и все о жизни превратныя понятія имѣетъ. Все хочетъ лбомъ стѣну проломить и забываетъ, что голова его не таранъ, а стѣна то не картонная. Такъ вы изволите говорить: очень онъ былъ взволнованъ?

ДИКАНСКІЙ.

Очень. Скотина, должно быть, дядя-то его?!

ПЛАУНОВЪ.

Это достойный глубокаго уваженія человѣкъ. Вы заблуждаетесь, господинъ...

ДИКАНСКІЙ [подсказывая].

Диканскій—моя фамилія, не Ванъ-Дикъ, а Диканскій.

ПЛАУНОВЪ.

Очень радъ. Такъ вотъ, осмѣлюсь вамъ сказать, господинъ Диканскій, что вы имѣете неточныя свѣдѣнія о глубокоуважаемомъ Алексѣѣ Валентиновичѣ. Высокой души человѣкъ. Крутой, рѣзкой, но высокой! За правду на смерть пойдетъ. Натура открытая и честная.

КРАМАРЕНКО [въ дверяхъ].

Идетъ повѣшенный.

ДИКАНСКІЙ [вставая].

Вы .одинъ-на-одинъ бесѣдовать будете? Такъ я васъ оставляю.

ПЛАУНОВЪ.

Да,—дѣло конфиденціальное. Разумѣется, не желательно сору изъ избы выносить.

ДИКАНСКІЙ.

Такъ вотъ здѣсь въ столовой вашъ соръ и выкладывайте, а я къ себѣ пойду. [Идетъ и встрѣчается съ Леонидомъ.] Тебя ждутъ,—вотъ видишь, ужъ мы о тебѣ здѣсь крокодильи слезы проливали. [Уходитъ.]

VII.

[ЛЕОНИДЪ—красивый, мускулистый, движенія смѣлы и энергичны. Одѣтъ по модѣ, почти франтовато.]

ЛЕОНИДЪ.

Вы здѣсь? Не ожидалъ!

ПЛАУНОВЪ.

По порученію вашего дядюшки, осмѣлился васъ безспокоить [жметъ руку]. Дѣло очень, очень серьезное.

ЛЕОНИДЪ.

Какое серьезное? Мы всѣ дѣла съ нимъ вчера покончили.

ПЛАУНОВЪ.

Нельзя-ли дверь притворить? [Показываетъ на корридорную дверь.] Неудобно, знаете, при свидѣтеляхъ. [Смотритъ на Крамаренко].

КРАМАРЕНКО.

Ухожу, ухожу, не безпокойтесь. [Уходитъ налѣво.]

ЛЕОНИДЪ.

Онъ васъ самъ прислалъ, или, по обыкновенію, вы лжете?

ПЛАУНОВЪ [поднимая глаза къ небу].

За что терплю? Но не ропщу. Реките золъ глаголъ, реките.

ЛЕОНИДЪ.

Слушайте. Мнѣ нездоровится. Я боленъ,—нервы у меня до того натянуты, что я готовъ убить человѣка.

ПЛАУНОВЪ [качая головой].

Ай-ай-ай!..

ЛЕОНИДЪ.

Говорите скорѣй, что вамъ надо, и уходите: я спать хочу.

ПЛАУНОВЪ.

Присядьте, многоуважаемый, и возьмите на пять минутъ терпѣнія. Я уже слышалъ отъ вашихъ сожителей,—почтенные и талантливые люди,—что вы ночку не спали, провели въ разстройствѣ?

ЛЕОНИДЪ.

Да вамъ-то что за дѣло?

ПЛАУНОВЪ.

Пять минутъ, только пять минутъ терпѣнія. Сегодня, чѣмъ-свѣтъ, посылаетъ за мною вашъ глубокоуважаемый дядюшка. Я, въ сущности, располагалъ сходить къ литургіи; у меня ужъ съ дѣтства это привито: и ко всенощной, и къ литургіи каждый праздникъ. Но тутъ, вижу, дѣло серьезное. Иду. Алексѣй Валентиновичъ пожелтѣлъ весь за ночь, точно у него налетъ какой на лицѣ. Видимо, что тоже ночь провелъ безъ сна.—«Я, говоритъ, потревожилъ васъ, какъ моего повѣреннаго. Поѣзжайте, говоритъ, къ этому...» Ну, тутъ онъ нехорошее слово относительно васъ употребилъ.

ЛЕОНИДЪ [ходя по комнатѣ].

Не стѣсняйтесь, говорите.

ПЛАУНОВЪ.

Поѣзжайте, говоритъ, къ этому мерзавцу, передайте, говоритъ, ему отъ меня завѣщаніе, по которому онъ назначенъ моимъ наслѣдникомъ. За симъ взялъ это самое завѣщаніе, оторвалъ снизу подписи—и свою, и свидѣтелей, подписи скомкалъ и въ огонь, а завѣщаніе мнѣ отдалъ и потребовалъ, чтобы я немедленно исполнилъ его желаніе. [Вынимаетъ изъ кармана бумагу.] Легко-ли мнѣ, да еще въ праздникъ, являться къ вамъ съ такимъ порученіемъ, можете судить сами. Я на лѣстницѣ три раза останавливался. Не отъ одышки, нѣтъ. А потому, что сердце кровью обливалось. Никогда-бы не могъ быть судебнымъ приставомъ: ходить съ повѣстками къ несчастнымъ.

ЛЕОНИДЪ.

Бросьте вашу философію,—она мѣднаго гроша не стоитъ! Дайте-ка бумагу. [Смотритъ завѣщаніе и бросаетъ на столъ.]

ПЛАУНОВЪ.

Надо дѣйствовать, почтеннѣйшій Леонидъ Ѳедоровичъ, и немедля.

ЛЕОНИДЪ [прохаживаясь].

То-есть, какъ-же дѣйствовать?

ПЛАУНОВЪ.

Мириться съ дяденькой.

ЛЕОНИДЪ.

Никогда!

ПЛАУНОВЪ.

Драгоцѣнный мой,—да въ умѣ-ли вы? Извините за рѣзкость выраженія. Вѣдь вы знаете, что̀ по этому завѣщанію вамъ придется? Что надо подразумѣвать подъ словами: «остальное же мое состояніе въ процентныхъ бумагахъ и недвижимости?» Восемьсотъ тысячъ!

ЛЕОНИДЪ.

Ну, такъ что-же?

ПЛАУНОВЪ.

Какъ, ну такъ что-же? Вотъ сегодня Алексѣй Валентиновичъ говоритъ: я, говоритъ, его долю отдамъ на университетъ.

ЛЕОНИДЪ.

И прекрасно.

ПЛАУНОВЪ.

Какъ прекрасно, батюшка! Да зачѣмъ нашимъ университетамъ частной благотворительностью побираться? Да чѣмъ-же родственники-то хуже университетовъ? Да съ какой стати родовой капиталъ изъ своего рода упускать? Взвѣсьте это, родной мой.

ЛЕОНИДЪ.

Вы это все говорите дядѣ, а не мнѣ.

ПЛАУНОВЪ.

Эхъ, Леонидъ Ѳедоровичъ, не знаете вы дядюшку. Вѣдь ужъ коли у него въ голову засядетъ—конецъ! Тутъ одно средство—смириться.

ЛЕОНИДЪ.

Убирайтесь вы съ вашими совѣтами. Не нужно мнѣ его денегъ,—не подохну съ голоду, не безпокойтесь. Еще годъ тому назадъ я не выдержалъ его воркотни, съѣхалъ отъ него сюда, въ эту трущобу. Онъ мнѣ на смѣхъ, должно быть, давалъ пятьдесятъ рублей въ мѣсяцъ. Хорошо, что у меня на сторонѣ были работы, и я могъ жить. Вчера онъ началъ опять впутываться въ мои дѣла. Сталъ говорить, что онъ не допуститъ моей женитьбы на Ксеніи. Я ему сказалъ, что мнѣ нѣтъ ни малѣйшаго дѣла до его мнѣнія. Ну, и пошло, и пошло. Можетъ быть, и я сказалъ что-нибудь лишнее,—но въ результатѣ—онъ выгналъ меня изъ дома. А, да что объ этомъ говорить! Я къ нему не пойду, прощенія просить не буду. Коли хочетъ, пусть самъ сюда пріѣзжаетъ.

ПЛАУНОВЪ.

Нѣтъ-съ, гора къ Магомету не пойдетъ! Магометъ такъ это и понялъ и самъ пошелъ къ горѣ. Вѣдь дѣло вотъ въ чемъ, драгоцѣнный мой. Мы всѣ подъ Богомъ ходимъ, а дядюшка Алексѣй Валентиновичъ,—сами знаете,—на особомъ положеніи: коса времени, какъ Дамокловъ мечъ, виситъ надъ нимъ. Одинъ ударъ—и нѣтъ дядюшки. Докторъ вотъ говоритъ: коли будетъ въ полномъ спокойствіи, можетъ, годà протянетъ, а при малѣйшемъ волненіи—конецъ.

А посмотрите—за одну ночь что сталось съ нимъ: глаза ввалились, носъ заострился. Какъ-же вы хотите, чтобы Алексѣй Валентиновичъ къ вамъ поѣхалъ?

ЛЕОНИДЪ.

Да ничего я не хочу. Оставьте меня въ покоѣ.

ПЛАУНОВЪ.

Не могу, дорогой мой, не могу оставить. По христіанству—не могу. Я довѣренный вашего дядюшки, интересы его оберегаю,—но вижу, что, несмотря на наружную бодрость, дни его сочтены, и думаю о будущемъ. Съ родственниками онъ не въ ладахъ, кромѣ Иды Константиновны,—а между тѣмъ, умри онъ безъ завѣщанія—всѣ къ наслѣдству щупальцы протянутъ. А родственниковъ-то видимо-невидимо. Однихъ братьевъ у него было трое и у всѣхъ дѣти—такіе-же, какъ и вы, племянники. Суду дѣла нѣтъ, что съ братьями онъ былъ не въ ладахъ, а сестрицу, вашу матушку покойницу, любилъ. Раздѣлятъ вамъ каждому по законной части—и получите вы крохи. И то, ежели безъ завѣщанія. Ну, а ежели, дѣйствительно, все на университеты пойдетъ. Ежели дядинька успѣетъ до преставленія сдѣлать завѣщаніе? Тогда что?

ЛЕОНИДЪ.

Я вѣдь сказалъ вамъ, что не спалъ ночь и спать хочу.

ПЛАУНОВЪ.

Изумляете вы меня своей безчувственностью. Прямо, изумляете.

ЛЕОНИДЪ.

Да изъ-за чего вы такъ волнуетесь?

ПЛАУНОВЪ [раздраженно, но стараясь сдержаться].

Изъ-за чего? А, вотъ извольте видѣть, въ этомъ самомъ уничтоженномъ завѣщаніи, въ пятомъ пунктѣ завѣщается повѣренному Плаунову десять тысячъ. И мнѣ этотъ пунктъ былъ извѣстенъ. А съ сегодняшняго утра его нѣтъ-съ. И, Богъ вѣсть, возстановится-ли онъ въ новомъ завѣщаніи: быть можетъ, и забудутъ. А у меня двѣ дочери въ Смольномъ кончаютъ. Вотъ-съ. [Беретъ шляпу.]

ЛЕОНИДЪ.

Да, такъ вы о себѣ! Теперь ясно.

ПЛАУНОВЪ.

О себѣ, конечно, о себѣ. Я въ чужія семейныя дѣла не посмѣлъ-бы вмѣшиваться, если-бы съ самого меня шкурки не брали. [Дѣлаетъ нѣсколько шаговъ къ двери и останавливается.] Есть еще время, Леонидъ Ѳедоровичъ, ой есть еще время [возвращается]. Потомъ, я еще обращу ваше вниманіе на Иду Константиновну. Остерегайтесь!

ЛЕОНИДЪ.

Это еще что такое?

ПЛАУНОВЪ.

Ухъ,—тонкая особа, въ игольное ушко пройдетъ. Засидѣлась до этихъ лѣтъ въ дѣвицахъ—такія опасны. Опутала дядюшку. Опутала, какъ паутиной, своими христіанскими добродѣтелями. Смотрите, на завѣщаніе она большое давленіе оказать можетъ.

ЛЕОНИДЪ.

Если вы мнѣ скажете про Иду хоть одно еще слово—я васъ спущу съ лѣстницы! Ида—святая! Я чту ее и люблю, какъ старшую сестру. Это чудесная, свѣтлая душа.

ПЛАУНОВЪ.

Подведетъ васъ эта свѣтлая душа.

ЛЕОНИДЪ.

Подите вонъ!

ПЛАУНОВЪ [мягко беретъ его за руку].

Леонидъ Ѳедоровичъ, особенное ваше вниманіе обращаю на Иду Константиновну. Она главный винтъ. А вы... вы можете изъ нея веревки вить... Вѣдь она... [Понижая голосъ, наклоняется къ его уху]. Она все для васъ сдѣлаетъ.

ЛЕОНИДЪ [быстро отпрядывая отъ него].

Что?

ПЛАУНОВЪ.

Повѣрьте старческому оку. Все-съ! Пожелайте только... А вліяніе ея на дядюшку неимовѣрное...

ЛЕОНИДЪ.

Уходите, уходите сейчасъ-же... [Берется за спинку стула.] Иначе...

VIII.

ДИКАНСКІЙ [просовываетъ голову изъ корридора].

Тамъ тебя дама спрашиваетъ. Можно войти ей?..

ЛЕОНИДЪ.

Что такое?

IX.

[Входитъ ИДА, въ кофточкѣ, съ маленькой муфтой. Одѣта просто, но элегантно. Она видимо взволнована.]

ПЛАУНОВЪ.

А вотъ, легка на поминѣ! Глубокоуважаемая Ида Константиновна. [Цѣлуетъ руку.] Не имѣлъ счастія сегодня вамъ добраго утра сказать.

ИДА [здороваясь съ Леонидомъ].

Тебѣ передалъ онъ завѣщаніе?

ЛЕОНИДЪ.

Да, вотъ! [Показываетъ на столъ.]

ПЛАУНОВЪ.

Ида Константиновна, драгоцѣнная моя, уговорите вашего кузена къ дяденькѣ пойти. Вашъ языкъ сладкорѣчивѣе моего. Вѣдь надо этотъ инцидентъ исчерпать.

ИДА.

Я и пріѣхала съ нимъ поговорить.

ПЛАУНОВЪ.

Вотъ и поговорите. А я мѣшать не буду. [Цѣлуетъ руку.] Мое почтеніе! [Тихо Леониду.] Обратите вниманіе на то, что сказалъ вамъ. [Громко.] До свиданья. Дай вамъ Господь договориться до всего хорошаго. [Уходитъ.]

ИДА.

Послушай, что такое произошло вчера? Я до сихъ поръ придти въ себя не могу. Помнишь-ли ты, что̀ ты наговорилъ старику?

ЛЕОНИДЪ.

Не помню и помнить не хочу.

ИДА.

Я думала, что онъ умретъ ночью, такіе съ нимъ были припадки удушья. Докторъ сказалъ, что, если еще разъ это повторится—конецъ!

ЛЕОНИДЪ.

Ну, а что онъ меня выгналъ вонъ,—ты это помнишь?

ИДА.

Лёня, да развѣ можно было тебя не выгнать, послѣ того, что ты ему наговорилъ? Особенно, при вашихъ характерахъ. Вѣдь ты знаешь нашу наслѣдственную вспыльчивость.

ЛЕОНИДЪ.

Ну, ты умѣешь прятать, когда надо, свой характеръ въ карманъ.

ИДА.

Да, потому что я люблю его. А когда любишь, готова поступиться многимъ, иногда всѣмъ. И онъ тебя любитъ.—Только нельзя забывать, что онъ живетъ, каждую минуту ожидая смерти. Онъ встаетъ съ постели и не знаетъ, ляжетъ-ли въ нее вечеромъ. Его все раздражаетъ. На него надо смотрѣть, какъ на несчастнаго, приговореннаго къ смертной казни. Какъ у тебя хватаетъ духу ему перечить?

ЛЕОНИДЪ.

Зачѣмъ-же онъ путается въ мои дѣла? Какое ему дѣло до моей свадьбы съ Ксеніей?

ИДА.

Онъ не вѣритъ, что ты ее любишь.

ЛЕОНИДЪ.

Почему-же онъ не вѣритъ! Я люблю Ксенію, я люблю ее и женюсь на ней, хотя-бы всѣ дяди и тетки меня прокляли.

[Ида, опустивъ глаза, гладитъ муфточку.]

ЛЕОНИДЪ [послѣ небольшой паузы].

Ты тоже этому не вѣришь?

ИДА.

Да вѣдь ты-же не завтра женишься на ней, а послѣ академическаго конкурса. Для чего-же заводить ссоры? Если старикъ умретъ послѣ свиданія съ тобой,—въ—родѣ вашего вчерашняго,—на твою-же совѣсть это ляжетъ... Онъ разорвалъ это завѣщаніе—и теперь притихъ. Ему жалко тебя. Приди къ нему—я васъ помирю.

[ЛЕОНИДЪ молча садится на стулъ. Она подходитъ къ нему и кладетъ руку на плечо.]

ИДА.

Лёня, прошу тебя, сдѣлай это.

ЛЕОНИДЪ.

Послѣ того, какъ онъ кричалъ, чтобъ я не смѣлъ переступить его порога? Послѣ того, какъ онъ прислалъ сказать съ этимъ сутягой Плауновымъ, что я мерзавецъ? Не нужно мнѣ его денегъ, ничего не нужно!

ИДА [гладя ему волосы].

Я не о деньгахъ,—Лёня; Богъ съ ними съ деньгами! А не надо вражды. Особенно передъ смертью. Смерть

должна примирять, а не разъединять. [Наклоняется и цѣлуетъ его въ лобъ.] Лёня, ты выросъ у меня на глазахъ, было время, когда ты слушался меня во всемъ. Послушайся послѣдній разъ. [Тихонько опускается на колѣни у его стула.] Это нужно сдѣлать. Откинь все дурное, что осталось на твоей душѣ, забудь свою обиду, приди къ нему и протяни руку. Ему осталось жить на землѣ не дни, а часы, быть можетъ. Придешь?

ЛЕОНИДЪ [послѣ борьбы].

Хорошо!

ИДА [быстро вставая].

Спасибо, Лёня,—вотъ это честно съ твоей стороны. Смотри-же, я жду. Ахъ, если-бы ты зналъ, что я за ночь провела. Мнѣ все казалось, что онъ умретъ, и что вы разстались навсегда, затаивъ другъ противъ друга вражду. Страшно это, Лёня, страшно! Вѣдь ты пойми:—человѣкъ навсегда уходитъ въ какую-то невѣдомую намъ даль. И никакими силами ты не дашь ему знать, что примирился съ нимъ, что хочешь его прощенія и самъ за все прощаешь. Ужъ вы навсегда разъединены. И навсегда осталась эта ужасная тяжесть взаимной обиды—и у тебя, и у него, если только въ душѣ осталось сознаніе о землѣ.

ЛЕОНИДЪ [ласково беретъ её за руку].

Ты мистикъ, Ида.

ИДА.

Какой я мистикъ! Я только ненавижу вражду. Неужели нельзя жить всѣмъ мирно и спокойно. Работать, дѣлать свое дѣло, любить другъ друга. Я все готова вынести, но злобы, ненависти къ людямъ—не могу простить. Почему я не люблю Плаунова? Мнѣ кажется, что онъ всѣхъ ненавидитъ:—смотритъ изъ-подъ своихъ очковъ, какъ бы

раздуть гдѣ ссору, да въ мутной водѣ рыбу половить... Ну, прощай, я вѣдь на одну минутку къ тебѣ... Да! Вчера я не успѣла тебѣ отдать твои пятьдесять рублей. [Вынимаетъ изъ муфты портъ-моне.] Сегодня первое число. [Считаетъ золото.] Вотъ пятнадцать, пятнадцать...

ЛЕОНИДЪ [встаетъ съ улыбкой].

Какая ты хорошая, Ида. Не надо мнѣ денегъ. Вѣдь ты свои мнѣ даешь?

ИДА [покраснѣвъ].

Почему-же свои? Нѣтъ, ты изъ расходныхъ денегъ всегда получалъ...

ЛЕОНИДЪ [отводя ея руку].

Не надо, не надо.

ИДА.

Какъ не надо? Я знаю, ты перваго платишь за квартиру. Я вотъ здѣсь на столъ положу. [Торопливо.] Ну, досвиданья. Я на минуту боюсь его оставить. Такъ я тебя жду — и чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше. [Протягиваетъ руку.] А дядю я подготовлю. Помни, ты здоровье и жизнь ему принесешь. До свиданья, милый, до скораго. Не провожай, не надо... [Уходитъ. Онъ идетъ до двери. Лѣвая дверь отворяется, входитъ КРАМАРЕНКО.]

X.

КРАМАРЕНКО [смотря на монеты на столѣ].

Чеканка 97-го года. Сумма почтенная. Половины довольно, чтобъ заткнуть пасть Левіаѳана.

ЛЕОНИДЪ.

Не трогай, пожалуйста!

КРАМАРЕНКО.

Я нашему кассиру отдамъ. [Кричитъ въ корридоръ.] Дикъ! Ванъ-Дикъ! Иди сюда! Брось мазню. Иди! Дѣло!

XI.

ДИКАНСКІЙ [въ блузѣ, съ недовольнымъ видомъ, застрѣваетъ въ дверяхъ].

Чего еще понадобилось?

КРАМАРЕНКО [показывая на столъ].

Видѣлъ золотыя розсыпи? Это твоего сожителя. Забирай.

ДИКАНСКІЙ [прищуря одинъ глазъ, смотритъ на деньги].

Пять фунтовъ съ шиллингами.

КРАМАРЕНКО.

Надѣюсь, миноги будутъ?

ДИКАНСКІЙ [подмигивая].

Слушай, зодчій. Я беру отсюда тридцать. Съ хозяйкой учиню разсчетъ, на остальные—Лукулловское пиршество. А эти двадцать—чортъ съ тобой—бери!

КРАМАРЕНКО [въ дверяхъ налѣво].

Розановъ,—фонды поднялись! Золотой дождь пошелъ!

XII.

РОЗАНОВЪ [высовываясь].

Гдѣ?

КРАМАРЕНКО.

Гдѣ? Теперь въ карманѣ у Дика. Сейчасъ онъ направляется въ фруктовый магазинъ за ананасами и бананами.

РОЗАНОВЪ.

Погоди, Дикъ, не ходи безъ меня. У меня тамъ намѣчена копченая рыбка. [Быстро скрывается въ свою дверь.]

ДИКАНСКІЙ.

Чего-же ты трагическую маску изображаешь? Все еще о петлѣ думаешь?

ЛЕОНИДЪ [взявшись за голову].

Гдѣ мой характеръ! Гдѣ мой характеръ!

XIII.

РОЗАНОВЪ [въ форменной фуражкѣ, быстро надѣваетъ пальто].

Готово.

ДИКАНСКІЙ.

Я сейчасъ. [Скрывается въ корридорѣ.]

РОЗАНОВЪ.

Покажи-ка, Крамаренко, свою кисть, у тебя, должно быть, фаланги хорошо развиты.

КРАМАРЕНКО.

Какія фаланги?

РОЗАНОВЪ.

А вотъ пальцы. Такъ! Здѣсь кости запястья...

КРАМАРЕНКО.

Пошелъ ты, надоѣлъ! [Вырываетъ руку.]

XIV.

ДИКАНСКІЙ [выставляясь въ шляпѣ изъ дверей].

Я пошелъ.

РОЗАНОВЪ.

Иду! [Идетъ за нимъ.]

КРАМАРЕНКО [вслѣдъ имъ].

Недурно-бы маринованаго чего...

ДИКАНСКІЙ [возвращаясь, таинственнымъ шепотомъ изъ двери].

Опять къ тебѣ дамочка, и хорошенькая! [Исчезаетъ.]

КРАМАРЕНКО.

Этакій Адонисъ! Если и у этой можно занять, больше бери.

ЛЕОНИДЪ [смотритъ въ корридоръ].

Ксенія! [Крамаренкѣ]. Уходи, пожалуйста!

КРАМАРЕНКО.

Ладно, ладно! [Галантно кланяется Ксеніи и уходитъ въ лѣвую дверь.]

XV.

КСЕНІЯ [тоже взволнованная].

Что такое? Что случилось?

ЛЕОНИДЪ.

Боже мой! Вѣдь это смѣшно, наконецъ. Что случилось! Ничего не случилось! Чего вы всѣ переполошились!

КСЕНІЯ.

Вамъ дядя отказалъ отъ дома?

ЛЕОНИДЪ.

Ха-ха! Отказалъ отъ дома! Я, другъ мой, не гувернантка, которой можно отказать и не отказать. Это наше семейное дѣло, — вы не безпокойтесь: это васъ не касается. [Беретъ ее за руку.] Успокойтесь, вы дрожите вся.

КСЕНІЯ.

Вотъ посмотрите. Папа получилъ сегодня отъ вашего дяди письмо. Прочтите. Это ужасно, ужасно.

ЛЕОНИДЪ [пробѣгая письмо].

Вотъ оно что!.. «Я разорвалъ все съ Леонидомъ. Предупреждаю васъ объ этомъ. Всегда я былъ противъ того, чтобы дочь ваша выходила за него, и еще разъ вамъ говорю...» Что-же вашъ отецъ на это?

КСЕНІЯ.

Папу это такъ поразило, онъ такъ поблѣднѣлъ.

ЛЕОНИДЪ [усмѣхаясь].

Что-же ужъ такъ особенно поражаться?

КСЕНІЯ.

Я не знаю, что съ нимъ такое... Но онъ вдругъ сталъ такой жалкій и безпомощный...

ЛЕОНИДЪ [беретъ ее за обѣ руки].

Скажите лучше, какъ вы отнеслись къ нашей ссорѣ? Это гораздо интереснѣе.

КСЕНІЯ.

Что-же я,—вы знаете какъ я люблю васъ. Я ничего не понимаю. Я боюсь, когда ссорятся, возвышаютъ голосъ, ходятъ большими шагами. А дядя, вѣрно, на васъ кричалъ и топалъ. Вы сами называли меня куколкой. Что-же дѣлать, если я куколка.

ЛЕОНИДЪ.

Радость моя, знаю, что вы—маленькая фарфоровая куколка. Такъ вотъ, мнѣ и важно теперь, очень важно знать — что моя куколка скажетъ? Все-ли ей равно: бѣдны мы будемъ, или богаты? Хочетъ-ли она жить здѣсь, въ своемъ домѣ, кататься въ модныхъ колясках, или согласится блуждать съ бѣднымъ архитекторомъ по старымъ итальянскимъ церквамъ, жить, какъ подобаетъ богемѣ, то въ Равеннѣ, то въ Венеціи, то въ Палермо. И потомъ пріѣхать сюда, занять квартирку въ пятомъ этажѣ и постепенно, шагъ за шагомъ, отвоевывать себѣ мѣсто, завоевывать положеніе. И многому надо идти навстрѣчу, моя радость,—и лишеніямъ, и болѣзнямъ...

КСЕНІЯ [прижимаясь къ нему].

Ты пугаешь меня, не говори такъ. Что-же, мы совсѣмъ будемъ, какъ нищіе?

ЛЕОНИДЪ [смѣясь].

Нѣтъ, не совсѣмъ. Я же тебѣ говорю — мы поживемъ три года заграницей. Но мы не будемъ останавливаться въ большихъ отеляхъ, обѣдать съ англичанами, а будемъ ходить куда-нибудь въ маленькія остеріи. Поживемъ подъ горячимъ солнцемъ новой жизнью, такъ далеко отъ этой, отъ нашей. Будемъ бродить по Помпеѣ, по тѣмъ улицамъ, по которымъ ходили современники Августа и

Тиверія, будемъ питаться апельсинами и макаронами,—а иногда одной яичницей. Но зато мы всегда будемъ веселы; и за обѣдомъ будемъ слушать, какъ говорятъ вокругъ:—«хорошенькая жёнка у этого русскаго, особенно глазенки—свѣтлые, дѣтскіе, чудесные...» А здѣсь—пускай все идетъ своимъ чередомъ... Пусть люди живутъ, умираютъ, завѣщаютъ кому хотятъ свои состоянія. Такъ какъ-же—что скажетъ куколка?

КСЕНІЯ.

Лёничка, нѣтъ у меня своей воли. Я—я сказала, что принадлежу тебѣ, и назадъ этого слова не возьму. Я и папѣ сказала, что иначе, какъ за тебя, ни за кого замужъ не выйду, скорѣе умру, и папа это знаетъ. Если хочешь, будемъ жить, какъ ты говоришь: ходить по этимъ гадкимъ остеріямъ, ѣсть макароны... Съ тобой я на все согласна. А только я тебѣ прямо скажу: мнѣ бы больше хотѣлось остаться здѣсь, жить съ папой, жить въ своемъ домѣ, кататься... [Быстро.] Но, если этого нельзя, такъ и не надо, не надо, я ни слова болѣе не скажу... Не сердись...

ЛЕОНИДЪ.

А папа твой знаетъ, что ты здѣсь?

КСЕНІЯ.

Что ты! Я ему не сказала. Онъ оставилъ у меня это письмо, самъ уѣхалъ,—я скорѣе на извощика и—къ тебѣ. Вѣдь я въ первый разъ у тебя. [Оглядываясь.] Ты здѣсь живешь?

ЛЕОНИДЪ.

Нѣтъ, это общая комната. Не хорошо, зачѣмъ ты отцу не сказала, что ты сюда поѣхала?

XVI.

[ХИЛЬЦЪ показывается въ дверяхъ корридора, онъ по-прежнему въ пальто.]

КСЕНІЯ.

Папа не пустилъ-бы меня къ тебѣ. Онъ разстроенъ, такъ разстроенъ письмомъ твоего дяди.

[ХИЛЬЦЪ скрывается за полуотворенную дверь.]

ЛЕОНИДЪ.

Куколка моя! [Цѣлуетъ ей руку.] Я счастливъ тѣмъ, что ты понимаешь меня. Я иду противъ дяди, разрываю все,— и съ одной тобой, голубкой моей, хочу улетѣть отсюда. Скажи мнѣ теперь, дай мнѣ слово, что, если даже отецъ твой будетъ противъ,—всетаки ты уйдешь, если нужно, бросишь его, хотя-бы я былъ нищимъ, — обвѣнчаешься со мной и уѣдешь? Такъ вѣдь?

КСЕНІЯ.

Чего ты требуешь отъ меня!

ЛЕОНИДЪ.

Безъ твоего слова, безъ твоего согласія я не могу дѣйствовать. Скажи мнѣ «да», и я смѣло и открыто пойду противъ всего. Ну, что-же? Что ты молчишь?

КСЕНІЯ [едва слышно].

Да! [Кладетъ голову ему на плечо. ХИЛЬЦЪ намѣренно стучитъ и возится у двери.]

ЛЕОНИДЪ [слегка отстраняя ее].

Идутъ. Досвиданья. Я скоро все разрѣшу. Завтра я буду у васъ. Такъ помните ваше слово.

ХИЛЬЦЪ [показывается въ дверяхъ].

Виноватъ,—Пелагеи Харитоновны нѣтъ здѣсь? [Почтительно кланяется Ксеніи.]

ЛЕОНИДЪ.

Вы видите, что нѣтъ. И такъ, я надѣюсь, Ксенія Павловна?

КСЕНІЯ.

Я сказала. Да! [Идетъ къ двери, ЛЕОНИДЪ её провожаетъ.]

ХИЛЬЦЪ [смотритъ на двери].

Глазки въ слезахъ, никого не узнаетъ! Согласна бросить отца, выйти замужъ хоть-бы за нищаго? Ну, это мы еще посмотримъ!.. Еще бабушка сказала на-двое...

XVII.

ЛЕОНИДЪ [возвращаясь].

Вы подслушивали?

ХИЛЬЦЪ.

Зачѣмъ? У меня дѣла съ папашенькой Ксеніи Павловны, а съ самой Ксеніей Павловной у меня никакихъ дѣлъ нѣтъ. Здравствуйте, Леонидъ Ѳедоровичъ,—мы сегодня еще съ вами не здоровались.

ЛЕОНИДЪ [небрежно протягиваетъ руку].

Здравствуйте.

ХИЛЬЦЪ.

Какое презрительное рукопожатіе! Что значитъ быть незначительнымъ служащимъ въ банкѣ. И что значитъ быть богачомъ и домовладѣльцемъ.

ЛЕОНИДЪ.

Я не богачъ и не домовладѣлецъ, я—бѣднѣе васъ.

ХИЛЬЦЪ.

Впрочемъ, да, да,—вы не-въ-ладахъ съ дядюшкой. Сейчасъ я встрѣтилъ господина Плаунова,—онъ говорилъ мнѣ. Очень грустно, очень грустно.

ЛЕОНИДЪ [шагая по комнатѣ].

Ужъ хоть вы-то не сожалѣйте меня!

ХИЛЬЦЪ [улыбаясь].

Я такъ ничтоженъ, что мое сожалѣніе оскорбляетъ васъ? А я бы вамъ совѣтывалъ, Леонидъ Ѳедоровичъ, не пренебрегать мной. Муравей—насѣкомое маленькое, но иногда пребольно кусается.

ЛЕОНИДЪ.

Это вы меня кусать собрались?

ХИЛЬЦЪ.

Вы забываете, что я ежедневно шесть часовъ подрядъ сижу въ банкѣ вмѣстѣ съ Павломъ Платоновичемъ. Лучше и ближе меня никто его не знаетъ. Я могу быть вамъ полезенъ.

ЛЕОНИДЪ.

Благодарю васъ. Ничьей помощи мнѣ не нужно. А только я предупреждаю васъ:—не смѣйте становиться мнѣ на дорогѣ. Не улыбайтесь, я не изъ трусливыхъ. Я муравьевъ не боюсь, а если увижу, что онъ хочетъ укусить, такъ вѣдь не постѣснюсь и раздавить его.

ХИЛЬЦЪ [вздернувъ голову].

И такъ, вы объявляете войну?

ЛЕОНИДЪ.

Войну съ муравьями! Ха-ха! [Идетъ къ двери.]

ХИЛЬЦЪ [смотря ему вслѣдъ].

То, что вы принимаете за муравьевъ, быть можетъ, что-нибудь въ-родѣ скорпіона или тарантула!

[ДИКАНСКІЙ и РОЗАНОВЪ входятъ въ верхнихъ платьяхъ, съ пакетами.]

ЗАНАВѢСЪ.

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Кабинетъ Чебышева. Тисненыя обои подъ кордовскую кожу. Рѣзной потолокъ. Задняя стѣна—четыре сплошныхъ (безъ переплетовъ) зеркальныхъ окна. Черезъ нихъ виденъ фасадъ противуположнаго дома и верхняя часть уличнаго фонаря. Налѣво, на первомъ планѣ, топится каминъ. На каминѣ — часы и бронза. Передъ нимъ — три глубокихъ кресла и низенькій столикъ. За каминомъ — стеклянная дверь, далѣе — стѣна, сплошь увѣшанная картинами, какъ въ музеѣ. Подъ ними — низенькое бюро. Направо на авансценѣ — диванъ по стѣнѣ; непосредственно надъ его спинкой двѣ акварели: испанскій жанръ и батальная сцена. Выше большая картина масляными красками—лѣсной пейзажъ. Другой диванъ стоитъ подъ прямымъ угломъ къ первому. Передъ нимъ—низкій столъ. За нимъ — ширмы, за ширмами входная дверь; далѣе двери — книжный шкапъ во всю стѣну вплоть до окна. Въ глубинѣ сцены параллельно окнамъ, отступя отъ нихъ аршина три—огромный письменный столъ. Сумерки.

I.

[ЧЕБЫШЕВЪ—сѣдой старикъ, съ длинной бородой, въ шлафрокѣ, ходитъ. ИДА работаетъ на диванѣ направо. Передъ ней свѣча подъ цвѣтнымъ абажуромъ.]

ИДА.

Вѣдь вамъ докторъ сказалъ, что вы должны меньше говорить. А вы все время говорите и волнуетесь.

ЧЕВЫШЕВЪ.

Твой докторъ принимаетъ меня за грибъ, который обреченъ торчать на своей кочкѣ. Я всю жизнь двигался, волновался, кричалъ, ссорился, но никогда не сидѣлъ на мѣстѣ. Скажи, пожалуйста: за какимъ чортомъ я отправилъ Бѣломорцеву это дурацкое письмо? Ночью мнѣ пришло въ голову:—дай сдѣлаю какую-нибудь гадость Леониду. И вотъ, я пишу письмо, посылаю его, какъ-будто, дѣйствительно, оно нужно кому-нибудь. [Ходитъ.] Сколько вообще я написалъ такихъ нелѣпыхъ писемъ! Дорого бы я далъ, чтобы половина изъ нихъ не существовала. Вся жизнь—подъ вліяніемъ вспышекъ минуты. И вотъ, теперь подъ старость, иногда ночью, во время безсонницы, нѣтъ-нѣтъ,—и нахлынетъ рядъ такихъ воспоминаній, которыя съ удовольствіемъ я бы стеръ, выкинулъ изъ памяти.

ИДА.

Развѣ васъ упрекаетъ въ чемъ-нибудь совѣсть?

ЧЕВЫШЕВЪ.

Нѣтъ, не то. Я всегда чувствовалъ наслажденіе въ томъ, что оскорблялъ людей. Людей равныхъ себѣ и людей сильныхъ. Но никогда не тѣхъ, кто были ниже, слабѣе. Помню, какъ при мнѣ отецъ приказывалъ драть на конюшнѣ дворовыхъ. Мать собственноручно била горничныхъ. Били и насъ, дѣтей... Я помню, какъ однажды отецъ отстегалъ такъ брата Константина — твоего отца — что его еле отпоили потомъ. И мнѣ никогда не было жалко ни себя, ни братьевъ. А когда понапрасну наказывали дворовыхъ, я забивался въ бурьянъ и ревѣлъ, какъ дѣвчонка. Меня отдали въ гимназію, но оттуда выгнали за дерзости учителямъ. И всетаки я поступилъ въ университетъ — былъ тогда такой камеральный факультетъ, который отли-

ИДА.

Пожалуйста. Я возьму, не откажусь.

ЧЕБЫШЕВЪ [ходя].

И нужны-ли еще всѣ эти школы, чортъ ихъ знаетъ! Кажется, мы совсѣмъ не тому учимъ, чему надо. Да и больницы тоже:—я думаю, нашего мужика нужно лѣчить только муравьинымъ спиртомъ, а вонъ лѣкарь выписываетъ бромистый калій; онъ думаетъ ихъ бромомъ пронять! Ну, богадѣльня—другое дѣло: сарай для склада старья. Это заведеніе можно расширить. [Горячо.] А то-ли можно сдѣлать съ моимъ состояніемъ! Какъ бы можно было правильно и хорошо его распредѣлить, еслибъ другой кто былъ на моемъ мѣстѣ!

II.

ЛАКЕЙ [справа].

Анемподистъ Петровичъ [пропускаетъ его мимо себя].

ПЛАУНОВЪ.

Вторично сегодня свидѣться Господь привелъ. Заѣхалъ о здравіи справиться. Какъ чувствовать изволите? Мое почтеніе, Ида Константиновна. [Цѣлуетъ руку.] Ну, какъ, Алексѣй Константиновичъ?

ЧЕБЫШЕВЪ.

Да вотъ не умеръ, какъ видите.

ПЛАУНОВЪ.

Ну, очень радъ, душевно радъ. Передалъ я, согласно вашему приказанію, завѣщаніе ваше племяннику.

ЧЕБЫШЕВЪ.

Что-же онъ вамъ сказалъ?

ПЛАУНОВЪ.

Относительно моихъ убѣжденій остался непреклоннымъ; можетъ быть, вотъ Ида Константиновна одержала побѣду своимъ женскимъ обаяніемъ? Со мною онъ обошелся даже грубо.

ЧЕБЫШЕВЪ.

Я думаю.

ПЛАУНОВЪ.

Но я, конечно, не въ обидѣ.

ЧЕБЫШЕВЪ.

Ну, конечно.

ПЛАУНОВЪ.

По моему званію юриста, многое приходится видѣть, слышать и выносить.

ЧЕБЫШЕВЪ.

Скверное званіе!

ПЛАУНОВЪ.

Какъ это вы такъ огуломъ?

ЧЕБЫШЕВЪ.

Такъ-съ, именно, огуломъ. Правосудіе—вещь хорошая, а вотъ вы стряпчіе — прескверная вещь. Вѣдь вы кого угодно въ грязи вываляете.

ПЛАУНОВЪ [вздохнувъ].

Оно точно-съ: страшное дѣло — это правосудіе! Нѣтъ въ мірѣ человѣка, котораго нельзя бы сейчасъ подъ уголовщину подвести. Премудро устроено! Чистъ человѣкъ,

даже какъ-будто сіяніе отъ этой чистоты исходитъ, — а коли подумать, пощупать хорошенько, смотришь, и онъ на крючокъ, какъ рыбка малая, идетъ.

ЧЕБЫШЕВЪ.

Фа! Мерзость какая.

ПЛАУНОВЪ.

Но вѣдь никто-же не препятствуетъ противустать такому давленію? Противъ тебя мину, а ты подъ мину—камуфлетъ. Если не защищаться, лапки сложить и смиренно конца ждать,—тогда, конечно, живьемъ проглотятъ... Ну, а если ощетиниться, еще тогда неизвѣстно: кто — кого. Вотъ вы говорите—скверное званіе. А сколько невинныхъ мы извлекли изъ смрада и грязи подозрѣній! Вѣрите-ли, бывали случаи въ жизни, когда засыпаешь и благодаришь Творца, что онъ содѣлалъ тебя орудіемъ своей благости и помогъ совершить актъ правды...

ЧЕБЫШЕВЪ.

Ну, больше, я думаю, актовъ неправды.

ПЛАУНОВЪ.

Мрачно смотрите, Алексѣй Валентиновичъ, на міръ. Ну-съ, а я вотъ зачѣмъ пріѣхалъ. Ввиду того, что сегодня утромъ вы изволили предать уничтоженію ваше духовное завѣщаніе, вы, несомнѣнно, пожелаете замѣнить его новымъ. Такъ, быть можетъ, могу я быть вамъ полезнымъ относительно самой формы и прочее?..

ЧЕБЫШЕВЪ [племянницѣ].

А вѣдь онъ трусить, что я внезапно умру и забуду его долей распорядиться!

ПЛАУНОВЪ.

Ну вотъ, ужъ вы сейчасъ. Что-же я за воронъ? Сами меня упрекаете въ нечистыхъ помыслахъ, а что̀ говорите!.. Я почелъ только долгомъ вамъ напомнить.

ЧЕБЫШЕВЪ.

Опоздали. [Смотритъ на каминные часы. Идѣ.] Дай мнѣ порошокъ.

ПЛАУНОВЪ.

Въ какомъ смыслѣ опоздалъ?

[ИДА уходитъ.]

ЧЕБЫШЕВЪ.

Въ такомъ. Завѣщаніе сдѣлано сегодня передъ обѣдомъ.

ПЛАУНОВЪ.

Двухъ свидѣтелей надо, а лучше трехъ.

ЧЕБЫШЕВЪ.

Трое и подписались.

ПЛАУНОВЪ.

И православные все?

ЧЕБЫШЕВЪ.

Православные.

ПЛАУНОВЪ [отирая платкомъ лобъ и шею].

Чрезвычайно пріятно, чрезвычайно пріятно. И что-же, все на университеты?

ЧЕБЫШЕВЪ.

Да не будьте вы бабой! [Дразнитъ его.] Все на университеты? Ну, не всё-ли вамъ равно—на что?

ПЛАУНОВЪ.

Я только какъ вашъ повѣренный интересуюсь,—а не лично. Лично, субъективно, такъ сказать, мнѣ все равно. Но я чувствую себя въ нѣкоторой обидѣ. Почему-же это помимо меня? За что-же такое оскорбленіе?

ЧЕБЫШЕВЪ [вспыхнувъ].

Да вы, почтеннѣйшій, съ ума сошли. Да какъ вы смѣете въ моихъ поступкахъ видѣть оскорбленіе? Вы въ моемъ завѣщаніи не забыты—и получите то, чего стоите. Но не больше.

ПЛАУНОВЪ.

По заслугамъ, по заслугамъ, надѣюсь, оцѣните.

ЧЕБЫШЕВЪ.

По заслугамъ.

III.

ЛАКЕЙ [справа].

Господинъ Бѣломорцевъ!

ЧЕБЫШЕВЪ [киваетъ головой и подаетъ руку Плаунову].

До свиданья!

ПЛАУНОВЪ.

Я еще подожду...

[ЛАКЕЙ пропускаетъ въ кабинетъ БѢЛОМОРЦЕВА — человѣка лѣтъ пятидесяти, съ сѣдою волнистой шевелюрой, черными бровями и бородой].

БѢЛОМОРЦЕВЪ [здороваясь].

Поразило меня ваше письмо.

ЧЕБЫШЕВЪ.

Никифоръ!

ЛАКЕЙ [возвращаясь].

Чего изволите?

ЧЕБЫШЕВЪ.

Вотъ надо проводить господина Плаунова.

ПЛАУНОВЪ [быстро поднимаясь, обиженнымъ тономъ].

Досвиданья. Мое глубокое почтеніе Идѣ Константиновнѣ. [Кланяется Бѣломорцеву и со смиреннымъ видомъ идетъ къ двери.]

ЧЕБЫШЕВЪ.

Садитесь сюда, Павелъ Платоновичъ. Удивило васъ мое письмо? Я самъ удивился. Но Леонидъ меня взбѣсилъ вчера...

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

И у васъ полный разрывъ?

ЧЕБЫШЕВЪ.

Онъ придетъ сейчасъ, Ида у него была... Но знаете поговорку: порванную веревку, какъ ни вяжи, все узелъ будетъ. А у насъ она столько разъ рвалась, что по ней сплошные узлы.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Это очень грустно.

ЧЕБЫШЕВЪ.

То есть, вамъ грустно то́, что, если я лишу средствъ Леонида, ему не на что будетъ жить съ вашей дочерью? Такъ?

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Ну, пожалуй, и такъ. Вообще это усложняетъ вопросъ.

ЧЕБЫШЕВЪ.

О—о! Вы придаете такое значеніе деньгамъ?

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Я ненавижу деньги, я ненавижу ихъ всѣми своими фибрами. Черезъ мои руки въ банкѣ проходятъ милліоны. Я вижу каждый день этихъ людей, что несутъ и берутъ ихъ. У нихъ—тоже выраженіе, какъ у толпы, которая смотритъ, какъ наказываютъ или казнятъ преступника. Я самъ имѣлъ большое состояніе. Я говорю вамъ, что ненавижу деньги. Но, въ то-же время, если-бъ вы знали, вы никогда не испытывали ничего такого,—если-бъ вы знали положеніе человѣка, который ворочается напролетъ ночи въ постелѣ, думаетъ, какъ выйти изъ той петли, которую затянула на его шеѣ судьба. Прежніе друзья отвернулись,—ниоткуда нѣтъ помощи, честь и будущность все становится на карту,—вотъ когда поймешь силу и значеніе денегъ!

ЧЕБЫШЕВЪ.

Что съ вами? Да вы сегодня,—вы хуже меня. Что такое? [Подозрительно смотритъ ему въ лицо.]

[Слѣва ИДА и КСЕНІЯ. Ксенія здоровается съ Чебышевымъ.]

ИДА.

Вотъ, дядя, лѣкарство. [Даетъ ему облатку, ставитъ стаканъ воды и здоровается съ Бѣломорцевымъ.]

ЧЕБЫШЕВЪ [продолжая обращаться къ Бѣломорцеву].

Неужели на васъ такъ повліяла моя ссора съ племянникомъ? Ха! [Глотаетъ облатку.] Васъ такъ поразила потеря богатаго жениха, что вы проливаете слезы?

ИДА.

Какъ вамъ не стыдно, дядя!

ЧЕБЫШЕВЪ.

Вотъ вы говорите, что тяжело человѣку, когда нѣтъ у него денегъ. А знаете, какъ деньги давятъ того, у кого онѣ есть? Посмотрите на меня: развѣ я не ходячая подозрительность? Я вотъ смотрю на Ксенію и думаю, что если она выйдетъ за Леонида, то все-же въ разсчетѣ, что когда-нибудь да получитъ онъ мои деньги. Я смотрю на ея отца и мнѣ кажется, что его дергаетъ всего отъ мысли:—«Эхъ, сорвалось, богатый-то зятекъ оказывается нищій!..» Вотъ, если-бы не Ида подала мнѣ это лѣкарство,—я былъ-бы въ сомнѣніи: а что будетъ со мной черезъ полчаса, и тѣ-ли это порошки, что прописалъ докторъ. Ну, что-же вы вскочили со своихъ мѣстъ? Садитесь, Бѣломорцевъ. А ты, Ида, дай свѣту, я вашихъ лицъ не вижу; ужъ фонари на улицѣ зажгли, а у насъ темень. Ну—вотъ, теперь Ксенія плачетъ. Что я за несчастный человѣкъ! Неужели я не могу шутить? Всѣ начинаютъ кукситься. Только, пожалуйста, Ида, безъ иллюминаціи. Три лампы въ нашемъ концѣ и на столѣ и больше ничего. [Она отворяетъ замокъ. Загораются тюльпаны на стѣнахъ и зеленые на письменномъ столѣ.]

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Да, васъ хорошо надо знать и такъ долго, какъ я знаю, чтобъ жить съ вами въ мирѣ.

ЧЕБЫШЕВЪ.

А вотъ людей надо совсѣмъ не знать, чтобъ мирно съ ними жить.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Я, кажется, пришелъ къ вамъ не во время?

ЧЕБЫШЕВЪ.

Напротивъ, я очень радъ васъ видѣть. Я всегда радъ вамъ. Вѣдь у меня нѣтъ друзей я совершенно одинокъ. Обыкновенно, въ мои годы старые холостяки собираютъ цѣлую стаю прихвостней. Я противъ этого. Отъ меня всѣ разбѣжались: я—какое-то пугало. А сдѣлалъ-ли я кому нибудь зло?—Нѣтъ... Я только думаю вслухъ, и это ужасно пагубно и для меня, и для окружающихъ.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Алексѣй Валентиновичъ,—я пришелъ къ вамъ, помимо всего остального, по личному дѣлу и хочу съ вами говорить.

ЧЕБЫШЕВЪ.

Кто-жъ вамъ мѣшаетъ—говорите.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Мнѣ бы хотѣлось наединѣ съ вами.

ЧЕБЫШЕВЪ.

То,—что вы скажете, неприлично слушать барышнямъ?

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Нѣтъ, но это—мои личныя дѣла.

ЧЕБЫШЕВЪ.

Которыя надо скрывать отъ дочери?

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Да, я не хотѣлъ... [Проводитъ рукой по волосамъ.] Но все равно... Пожалуй, такъ и лучше... я не хотѣлъ сперва, чтобы Ксенія знала, но тѣмъ лучше. Вы мнѣ позволите сѣсть къ вамъ поближе?

ЧЕБЫШЕВЪ.

Ахъ, пожалуйста! [Отворачивается отъ всѣхъ спиной и начинаетъ поправлять и подбрасывать дрова въ каминъ. Неподалеку отъ него въ кресла садится Бѣломорцевъ. Направо—Ксенія и Ида. Обѣ внимательно и нервно прислушиваются.]

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Вы знаете, я имѣлъ хорошее состояніе. Меня увлекла биржевая игра, и пять лѣтъ назадъ я остался ни съ чѣмъ. Я долженъ былъ взять мѣсто въ банкѣ — оно даетъ мнѣ возможность существовать и быть до извѣстной степени обезпеченнымъ. Я никогда въ жизни никому не былъ долженъ. Годъ назадъ я поставилъ бланкъ на векселѣ моего школьнаго товарища.

ЧЕБЫШЕВЪ [хохочетъ, мѣшая дрова].

Всегда, подлецъ—старый товарищъ подвернется.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Два мѣсяца назадъ я уплатилъ сполна по этому векселю. Чтобы уплатить—я взялъ деньги изъ банка...

ЧЕБЫШЕВЪ [подсказывая].

Негласнымъ образомъ...

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Черезъ десять дней деньги должны быть возвращены.

ЧЕБЫШЕВЪ.

Сколько-же вы хотите, чтобъ я вамъ далъ?

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Вексель въ семь тысячъ...

ЧЕБЫШЕВЪ.

А гдѣ-же этотъ... Вашъ школьный другъ? Въ Америку уѣхалъ?

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Нѣтъ, онъ полный банкротъ. Онъ, видите-ли, изобрѣлъ усовершенствованный плугъ...

ЧЕБЫШЕВЪ.

Вотъ мерзавецъ!

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Дѣло лопнуло. Онъ открылъ складъ, плугъ его осмѣяли...

ЧЕБЫШЕВЪ.

Самъ-то онъ пробовалъ пахать на этомъ плугѣ?

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Я разсчитывалъ, въ случаѣ неудачи, отдать хотя половину денегъ, но меня смутилъ мой помощникъ Хильцъ—дѣльный, прямой парень. Онъ предложилъ одну комбинацію, я могъ получить втрое. Въ результатѣ—пропали и мои деньги.

ЧЕБЫШЕВЪ.

Прямой парень: по крайней мѣрѣ не долго тянулъ.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Если дождаться, что растрату замѣтятъ,—позоръ. Я принужденъ буду оставить мѣсто. Подъ судъ меня не отдадутъ — положимъ: я заявлю обо всемъ самъ заранѣе. Сумма такъ мала. Но уйти придется. [Къ дочери.] Я не хотѣлъ тебя волновать, говорить все это при тебѣ, моя дѣвочка,—но вотъ пришлось сказать. Прости меня, я виноватъ предъ тобой.

КСЕНІЯ [подходя къ нему].

Папочка, полно, не будь печаленъ. Что ты дѣлаешь? Не цѣлуй моихъ рукъ! Неужели ты думаешь, я не готова на все,—на все для тебя? Да и Алексѣй Валентиновичъ поможетъ, онъ добрый.

ЧЕБЫШЕВЪ [бросая щипцы].

Что вздоръ болтать! Поможетъ, поможетъ! Конечно, помогу. Невидаль какая—семь тысячъ! Ручаются за какихъ-то проходимцевъ,—а потомъ плати за нихъ.

БѢЛОМОРЦЕВЪ [вставая, протягиваетъ руки Чебышеву].

Вы спасаете меня. Позвольте васъ поблагодарить.

ЧЕБЫШЕВЪ [пряча руки въ карманы].

Оставьте вашу благодарность. Пріѣзжайте завтра до двѣнадцати. Я соображу, какъ это сдѣлать.

V.

[Справа ЛЕОНИДЪ.]

КСЕНІЯ [увидя его].

Лёня.

ЛЕОНИДЪ [мимоходомъ цѣлуетъ ея руку, жметъ руку Бѣломорцева и дяди].

Дядя,—это ваше произведеніе? [Бросаетъ передъ нимъ на столъ письмо.]

ЧЕБЫШЕВЪ.

Мое. Это кто-же тебѣ передалъ?

ЛЕОНИДЪ.

Не все-ли вамъ равно?

ЧЕБЫШЕВЪ [Бѣломорцеву].

Письмо, что я вамъ послалъ утромъ. Я не зналъ, что писать вамъ и кричать на площади — одно и тоже. На конвертѣ ясно было написано, кому читать.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Я не передавалъ ему письма́. Я недоумѣваю...

ЧЕБЫШЕВЪ [морщась].

Ну, значитъ, у васъ украли. Чего-же ждать отъ этого народа.

КСЕНІЯ [еле говоритъ отъ волненія].

Это я отдала ему письмо.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Ай-ай-ай, Ксенія! Зачѣмъ-же это?

КСЕНІЯ.

Я не могла, папа. Когда прямо въ глаза кидаютъ ему такія обвиненія. Да, я поступила гадко, очень гадко. Я не сказала тебѣ ни слова, поѣхала къ нему одна. Я не крала письма—нѣтъ,—ты мнѣ оставилъ его, а самъ ушелъ. Я должна была ему показать.

ЛЕОНИДЪ [качая головой].

И вы, дядя, считаете себя прямымъ человѣкомъ? Изъ-за угла разсылаете письма...

ИДА.

Леонидъ, ты мнѣ далъ слово...

ЛЕОНИДЪ.

Да, я далъ слово, пока я не зналъ объ этомъ письмѣ, а ты посмотри, что онъ пишетъ...

ИДА.

Я, Лёня, чужихъ писемъ не читаю.

ЧЕБЫШЕВЪ.

Слушай ты! Я бы могъ позвать лакеевъ и выгнать тебя вонъ. Но я вмѣсто этого предлагаю тебѣ миръ. Вотъ эта смиренница,—ревнительница мира,—Ида Константиновна, убѣдила меня больше не ссориться съ тобой. Оно, дѣйствительно, смѣшно. У человѣка по ночамъ адскія удушья, онъ не можетъ пройти пятнадцати ступенекъ, чтобъ не упасть отъ одышки,—а туда-же—топорщится, говоритъ, чего-то требуетъ. Ну, что-же, хочешь-ли мириться?

ЛЕОНИДЪ.

Сегодня мы помиримся, а завтра вы опять напишете письмо въ-родѣ этого?

ЧЕБЫШЕВЪ [добродушно].

И писать писемъ не буду! Повернемъ все на старое. Всполошилъ я васъ всѣхъ этой дурацкой запиской. Ну её къ чорту! [Кидаетъ письмо въ каминъ, оно ярко вспыхиваетъ.] Ксенія—несчастный свиристель,—и та должна была совершить преступленіе: красть документы, бѣжать изъ родительскаго дома въ притонъ, гдѣ живетъ ея женихъ. Ужасно!

ЛЕОНИДЪ [смотритъ на дядю].

Неужели и я буду такой въ ваши лѣта? Сухой, подозрительный, недовѣрчивый!

ЧЕБЫШЕВЪ.

Ты будешь, можетъ быть, въ десять разъ хуже.

ЛЕОНИДЪ.

Я вѣдь понимаю причину вашего раздраженія на всѣхъ. Вы завидуете намъ.

ЧЕБЫШЕВЪ.

Очень остроумно.

ЛЕОНИДЪ.

Да, вамъ завидно на то, что мы молоды,—что впереди у насъ еще много. А у васъ все въ прошломъ. Есть у васъ теперь и опытъ, и богатство, и положеніе, а судьба смѣется надъ вами и говоритъ:—все есть у тебя, но только на одинъ день. И васъ это бѣситъ, и вы это вымѣщаете на другихъ: вымѣщаете на Идѣ, на мнѣ, на прислугѣ. А вѣдь мы не виноваты, что время взяло свое.

ЧЕБЫШЕВЪ.

Ты правъ отчасти только. Иногда мнѣ хочется жить. Но иногда, когда подумаешь, какая невообразимая дрянь тѣ людишки, что вертятся вокругъ, то, право, лучше небытіе. Ужъ очень какъ-то все мелочно, жалко, эгоистично. Ты меня, кажется, въ этомъ вѣдь упрекалъ? Ну, а я упрекаю въ этомъ людишекъ. [Морщится.] Очень противны они мнѣ. Не я одинъ—всѣ такъ думаютъ, но не смѣютъ говорить. А я смѣю и говорю.

ЛЕОНИДЪ.

Ну, а я, дядя, вѣрю въ жизнь. Не знаю, зачѣмъ она дана человѣку, но вотъ меня тянетъ къ себѣ работа. Я хочу создать что-нибудь большое, хорошее, крупное...

ЧЕБЫШЕВЪ.

Хорошее, крупное! Нѣтъ, братецъ, съ эпохи Возрожденія все хорошее въ архитектурѣ потеряно. Выше фабричной трубы ничего не построишь. Стиля новаго, все

равно, не создашь и дальше подражанія чужимъ образцамъ не пойдешь. Будешь строить ту-же мерзость, что каждый годъ выростаетъ въ Москвѣ и Петербургѣ. Все это, душа моя, вздоръ.

ЛЕОНИДЪ.

А что-же не вздоръ?

ЧЕБЫШЕВЪ.

Не вздоръ? Спроси Иду—она тебѣ лучше меня объяснитъ. Она знаетъ, что нужно для жизни. Ну, да все это всторону. Дѣло вотъ въ чемъ: ты серьезно берешь этого свиристеля себѣ въ жены?

ЛЕОНИДЪ.

Серьезно.

ЧЕБЫШЕВЪ [Бѣломорцеву].

Слышите?

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Что-же я могу, Алексѣй Валентиновичъ? Она у меня одна. Она говоритъ, что любитъ Леонида; Леонидъ говоритъ, что любитъ её. Леонидъ—честный, хорошій человѣкъ. Какое я имѣю право противиться ихъ желанію?

ЧЕБЫШЕВЪ.

Да и я не противлюсь,—я только не одобряю.

ЛЕОНИДЪ.

Да почему?

ЧЕБЫШЕВЪ.

Видишь-ли, почему. Я вообще враждебно смотрю на бракъ, потому что ни разу въ жизни не встрѣчалъ счастливаго супружества. Читать—читалъ про Афанасія Иваныча и Пульхерію Ивановну. Ну, есть еще: Телемонъ и

Бавкида. Въ остальныхъ случаяхъ—брака хватаетъ только на пять лѣтъ. А, впрочемъ, мнѣ все равно. Ты остаешься при своемъ рѣшеніи,—я при своемъ. А затѣмъ, я тебя предупреждаю: наслѣдства отъ меня ты не получишь.

ЛЕОНИДЪ.

Я и не разсчитываю.

ЧЕБЫШЕВЪ.

И прекрасно дѣлаешь. Я вообще не знаю, слѣдуетъ-ли дѣтямъ оставлять наслѣдство. Тутъ есть какая-то фальшь. Почему отецъ долженъ наживать,—сынъ проживать? Надо оставить купцамъ всѣ эти фирмы, переходящія по наслѣдству. Пробивай самъ себѣ дорогу. Если тебѣ будутъ платить за твою работу—хорошо; а не будутъ,—значитъ ты не стоишь этого.

ЛЕОНИДЪ.

Вѣдь вопросъ конченъ, дядя? Вы не хотите сдѣлать меня наслѣдникомъ,—я не въ претензіи. Вамъ это, повидимому, кажется съ моей стороны глупымъ. Вы хотите, чтобъ я возмущался, а я не возмущаюсь.

ЧЕБЫШЕВЪ.

Да невозмущайся, Господь съ тобой; зачѣмъ мнѣ твое возмущеніе! А вотъ Ксенія, что она скажетъ?

КСЕНІЯ [подходя къ Леониду].

Я люблю его.

ЧЕБЫШЕВЪ.

О, это очень важно! Больше и говорить нечего. Вы его любите больше, чѣмъ варенье, фрукты и пирожное? Если больше, то это уже очень много.

КСЕНІЯ.

Вы смѣетесь надо мной? За что? Что я вамъ сдѣлала, что вы всегда надо мной издѣваетесь?!.

ЧЕБЫШЕВЪ.

Ну, вотъ, опять—драма!

ЛЕОНИДЪ.

Она права, дядя. Я не понимаю, на какомъ основаніи вы зовете её свиристелемъ? Если ея отецъ — человѣкъ скромный, сама она почти ребенокъ, то я, какъ женихъ, могу возвысить за неё голосъ.

ЧЕБЫШЕВЪ.

Ну-ка, возвысь.

ЛЕОНИДЪ.

Извольте. Я не хочу, чтобъ вы такъ съ нею обращались. Вы старикъ, но старики заслуживаютъ уваженія только тогда, когда они служатъ намъ примѣромъ.

ЧЕБЫШЕВЪ.

Ты весь вечеръ стараешься вывести меня изъ терпѣнія и никакъ не можешь этого сдѣлать. Скажи, это не ты изобрѣтатель усовершенствованнаго плуга?

ЛЕОНИДЪ.

Плуга?

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Оставьте, Алексѣй Валентиновичъ.

ЧЕБЫШЕВЪ.

Я думалъ, что это твое изобрѣтеніе. А нѣтъ—тѣмъ лучше. По какому праву я такъ съ нею обращаюсь? Да потому, что она выросла у меня на глазахъ и до сихъ

поръ я ее за женщину не считаю. Она обижается, какъ ребенокъ; отецъ ея молчитъ не изъ скромности, а потому что уменъ. А ты говоришь потому, что самъ еще молодъ, бродятъ въ тебѣ дрожжи и ты хочешь къ чему-нибудь привязаться.

ЛЕОНИДЪ.

Я радъ, что здѣсь всѣ. Я повторяю при моемъ будущемъ тестѣ и при васъ, дядя, что мой вопросъ о бракѣ съ Ксеніей рѣшенъ окончательно. Вы оба можете быть противъ этого, но я увезу ее изъ дома и обвѣнчаюсь.

ЧЕБЫШЕВЪ.

Геройскій подвигъ! А чѣмъ ты ее кормить будешь въ меблированныхъ комнатахъ? Она вѣдь привыкла ко всему свѣжему.

КСЕНІЯ.

Мы въ Венеціи будемъ жить.

ЧЕБЫШЕВЪ.

А! Тамъ Даніэля хорошая гостинница. За дворцомъ Дожей сейчасъ налѣво. Лиръ за пятьдесятъ въ день можно отлично устроиться. Съ Богомъ, съ Богомъ!

ЛЕОНИДЪ.

Смѣйтесь, сколько хотите, и всетаки я поставлю на своемъ.

ЧЕБЫШЕВЪ.

И всетаки я денегъ тебѣ не дамъ. Я бы далъ ихъ тебѣ только въ томъ случаѣ, если-бы видѣлъ, что ты понимаешь, что̀ значитъ жизнь, что человѣкъ обязанъ дѣлать. А ты воображаешь, что, рисуя свои проекты, исполняешь высокія предначертанія жизни. Я не вижу въ тебѣ человѣка. Можетъ быть, ты и будешь талантливымъ строи-

телемъ, но мнѣ это все равно. Мнѣ важно видѣть въ тебѣ душу. А у тебя вмѣсто души чертежный треугольникъ. Ты сухъ и черствъ. Ты не способенъ ни на какіе порывы, кромѣ того, чтобы наговорить дерзостей да глупо влюбиться въ подростка. Вѣдь это довольно жалкія проявленія человѣческаго духа.

ЛЕОНИДЪ.

Я не понимаю, Ида, зачѣмъ ты настаивала, чтобъ я сюда пришелъ?

ЧЕБЫШЕВЪ.

Чортъ возьми! Не позволяютъ мнѣ говорить тò, что я думаю! Вѣдь еслибъ я все это думалъ, а не говорилъ, ты бы со мной цѣловался и называлъ меня милымъ дяденькой. А теперь ты разыгрываешь оскорбленную невинность. [Встаетъ и берется за грудь.] Фу, какъ тяжело! Сидишь дома одинъ—какъ-будто и легче. А потомъ придутъ ближніе, друзья и родственники, и начнешь задыхаться. [Дѣлаетъ нѣсколько шаговъ.]

ИДА [подходи къ нему].

Отдохните, дядя.

ЧЕБЫШЕВЪ [Опираясь на ея руку, стоитъ закрывъ глаза. Послѣ паузы.]

Гадость какая! [Поднимаетъ голову.] И въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ ты приходилъ? Безъ тебя спокойнѣе было. [Идѣ.] Мнѣ лучше, оставь меня—я къ себѣ пойду. [Идетъ налѣво и останавливается въ дверяхъ.] Шелъ-бы, Леонидъ, въ самомъ дѣлѣ, домой: и тебѣ, и мнѣ лучше! [Уходитъ.]

ЛЕОНИДЪ [Идѣ].

Ну, видишь! Чтò я говорилъ!

БѢЛОМОРЦЕВЪ [вставая].

Да, намъ лучше уйти.

ИДА.

Пріѣзжайте, Павелъ Платоновичъ, завтра утромъ. Если Алексѣй Валентиновичъ обѣщалъ — онъ исполнитъ обѣщаніе.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Тяжело съ нимъ имѣть дѣло.

ИДА.

Нѣтъ, нисколько не тяжело, неправда. Посмотрите: онъ съ двухъ словъ обѣщалъ вамъ все, что вы хотите. И онъ всегда каждому готовъ придти на помощь.

ЛЕОНИДЪ.

Кромѣ меня. Ну, да все равно. Все равно, Ксенія, не такъ-ли? [Цѣлуетъ ея руку.]

ИДА [быстро отворачиваясь отъ нихъ, къ Бѣломорцеву].

Я ему еще сегодня напомню, и завтра утромъ все будетъ готово.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Спасибо, моя дорогая. Если-бы вы знали, изъ какой петли вы меня вынимаете. Думалъ-ли я, что, доживъ до сѣдинъ, дойду до такого положенія! Ну, поѣдемъ, Ксенія.

КСЕНІЯ.

Ѣдемъ, папа. Такъ и ты съ нами, Лёня?

ЛЕОНИДЪ.

Да.

ИДА.

Я задержу его на нѣсколько минутъ. Уступите мнѣ его, Ксенія,—мнѣ надо съ нимъ поговорить.

КСЕНІЯ.

Опять что-нибудь такое, что онъ будетъ сердиться, а я плакать?

ИДА.

Нѣтъ, я о васъ хочу поговорить. Подожди меня здѣсь, Леонидъ. [Уходитъ, провожая Бѣломорцевыхъ.]

VI.

ЛЕОНИДЪ [одинъ].

А, не бѣда! Не надо никакихъ подпорокъ. Выживу!

ИДА [входитъ].

Не сердись, что я тебя задержала.

ЛЕОНИДЪ.

Я никогда на тебя не сержусь.

ИДА.

Я хочу съ тобой поговорить. Я давно съ тобой не говорила. Но я стала бояться тебя. Ты въ послѣднее время такой сталъ раздражительный. Я хочу поговорить съ тобой, какъ другъ, какъ искренній и лучшій твой другъ.

ЛЕОНИДЪ [беретъ ея руку].

Да, да, говори. Ты вѣдь знаешь, Ида, я люблю тебя больше всѣхъ на свѣтѣ.

[Ида опускаетъ глаза.]

ЛЕОНИДЪ.

Я не знаю никого, кто бы такъ ясно и просто смотрѣлъ на жизнь, какъ ты. Въ длинномъ рядѣ лѣтъ ты мнѣ

представляешься какой-то феей, которая всегда неожиданно является, чтобъ утѣшить, успокоить, примирить. Помню, когда мальчикомъ я сидѣлъ наказанный въ своей комнатѣ и плакалъ, ты приходила,—и вмѣсто слезъ появлялись улыбки. Я помню, какъ ты отстояла меня, когда дядя не хотѣлъ, чтобъ я поступалъ въ академію. А теперь? Вѣдь ты, какъ ангелъ хранитель, стоишь надо мной.

ИДА.

Ну, будетъ объ этомъ, сядемъ. [Сажаетъ его на диванъ справа.] Вотъ, Лёня, о чемъ я хотѣла поговорить съ тобой. Но дай слово, что ты выскажешь честно и прямо все, что у тебя есть на душѣ.

ЛЕОНИДЪ.

Ну, конечно, конечно. Говори, Ида, говори родная, спрашивай. Какъ мнѣ легко съ тобой, еслибъ ты знала! Вотъ ушелъ дядя,—я вѣдь другой человѣкъ сталъ.

ИДА.

Лёня, я не стану отговаривать тебя отъ женитьбы. Но я хочу, чтобъ ты не былъ такъ легкомысленъ. Мнѣ кажется, ты слишкомъ много берешь на себя.

ЛЕОНИДЪ.

Ты думаешь, я не справлюсь съ жизнью?

ИДА.

Ты-то справишься,—въ тебѣ есть сила, есть характеръ и упрямство. А вотъ эта дѣвочка? Ты мало подумалъ. Ну, развѣ она способна на борьбу? Развѣ она можетъ скитаться съ тобой изъ города въ городъ, хозяйничать, помогать тебѣ? Развѣ она можетъ дать тебѣ то, что называется очагомъ? Какая она мать,—ей еще самой

можно играть въ куклы. Я бы ни слова не говорила, еслибъ ты могъ остаться здѣсь, дать ей возможность спокойно расцвѣсть, развиться въ женщину. Но ты вѣдь хочешь оторвать ребенка ото всего, что ему мило и дорого, привезти на чужую сторону, окружить лишеніями. Честно-ли это, Лёня? Вѣдь ты за нее долженъ отвѣтить передъ своей совѣстью. Я не говорю: откажись отъ нея, забудь ее. Я только говорю—не торопись.

ЛЕОНИДЪ.

Идочка, я знаю твое сердце, знаю, что говоришь ты такъ—желая намъ обоимъ добра. Но твоя мораль,—не сердись на меня,—холодная, условная. Ты всегда такая ровная и спокойная,—ты не способна на вспышки, на страсть, и думаешь, что всѣ такіе, какъ ты.

ИДА [горько улыбаясь].

Вотъ я, по твоему, какая!

ЛЕОНИДЪ.

Ты—хрустальная душа—всѣхъ любишь, весь міръ, тихой, безмятежной любовью, но ты не можешь сосредоточить свѣта своей любви въ одинъ жгучій лучъ, который бы могъ не только грѣть, но и жечь. Ты ровно, спокойно сіяешь—какъ осеннее солнце...

ИДА [опуская голову].

Осеннее...

ЛЕОНИДЪ.

Ты не можешь понять, что есть натуры, которыя хотятъ любить не всеохватывающей братской любовью, а живой, могучей, которую нельзя сдержать никакими разсужденіями. Вотъ такъ я люблю эту дѣвочку, этого ребенка. Я никому, даже ей, никогда не говорилъ, какъ

глубоко къ ней привязанъ, какъ вѣрю въ наше счастье. Одной тебѣ, Ида, могу все сказать, потому что знаю, что встрѣчу въ тебѣ чуткую, родственную душу и могу тебѣ довѣриться.

ИДА [прищурившись и глядя куда-то вдаль].

Говори.

ЛЕОНИДЪ.

Не въ тягость мнѣ будетъ жизнь съ ней, а сплошнымъ праздникомъ. Она будетъ поддерживать меня своей лаской, улыбкой, довѣрчивостью, безпомощностью. Я ни на минуту не буду отпускать ея отъ себя. Мы вмѣстѣ будемъ всюду. Когда я сяду дома за свои замѣтки, чертежи, акварели, она будетъ тутъ-же, сидѣть возлѣ меня, щебетать, освѣщать комнату, мою работу, освѣщать мою жизнь.

[Ида нервно вздрагиваетъ и слегка отворачивается отъ него.]

ЛЕОНИДЪ.

Бѣдствовать мы никогда не будемъ, на нищету я ея не обрекаю. Зачѣмъ-же думать о разныхъ случайностяхъ, о горѣ, болѣзняхъ,—не лучше-ли вѣрить въ свѣтлый хорошій праздникъ жизни, въ мою способность къ работѣ? Ты сама когда-то мнѣ говорила, что жизнь есть любовь. Чѣмъ-же намъ и вспомнить прошлое, если не будетъ яркой полосы любви, именно на зарѣ дѣятельности, когда только вступаешь въ жизнь. Повторяю: тебѣ чуждо то, что я говорю. Ты никогда не можешь понять, что такое искреннее свѣтлое увлеченіе. Ты вѣдь не способна на это.

ИДА [голосъ ея дрожитъ].

Не способна? Ты думаешь? А, быть можетъ, ты заблуждаешься?

ЛЕОНИДЪ [взявъ ее за руку].

Ты тоже любила? Да?

ИДА [дѣлая слабую попытку взять свою руку].

Да.

ЛЕОНИДЪ.

И была готова на все, даже на самопожертвованіе?

ИДА [прямо глядя на него].

Да, и готова была на все. Я пожертвовала своимъ спокойствіемъ, своимъ чувствомъ. Я подавила это чувство, я ничѣмъ никогда не выказала его.

ЛЕОНИДЪ [взявъ ея другую руку].

Зачѣмъ-же ты скрывала, зачѣмъ прямо не сказала тому, кого любишь. Человѣкъ, который любитъ — пойметъ все съ полуслова.

ИДА.

Да, который любитъ. Пусти руки!

ЛЕОНИДЪ.

И ты была несчастна, Ида?

ИДА [нервно смѣется].

Несчастна! Ну, такія-ли бываютъ несчастія! Въ самомъ дѣлѣ, пусти руку, мнѣ неловко. Не стоитъ обо мнѣ говорить. Я старая дѣва, вопросъ обо мнѣ покончен.

[Слѣва слышенъ звонокъ.]

ИДА [вставая].

Дядя звонитъ. Надо къ нему. Уходи, Лёня.

ЛЕОНИДЪ.

Спасибо тебѣ, спасибо! [Цѣлуетъ ее въ щеку.]

ИДА.

Не за что благодарить. Я тебѣ благодарна за твою [съ нервной улыбкой] родственную довѣрчивость! Будь счастливъ, Лёня. Всего, всего тебѣ хорошаго! Будь счастливъ!

ЛЕОНИДЪ.

Ты такая странная, Ида.

ИДА [сдерживая истерическія слезы съ той-же улыбкой].

Отчего? Я рада за тебя! [Звонокъ повторяется.] Смотри, я совсѣмъ спокойна. [Собравъ всѣ силы, идетъ налѣво.] Я иду, дядя! Что надо?

VII.

ЧЕБЫШЕВЪ [съ пакетомъ въ рукѣ].

А, ты тутъ еще? [Останавливается и ждетъ, пока Леонидъ уходитъ.] Остальные ушли? Ну, и чудесно. Онъ не вернется больше? Совсѣмъ ушелъ? Ну, тѣмъ лучше. [Подходитъ къ ней и смотритъ въ лицо.] У, какое лицо! Руки холодныя,—вся дрожитъ. Нервы-то, нервы какіе у насъ. Стыдись! Ты—сильная, спокойная, и вдругъ, изъ-за него... Вѣдь я все вижу, все,—слышишь все!..

[Ида припадаетъ лицомъ къ его плечу, стараясь скрыть волненіе.]

ЧЕБЫШЕВЪ.

И вдругъ ты, какъ дѣвчонка, нюнишь. Не надо этого. Не стоитъ онъ ни одной твоей слезинки. Отбрось его, какъ ненужный соръ, забудь о немъ. Слышишь—забудь!

ИДА.

Что вы хотѣли сказать, дядя?

ЧЕБЫШЕВЪ.

Вотъ что. Слушай. Если я имѣлъ глупость вчера разорвать свое завѣщаніе, то у меня хватило ума написать сегодня новое. Оно подписано и оформлено. Возьми его, оно останется у тебя. Что оно у тебя, объ этомъ знаетъ старикъ Болотниковъ — повѣренный, что сегодня былъ. Дѣло плохо. Не перебивай меня! Я знаю,—дѣло плохо. Я не обольщаюсь никакими иллюзіями. Вѣроятно, какъ-нибудь, на-дняхъ, ты войдешь ко мнѣ и увидишь въ креслахъ вотъ этотъ халатъ, эти руки, ноги, голову, а меня самого не будетъ. Тогда ты распорядись взять эту рухлядь съ креселъ...

ИДА.

Дядя!

ЧЕБЫШЕВЪ.

Дай договорить... А сама тотчасъ-же, слышишь, тотчасъ же, пошлешь за Болотниковымъ и, когда онъ пріѣдетъ,— передашь ему этотъ пакетъ. Понимаешь? Ты это сдѣлаешь немедля. Теперь дальше. [Беретъ ее подъ руку и прохаживается по кабинету.] Дай мнѣ слово,—я знаю, твое слово лучше всякихъ клятвъ,—дай мнѣ слово, что выполнишь мою волю.

ИДА.

Даю.

ЧЕБЫШЕВЪ.

Предупреждаю тебя, въ завѣщаніи, быть можетъ, совсѣмъ не то, что ты думаешь и на что разсчитываешь.

ИДА.

Мнѣ все равно.

ЧЕБЫШЕВЪ.

Но повѣрь мнѣ, что такъ именно надо, какъ я распорядился. И ты исполнишь мою волю. [Смотритъ ей въ глаза.] О, да, конечно, ты исполнишь. Дѣло вотъ въ чемъ. [Опять ведетъ

ее и говоритъ выразительно, по слогамъ.] Ты должна распорядиться такъ, какъ бы я самъ распорядился. Ты должна понять и угадать, чего я хочу... Самъ я не буду, но предоставляю это тебѣ... Ну, довольно объ этомъ... [Берется за грудь.] Фу, какъ не хорошо! [Садится въ кресло. Пауза. Онъ оглядывается.] Неужели я скоро навсегда уйду изъ этой комнаты? Картины! Я люблю мои картины, особенно, вонъ тѣ. [Показываетъ рукой на акварели надъ диваномъ.] Скверная вещь жизнь, къ ней человѣкъ привыкаетъ, какъ котъ къ лежанкѣ. Но въ то-же время мнѣ не жаль жизни... [Встаетъ.] Ну, вотъ и лучше стало... Чего добраго, еще обману я васъ всѣхъ, да лѣтъ пятнадцать протяну. [Цѣлуетъ ее.] И ты состарѣешься къ тому времени. [Смѣется.] Будешь старуха. Ахъ, какъ было-бы хорошо, еслибъ всѣмъ, какъ тебѣ, можно было вѣрить. [Облокачивается на каминъ.] А знаешь, надо-бы всетаки послать за докторомъ... И поскорѣе...

[Ида надавливаетъ кнопку звонка. Онъ стоитъ, закрывши глаза, держась за грудь.]

ЗАНАВѢСЪ.

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

Декорація 1-го дѣйствія.

[ЛЮТИКОВА раскладываетъ пасьянсъ на обѣденномъ столѣ, покрытомъ клеенкой. ГОТЛИБЪ ХИЛЬЦЪ, съ тиковымъ мѣшкомъ, только-что вошелъ и стоитъ неподалеку отъ входной двери. Это—лысый старичокъ съ длинными сѣрыми волосами, пробритыми усами, жидкой бородкой. На немъ старое черное пальто мѣшкомъ, короткое спереди, и сѣрыя панталоны. Носикъ красный, глаза—воспаленные маленькіе.]

I.

ЛЮТИКОВА.

Вы, господинъ Хильцъ, сапоги оставьте. Вашъ сынокъ каждый день такъ и говоритъ: коли придетъ папашенька,— пусть оставитъ, а не ждетъ.

ГОТЛИБЪ [съ акцентомъ].

Нѣтъ, мнѣ надо обождать. Мнѣ очень надо самолично видѣть Адольфа.

ЛЮТИКОВА.

Онъ давно, еще недѣлю назадъ, сапоговъ вашихъ ждалъ.

ГОТЛИБЪ.

Что-же дѣлать... Много работы...

ЛЮТИКОВА.

Да вы присядьте, господинъ Хильцъ,—зетценъ зи зихъ.

ГОТЛИБЪ.

Oh, danke schön. [Садится на конецъ стула у дверей.]

ЛЮТИКОВА.

Чрезвычайно я довольна сыномъ вашимъ, Адольфомъ Богдановичемъ. Вотъ ужъ жилецъ—хоть привиллегію бери! Аккуратный, скромный, тихій. Даже ходитъ неслышно.

ГОТЛИБЪ.

Да, онъ какъ котъ,—ходитъ на лапы, и когти спряталъ... Онъ и маленьки такъ ходилъ. [Вздохнувъ.] Да, онъ аккуратны человѣкъ.

ЛЮТИКОВА.

А вотъ на васъ онъ, господинъ Хильцъ, жалуется, что вы неаккуратный. Что-то не то дѣлаете, что онъ хочетъ. Жалуется, что вы много пива пьете и тѣмъ его огорчаете.

ГОТЛИБЪ [сурово].

Ну, теперь ужъ два года я совсѣмъ мало пью. Мнѣ здорово пить пиво. Я крѣпче становлюсь. Я слабну безъ пива. Но теперь я совсѣмъ маленьки порцій пилъ, чтобъ

Адольфъ не огорчалъ. Онъ сердиты. Онъ не позволяетъ съ нимъ по нѣмецки говорить.

ЛЮТИКОВА.

Что-же такъ?

ГОТЛИБЪ.

Говоритъ, я—русски.

ЛЮТИКОВА.

А маменька его кто была? Нѣмка?

ГОТЛИБЪ.

Нѣтъ, онѣ были съ Западный Край. Да, Адольфъ большой человѣкъ и хорошее жалованье съ банкъ получаетъ.

II.

[АДОЛЬФЪ ХИЛЬЦЪ входитъ въ пальто.]

ЛЮТИКОВА.

Вашъ папашенька здѣсь дожидается. [Собираетъ карты и идетъ въ корридоръ.]

АДОЛЬФЪ.

Папашенька? [Поворачивается къ нему.] Принесъ сапоги?

ГОТЛИБЪ.

Да, вотъ. [Вынимаетъ изъ мѣшка полусапожки.]

АДОЛЬФЪ [Надѣвъ цилиндръ на голову, внимательно смотритъ сапоги.].

Отчего ты раньше не приносилъ? Я вѣдь велѣлъ къ первому!

ГОТЛИБЪ.

У хозяина куча заказъ. Нельзя было свою работу...

АДОЛЬФЪ.

Потомъ, зачѣмъ ты меня ждешь, когда я не позволилъ тебѣ ждать меня?

ГОТЛИБЪ.

Ты, Адольфъ, не оставилъ денегъ.

АДОЛЬФЪ [съ изумленіемъ].

Какихъ денегъ?

ГОТЛИБЪ.

За товаръ. Я говорилъ: работа даромъ, а за товаръ я долженъ хозяину платить.

АДОЛЬФЪ.

И заплати. Ты жалованье получаешь. Я, папашенька, не могу такъ сорить деньгами. Я далъ тебѣ это мѣсто,— мѣсто у перваго петербургскаго сапожника. Ты мнѣ долженъ сто восемь рублей сорокъ пять копѣекъ. Ты это знаешь? Сто восемь рублей сорокъ пять копѣекъ. Вотъ что ты мнѣ стоилъ послѣдніе два года.

ГОТЛИБЪ [мрачно].

Ты мнѣ дороже стоилъ. Я платилъ за тебя въ Peter-Schule. Мы вмѣстѣ съ покойни твоей матерью выбивались изъ силъ, чтобъ образовать тебя.

АДОЛЬФЪ.

Ну, и я тебѣ отплачиваю, папашенька, чѣмъ могу. Погоди, я разбогатѣю, куплю домъ, ты будешь у меня управляющимъ.

ГОТЛИБЪ.

Ну, у меня глаза плохо глядятъ. Мнѣ богадѣльня надо, а не управляющій.

АДОЛЬФЪ [смотритъ сапогъ].

А кожа хорошая?

ГОТЛИБЪ.

Кожа — лучше нѣтъ. Хозяинъ ставитъ первы сортъ, самый дорогой матеріалъ.

АДОЛЬФЪ [любуясь].

Строчка хорошая.

ГОТЛИБЪ.

Мнѣ деньги надо, Адольфъ.

АДОЛЬФЪ.

Папашенька, какой ты странный. Откуда-же я возьму тебѣ денегъ? Ну, ужъ такъ и быть. Одинъ рубль я тебѣ дамъ. [Вынимаетъ изъ кармана.] Больше не могу.

ГОТЛИБЪ.

Непріятность съ хозяиномъ будетъ. Дай еще немножко... Остальные я добавлю.

АДОЛЬФЪ.

Ну, вотъ мелочь есть...

III.

[Входитъ ПЛАУНОВЪ.]

АДОЛЬФЪ.

А, Анемподистъ Петровичъ! Ну, уходи, уходи!.. [Снимаетъ шляпу.]

ГОТЛИБЪ.

Нехорошо, Адольфъ, нехорошо... Фуй!..

АДОЛЬФЪ.

Безъ разговоровъ.

ГОТЛИВЪ.

Заказывай хозяину, плати шестнадцать рублей, а я не буду тебѣ дѣлать...

АДОЛЬФЪ.

Некогда, некогда мнѣ. [Выпроваживаетъ его.]

ПЛАУНОВЪ.

Родоначальникъ, должно быть? Слышалъ я о немъ. [Хильцъ возвращается.] Это батюшка вашъ?

АДОЛЬФЪ [сконфуженно].

Какъ вамъ сказать... Да, пожалуй.

ПЛАУНОВЪ.

Симпатичное лицо... Знаете, есть что-то общее съ вами, что-то неуловимое.

АДОЛЬФЪ [смотря на часы].

Вы аккуратны.

ПЛАУНОВЪ.

Я, батюшка, всегда аккуратенъ. Мы что-же, пойдемъ къ вамъ въ комнату? Здѣсь словно-бы неловко...

АДОЛЬФЪ.

Здѣсь свободнѣе. [Идетъ къ двери налѣво.] Медикъ на экзаменѣ въ препаровочной, а нашъ консерваторъ — Крамаренко спитъ во всю. Онъ если не играетъ и не ѣстъ,— такъ спитъ, какъ сурокъ. [Возвращается къ столу.] Во всякомъ случаѣ, будемъ говорить тихо.

ПЛАУНОВЪ.

Я всегда говорю тихо. У дверей — уши, у портьеръ — уши, у ширмъ — уши, иногда въ шкапахъ — уши. Лучше быть осторожнымъ. Ну-съ, какъ дѣлишки?

АДОЛЬФЪ.

Я воспользовался смертью Чебышева и, пока возились съ похоронами, кое-что сдѣлалъ. Просилъ-же я васъ сюда вотъ зачѣмъ. Хотите пристроить семь тысячъ подъ вексель?

ПЛАУНОВЪ.

Я, родной мой, не ростовщикъ.

АДОЛЬФЪ.

За полгода двадцать пять процентовъ.

ПЛАУНОВЪ.

О! Ну, объ этомъ можно подумать. А обезпеченіе?

АДОЛЬФЪ.

Служба. Это надо Бѣломорцеву. Онъ затратилъ банковскія деньги.

ПЛАУНОВЪ.

Что-же, при такихъ обстоятельствахъ и пятьдесятъ берутъ.

АДОЛЬФЪ.

Ну, это ужъ грабежъ! Ростовщики и тѣ нынче — двѣнадцать.

ПЛАУНОВЪ.

Такъ вѣдь не ростовщикъ-же я, родной! Если въ нуждѣ ближнему помочь — другое дѣло. Случай казусный.

АДОЛЬФЪ.

Видите-ли, господинъ Бѣломорцевъ надѣялся на покойнаго Алексѣя Валентиновича: — тотъ ему обѣщалъ. Но пріѣзжаетъ онъ къ нему на утро, а Алексѣй Валентиновичъ лежитъ, лежитъ на одрѣ смерти. Онъ—къ его племянницѣ,

къ Идѣ Константиновнѣ—какъ къ живой свидѣтельницѣ обѣщанія. Но племянница, конечно, ничего не можетъ. Тогда загрустилъ господинъ Бѣломорцевъ, сталъ мраченъ, пересталъ принимать пищу, осунулся. Въ банкѣ ходитъ, какъ тѣнь Банко, — прошу извиненія за плохой каламбуръ. А я долженъ вамъ сказать, господинъ Плауновъ, насквозь знаю дѣла господина Бѣломорцева. Ну, я къ нему приступилъ съ разспросами. Сначала онъ, конечно, отмалчивался. Онъ на меня сердится за одну операцію. Ну, а потомъ разговорился и изложилъ все дѣло. Тогда я вспомнилъ про васъ и говорю ему:—«есть у меня на примѣтѣ благороднѣйшій и честнѣйшій человѣкъ, онъ ссудитъ». И вотъ, послалъ къ вамъ письмо. Такъ какъ-же? Согласны?

ПЛАУНОВЪ.

Виноватъ. А на-счетъ какой операціи вы изволили упомянуть?

АДОЛЬФЪ.

Видите-ли. Тутъ былъ одинъ случай поиграть бумагами. У меня были кое-какія свѣдѣнія отъ знающихъ людей. Хорошее могло быть дѣло. Ну, онъ мнѣ далъ всего на четыре тысячи ренты. Но дѣло не вышло, такъ что все погибло. Конечно, онъ на меня въ нѣкоторой претензіи,—такъ вотъ мнѣ и хотѣлось-бы поправить дурное впечатлѣніе и устроить ему теперь заемъ.

ПЛАУНОВЪ.

Что-жъ, можно. А только давайте пополамъ. Я рисковать одинъ не желаю. Дадимъ ему по три съ половиною тысячи.

АДОЛЬФЪ.

Вы смѣетесь, господинъ Плауновъ! Откуда-же у меня, ничтожнаго, банковскаго чиновника могутъ быть такія деньги?

ПЛАУНОВЪ.

А четыре-то тысячи, что вы отъ него получили?

АДОЛЬФЪ.

Вѣдь онѣ погибли на биржѣ.

ПЛАУНОВЪ.

Да-да-да—виноватъ, простите. Да, да,—онѣ погибли безвозвратно. Это очень жаль, а то недурно было-бы ему же ссудить подъ проценты. Ну, хорошо-съ, дѣло это мы устроимъ. Такъ больше двадцати пяти неудобно?

АДОЛЬФЪ.

Нѣтъ, и не заикайтесь. Иначе я въ другомъ мѣстѣ достану.

ПЛАУНОВЪ.

Видите, добрѣйшій, ближнему, какъ я уже сказалъ, я радъ помочь, но я, признаться сказать, въ одно жалованье не вѣрю, а вѣрю я вотъ во что. Вамъ, конечно, извѣстно, что Леонидъ Ѳедоровичъ женится на дочери господина Бѣломорцева?

АДОЛЬФЪ [нахмурясь].

Ну, это вопросъ еще не рѣшенный.

ПЛАУНОВЪ.

Смѣю васъ увѣрить — рѣшенный. Вопросъ вотъ въ чемъ: — имѣетъ что-нибудь этотъ Леонидъ Ѳедоровичъ послѣ смерти дяди, или нѣтъ? Если имѣетъ, то пусть онъ бланчикъ на векселѣ поставитъ. Тогда, по крайней мѣрѣ, я за навѣрное буду знать, что получу свою ссуду. А въ противномъ случаѣ,—ужъ я не знаю,—рисковать-ли...

АДОЛЬФЪ.

Я сомнѣваюсь, господинъ Плауновъ, чтобы Леонидъ Ѳедоровичъ женился на Ксеніи Павловнѣ, и на это у меня есть основанія.

IV.

ЛЕОНИДЪ [изъ входной двери].

Какія-же это у васъ основанія?

АДОЛЬФЪ.

Ай-ай-ай, Леонидъ Ѳедоровичъ! Меня недавно упрекали въ томъ, что я будто-бы подслушиваю, а сами-то что? Нехорошо, нехорошо!

ЛЕОНИДЪ.

Ну, увольте отъ наставленій,—а потрудитесь мнѣ сказать:—почему я не женюсь на Ксеніи?

АДОЛЬФЪ [нахально смотритъ ему въ глаза].

Не женитесь. Какое хотите пари!

ЛЕОНИДЪ.

Вы мнѣ помѣшаете?

АДОЛЬФЪ.

Что я! Я маленькое ползучее насѣкомое,—развѣ я могу кому-нибудь принести вредъ?.. Нѣтъ, все помимо меня произойдетъ.

ПЛАУНОВЪ.

Господа, не пререкайтесь. Такое-ли теперь время? Намъ надо всѣмъ въ мирѣ жить, намъ надо всѣмъ противъ общихъ враговъ сплотиться, а не перекоряться между со-

бой. Леонидъ Ѳедоровичъ, — вы бы присѣли, намъ поговорить надо. Дѣло непосредственно васъ касается.

ЛЕОНИДЪ [неохотно садясь].

Что такое?

ПЛАУНОВЪ.

Дяденька вашъ, согласно моему пророчеству, скончался безъ завѣщанія. И всѣ его имѣнія недвижимыя и движимыя теперь подлежатъ раздѣлу между одиннадцатью родственниками.

ЛЕОНИДЪ.

Почему-же одиннадцатью?

ПЛАУНОВЪ.

Точныя справки мною наведены. Но тутъ заковычка-съ! Что у Алексѣя Валентиновича завѣщанія не осталось, это утверждаетъ Ида Константиновна.

ЛЕОНИДЪ.

Если она утверждаетъ, значитъ это правда.

ПЛАУНОВЪ.

То-то, что нѣтъ-съ. Мною установлено за эти дни многое. Пока похоронная пертурбація шла, мнѣ кое-что удалось узнать. Завѣщаніе есть.

ЛЕОНИДЪ [изумленно].

Есть?

ПЛАУНОВЪ.

Составлено оно наканунѣ смерти. Мнѣ самъ покойный объ этомъ сказалъ, но я, признаться, ему не повѣрилъ. Ну, а теперь я отъ его лакея, давъ ему нѣкоторую мзду, узналъ, что, дѣйствительно, — наканунѣ его смерти, пер-

ваго числа, было у него трое, и писали они въ кабинетѣ завѣщаніе. Лакей это утверждаетъ съ точностью, такъ какъ неоднократно входилъ въ кабинетъ.

ЛЕОНИДЪ.

Что за вздоръ,—лакей вретъ.

ПЛАУНОВЪ.

Нѣтъ-съ. Лица, бывшія тамъ въ этотъ день: камергеръ Дружининъ, присяжный повѣренный Болотниковъ и докторъ Полѣновъ. Свѣдѣнія эти я провѣрилъ, такъ какъ у доктора былъ даже на квартирѣ и не далѣе, какъ сейчасъ.

ЛЕОНИДЪ.

И что-же?

ПЛАУНОВЪ.

Докторъ подтверждаетъ. Завѣщаніе составлено и ими подписано. Конечно, содержанія онъ не сообщаетъ,—только говоритъ, что всѣ будутъ довольны.

ЛЕОНИДЪ.

Гдѣ-же оно?

ПЛАУНОВЪ.

Не знаю-съ. Быть можетъ, ваша сестрица, Ида Константиновна, думаетъ по женской наивности, что можно его скрыть совсѣмъ, не подозрѣвая, чему она за это подвергается?

ЛЕОНИДЪ.

Да съ какою цѣлью?

ПЛАУНОВЪ.

Наивны вы, батюшка: — вотъ что значитъ въ искусство погрузиться, а жизнь-то презирать. Что для младенца ясно, то для васъ—задача.

ЛЕОНИДЪ.

Говорите прямо, безъ увертокъ.

ПЛАУНОВЪ.

Неизвѣстно, упомянуто-ли о ней въ завѣщаніи,—быть можетъ, и нѣтъ. А безъ завѣщанія-то она надѣется, что ей всетаки по родству кое-что перепадетъ. Такъ вотъ она и сочла удобнымъ бросить бумагу въ огонь.

ЛЕОНИДЪ.

Не можетъ быть! Развѣ это на нее похоже!..

ПЛАУНОВЪ.

Охъ, драгоцѣнный! Тогда только людей познать можно, когда они деньги дѣлить между собой сойдутся. Всегда это такъ бываетъ. Человѣкъ прекрасный, честный, благородный, не только свою всю душу, всѣ свои карманы готовъ для ближняго выворотить. А какъ коснулось этой гнусности, денегъ—конецъ! Лѣзетъ на брата съ ножомъ, глаза кровью налиты.

ЛЕОНИДЪ.

Такъ что-же по этому завѣщанію кому приходится?

ПЛАУНОВЪ.

А кто-же его знаетъ. Быть можетъ, все на университеты! Вѣдь хотѣлъ-же вашъ дядюшка такой сюрпризъ всѣмъ родственникамъ преподнести. А, можетъ, и нѣтъ,—можетъ сказано:—«оставляю всё племяннику моему Леониду, несмотря на его непочтительность и дерзость, а племянницѣ моей Идѣ и повѣренному Плаунову, — въ воздаяніе ихъ попеченій и преданности, — по пятнадцати тысячъ каждому».

[АДОЛЬФЪ хохочетъ.]

ЛЕОНИДЪ.

Чего вы?

АДОЛЬФЪ.

Смѣшно.

ЛЕОНИДЪ.

Что смѣшно?

АДОЛЬФЪ.

Такъ, своему смѣху. Могу-же я въ своей собственной квартирѣ смѣяться, когда найду въ этомъ надобность? Вотъ господинъ Плауновъ строитъ воздушные замки и думаетъ, что ему пятнадцать тысячъ дадутъ. Мнѣ смѣшно, и я смѣюсь.

ПЛАУНОВЪ.

Отчего-же мнѣ не дать-съ? Вѣдь не обманомъ я выманилъ деньги на биржевую игру.

АДОЛЬФЪ.

Ну, вотъ, вы ужъ и обидѣлись? Сейчасъ видно благороднаго человѣка.

ПЛАУНОВЪ.

Что-же-съ, я человѣкъ благородный. Мы, Плауновы, кравчими при Тишайшемъ царѣ были. Сапожнымъ ремесломъ никто не занимался. Ну-съ, такъ вотъ-съ, мнѣ кажется, необходимо возможно скорѣе извлечь этотъ документъ изъ прелестныхъ ручекъ вашей кузины.

ЛЕОНИДЪ.

Нѣтъ, не можетъ быть, чтобы она...

ПЛАУНОВЪ.

Факты-съ... Все сгруппировано. Если-бы вы посовѣтовали Идѣ Константиновнѣ немедленно бумагу эту предъ-

явить въ судъ на утвержденіе, а буде она её по женскому неразумѣнію уничтожила—покаяться чистосердечно—все-же легче будетъ. Я завтра заѣду къ судебному приставу, сообщу ему, что доселѣ ваша кузина проживаетъ въ квартирѣ покойнаго, и печати не наложены на вещи.

ЛЕОНИДЪ.

Да вѣдь его третьяго дня только похоронили.

ПЛАУНОВЪ.

Тутъ при Идѣ Константиновнѣ состоитъ Болотниковъ. Знаете, есть такой адвокатъ. Орлиный полетъ! Думаю, что онъ, какъ одинъ изъ свидѣтелей, что-то такое варганитъ. Я сунулся къ нему, сказался, что дома нѣтъ. Тѣнь какая-то отъ него на все это ложится, и болѣе всего онъ меня смущаетъ...

ЛЕОНИДЪ [встаетъ].

Что вы какую ахинею несете! Болотниковъ былъ на похоронахъ и, дѣйствительно, говорилъ съ Идой. Она совѣтуется съ нимъ, потому что васъ терпѣть не можетъ.

ПЛАУНОВЪ.

Дѣло вкуса.

ЛЕОНИДЪ.

Станетъ она скрывать завѣщаніе, если Болотниковъ одинъ изъ свидѣтелей.

ПЛАУНОВЪ.

Кушъ!

ЛЕОНИДЪ.

Что такое кушъ?

ПЛАУНОВЪ.

Кушъ предложили солидный, а онъ взялъ-съ. [Быстро.] Но все это мои предположенія. Я не знаю ничего. Но

хорошо было-бы, если-бы вы Иду Константиновну осторожно пугнули. Сказали-бы что, молъ, совсѣмъ не одобряютъ такихъ поступковъ и гладятъ за нихъ противъ шерсти.

V.

НАТАЛЬЯ [входя, Адольфу].

Спрашиваютъ васъ.

АДОЛЬФЪ.

А! [Уходитъ.]

ПЛАУНОВЪ [оглядываясь].

И знаете, зачѣмъ все это дѣлается?—Сестрица ваша хочетъ разстроить вашу свадьбу съ Бѣломорцевой. Почему? Да потому, что сама чувствуетъ къ вамъ болѣе чѣмъ родственную привязанность. Ей желательно было-бы самой выйти за васъ замужъ... Не удивляйтесь. Извѣстно-ли вамъ, что она на груди въ медальонѣ ваше изображеніе носитъ?

ЛЕОНИДЪ.

Да вы-то откуда знаете?

ПЛАУНОВЪ.

А черезъ ея горничную. Была такая у нея нимфа-Катенька. Ее изгнали за то, что она духами барышниными пользовалась,—вѣдь всякому человѣку хочется, чтобъ отъ него амбре пахло.—Ну, а теперь дѣвица эта у меня живетъ. Но у меня строго. Даже одеколону не трогаетъ. А разстроить кузинѣ вашу свадьбу тѣмъ легче, что господинъ Бѣломорцевъ тоже не очень очарованъ вашимъ бракомъ,—наслѣдство-то ваше все еще плаваетъ въ воздухѣ,—какъ-бы марево, фантасмагорія такая. Вотъ, господину Бѣломорцеву нужны какія-то жалкія семь тысячъ, а вы и тѣхъ достать

ему не въ состояніи. Что-же ему за стать такой зятекъ? Наслѣдство-то когда получите—неизвѣстно. У насъ иныя наслѣдственныя дѣла годами тянутся. Но, и кромѣ всего вышесказаннаго, я имѣю еще нѣкоторыя данныя касательно Иды Константиновны относительно того, что дѣйствія ихъ не безупречны.

ЛЕОНИДЪ.

Но лично мнѣ она не говорила, что нѣтъ духовнаго завѣщанія.

ПЛАУНОВЪ [вынимая бумагу].

Вотъ позвольте представить на ваше усмотрѣніе мои выводы.

VI.

[Изъ корридора выходятъ АДОЛЬФЪ ХИЛЬЦЪ и БѢЛОМОРЦЕВЪ.]

ЛЕОНИДЪ [встаетъ и здоровается съ нимъ].

Здравствуйте, Павелъ Платоновичъ.

БѢЛОМОРЦЕВЪ [видъ у него угнетенный, говоритъ растерянно].

Здравствуйте.

ПЛАУНОВЪ [кланяясь].

Мое почтеніе! Леонидъ Ѳедоровичъ, здѣсь мнѣ документы раскладывать неловко. Да и у нихъ, должно быть, свое дѣло. Не пойти-ли къ вамъ въ комнату?

ХИЛЬЦЪ.

Да, намъ банковые счета надо подвести.

ЛЕОНИДЪ.

У васъ дурной видъ, Павелъ Платоновичъ.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Да, да—очень я разстроенъ, очень.

ПЛАУНОВЪ.

Ну, Господь милосердъ и милостивъ. Онъ за терпѣніе посылаетъ. Можетъ, и вамъ пошлетъ.

[ЛЕОНИДЪ и ПЛАУНОВЪ уходятъ.]

ХИЛЬЦЪ.

Присядьте.

БѢЛОМОРЦЕВЪ [садясь].

Ну, какъ-же? Какъ дѣла?

ХИЛЬЦЪ.

Я вамъ сказалъ уже, глубокочтимый Павелъ Платоновичъ, чтобы вы не отчаявались. Нѣтъ такого положенія изъ котораго нельзя было-бы выйти.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Я третью ночь не сомкнулъ глазъ. Я, было, уже рѣшился на то, чтобы все продать:—мебель, картины, бронзу, остатки отъ моей былой обстановки, и переѣхать въ гостинницу. Позвалъ вчера маклака. За все онъ даетъ двѣ тысячи, а я знаю, что даже эти остатки стоятъ тысячъ десять. Ну, а другой дастъ три, ну — четыре и всетаки этого не хватитъ.

ХИЛЬЦЪ.

Зачѣмъ идти на такія крайнія мѣры? Вѣдь я же обѣщалъ вамъ, Павелъ Платоновичъ. Я говорилъ вамъ, что у меня есть на примѣтѣ человѣкъ, у котораго можно достать эти деньги сейчасъ-же. Я нашелъ такого человѣка,—деньги онъ даетъ.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Никогда я не забуду вашей услуги.

ХИЛЬЦЪ.

Но, конечно, онъ беретъ за это, пользуясь случаемъ, большую премію. Онъ хотѣлъ пятьдесятъ полугодовыхъ, но я настоялъ на двадцати пяти. Это огромный процентъ, но,—когда надо,—платятъ и сто процентовъ. Согласны вы, Павелъ Платоновичъ?

БѢЛОМОРЦЕВЪ [смѣясь].

Странный вы, Хильцъ! Человѣкъ тонетъ, ему подаютъ багоръ и спрашиваютъ:—согласенъ-ли онъ за него схватиться, объ остріе можно руку оцарапать. Вѣдь я и на пятьдесятъ процентовъ былъ-бы согласенъ.

ХИЛЬЦЪ.

Прекрасно. Въ такомъ случаѣ, Павелъ Платоновичъ, вы благоволите приготовить полугодовой вексель на сумму восемь тысячъ семьсотъ пятьдесятъ рублей и вы чистыми получите семь тысячъ. Это выгодно, взявши во вниманіе, что никакого обезпеченія вы не представляете.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Кромѣ честнаго имени.

ХИЛЬЦЪ.

Но, оказавъ вамъ эту маленькую услугу, Павелъ Платоновичъ, я осмѣлюсь просить васъ объ одномъ дѣлѣ,—какъ-бы въ награду за мою вамъ преданность, Павелъ Платоновичъ.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Я самъ хотѣлъ предложить вамъ. У насъ очищается мѣсто бухгалтера, Корольковъ уходитъ. Я убѣжденъ, что

мое ходатайство передъ директорами относительно васъ будетъ уважено. Я знаю, какой вы исправный работникъ, и могу васъ порекомендовать, не покрививъ душой.

ХИЛЬЦЪ.

Очень благодаренъ вамъ, Павелъ Платоновичъ... Но я хотѣлъ говорить съ вами совсѣмъ о другомъ. Вы знаете, Павелъ Платоновичъ, я человѣкъ ничтожный. Но трудъ и честность выдвинули меня. Мѣсто, о которомъ вы говорите, уже мнѣ обѣщано помимо васъ. Надѣюсь, что однимъ этимъ мѣстомъ не ограничится моя карьера, и быть можетъ, мнѣ удастся занять видный постъ въ министерствѣ, который, строго говоря, мнѣ уже тоже обѣщанъ.

БѢЛОМОРЦЕВЪ [удивленно].

Вотъ какъ?

ХИЛЬЦЪ.

Да. Мнѣ удалось оказать нѣкоторыя услуги нѣкоторымъ высокимъ лицамъ въ дѣлѣ своевременной покупки и продажи бумагъ. Мои способности были оцѣнены и, я надѣюсь, вознаградятся. Скажу вамъ откровенно: полученіе бухгалтерскаго мѣста меня мало прельщаетъ...

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Конечно, если вамъ обѣщано... Такъ вы что-же, собственно, мнѣ хотѣли сказать?

ХИЛЬЦЪ.

Я рѣшаюсь на смѣлый шагъ, Павелъ Платоновичъ. Я рѣшаюсь просить руки вашей дочери.

БѢЛОМОРЦЕВЪ [отъ изумленія не можетъ говорить].

Вы?

ХИЛЬЦЪ.

Вы поражены моей смѣлостью. Какъ! Ничтожный банковскій служащій мечтаетъ о прелестной дѣвушкѣ, дочери его начальника? Вѣдь это смѣшно! Не правда-ли, это смѣшно, Павелъ Платоновичъ? Но, можетъ быть, это странно только на первый взглядъ. Если вдуматься, то въ этомъ ничего страннаго нѣтъ.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Позвольте, Хильцъ. Вы знаете, что она невѣста другого?

ХИЛЬЦЪ.

Знаю. Но думаю, что въ этомъ не можетъ быть никакого препятствія. Чѣмъ-же я хуже господина Барабина? Мы не знаемъ, получитъ-ли онъ что-нибудь изъ этого фантастическаго наслѣдства. Занятія архитектурой ужъ не Богъ вѣсть какія золотыя горы. А я—на прямой дорогѣ. Правда, онъ красивѣе меня, но едва-ли умная дѣвушка нуждается въ красотѣ.

БѢЛОМОРЦЕВЪ [смотритъ на него во всѣ глаза].

Мнѣ все кажется, что вы съ ума сошли.

ХИЛЬЦЪ.

О, нѣтъ, напротивъ, я чувствую всѣ свои умственныя способности въ прекрасномъ состояніи.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Вы—нахалъ! Да какъ вы смѣете мечтать о моей дочери! Вы какой-то жалкій бухгалтеришка, какой-то линючій остзейскій нѣмецъ.

ХИЛЬЦЪ.

Но почему-же ваша дочь такъ недоступна? Что-же я—нечестный человѣкъ? Я не затрачивалъ банковскихъ денегъ.

БѢЛОМОРЦЕВЪ [ударивъ кулакомъ по столу].

Молчать! Я задушу васъ своими руками.

[ХИЛЬЦЪ пожимаетъ плечами.]

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Чтобъ дожить до такого позора, чтобъ каждый конторщикъ лѣзъ ко мнѣ въ зятья!

ХИЛЬЦЪ.

Позоръ еще въ будущемъ,—когда хватятся денегъ.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Я все продамъ, все заложу,—я на колѣняхъ буду просить, по грошамъ соберу мой долгъ, побираться буду, какъ нищій, но я внесу въ срокъ эти деньги. У меня еще три дня впереди.

ХИЛЬЦЪ.

Растрату могутъ найти раньше.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Раньше?

ХИЛЬЦЪ.

Не далѣе, какъ завтра.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Что-же, вы донесете?

[ХИЛЬЦЪ молчитъ.]

БѢЛОМОРЦЕВЪ [качая головой].

И этимъ путемъ вы хотѣли добиться быть моимъ зятемъ?

ХИЛЬЦЪ [нахмурясь].

Подумайте о дочери. Завтра будетъ провѣрка суммъ.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Я сегодня поѣду къ барону, все разскажу и подамъ въ отставку.

ХИЛЬЦЪ.

Да. А послѣ-завтра въ уличныхъ листкахъ появится сообщеніе: — «Въ городѣ говорятъ о растратѣ въ одномъ изъ банковъ. Б...., уличенный въ хищеніи, оставилъ службу и проч., и проч.». Не думаю, чтобъ это было пріятно вашей дочери.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Что вамъ отъ меня надо? Смѣетесь вы надо мной? За что вы меня мучаете? Я безъ того измученъ.

ХИЛЬЦЪ.

Помните, глубокоуважаемый Павелъ Платоновичъ, жизнь ваша была сплошнымъ праздникомъ до того дня, когда вы взяли эти деньги. На что вамъ жаловаться? Чего я хочу отъ васъ? Я хочу, чтобъ вы мнѣ позволили поговорить съ вашей дочерью.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

И вы надѣетесь достигнуть успѣха?

ХИЛЬЦЪ.

Отчего-же нѣтъ? Она будетъ благоразумнѣе васъ. Она пойметъ, что замужествомъ этимъ спасетъ васъ отъ позора и сдѣлаетъ партію, вполнѣ соотвѣтствующую вашему положенію.

БѢЛОМОРЦЕВЪ [смѣясь].

И, конечно, вы мнѣ не устроите ссуды иначе какъ подъ условіемъ этого брака?

ХИЛЬЦЪ.

Да, мнѣ бы такъ хотѣлось.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Тогда мнѣ остается только поблагодарить васъ за вашъ честный образъ дѣйствій.

ХИЛЬЦЪ.

Я не тороплю васъ отвѣтомъ, это—совершенно лишнее. Завтра, въ банкѣ, вы мнѣ потрудитесь отвѣтить. А до тѣхъ поръ я буду молчать и ждать.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

А вѣдь вы забыли, Хильцъ, что вы мнѣ обязаны,—что я принялъ васъ въ банкъ, я далъ возможность зарабатывать вамъ приличныя деньги, я наблюдалъ за вами.

ХИЛЬЦЪ.

Я вамъ искренно благодаренъ. Но я страстно люблю Ксенію Павловну. Я давно люблю ее и люблю не любовью пустоголоваго мальчишки, но какъ можетъ любить убѣжденный, строгій къ своимъ чувствамъ человѣкъ.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

И поэтому хотите потопить ея отца? Но я вамъ не дамъ торжествовать. Чего бы мнѣ это ни стоило,—вы не свалите меня.

ХИЛЬЦЪ.

Увидимъ. Придете ко мнѣ, да поздно будетъ.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Увидимъ. [Уходитъ.]

ХИЛЬЦЪ [одинъ].

Расхрабрился, старикъ! И откуда что взялось? Туда же—хорохорится.

VI.

КРАМАРЕНКО [слѣва, потягиваясь и зѣвая].

Съ кѣмъ у васъ здѣсь было бурное препирательство? Покоя не даете.

ХИЛЬЦЪ.

Какое вамъ дѣло, Крамаренко, кто у меня бываетъ?

КРАМАРЕНКО.

Съ какимъ бы удовольствіемъ, Хильцъ, я васъ повѣсилъ. Я—человѣкъ очень миролюбивый, но въ данномъ случаѣ съ удовольствіемъ вколотилъ-бы крюкъ, купилъ веревку и пожелалъ-бы вамъ счастливой дороги.

ХИЛЬЦЪ [безпокойно].

Вы слышали что-нибудь?

КРАМАРЕНКО.

Въ первый разъ вижу, какъ на ворѣ шапка горитъ. Живя съ вами, можно не покупать керосину и довольствоваться блистательнымъ освѣщеніемъ отъ вашей головы.

ХИЛЬЦЪ.

Господинъ Крамаренко, я бы попросилъ васъ взять назадъ ваши слова.

КРАМАРЕНКО [подходя къ роялю].

Ни за что! И не просите!

ХИЛЬЦЪ [строго].

Совѣтую вамъ, господинъ Крамаренко, быть сдержаннѣе.

КРАМАРЕНКО [беретъ аккорды].

Не желаю.

ХИЛЬЦЪ [презрительно].

Музыкантъ!

КРАМАРЕНКО [играетъ].

Музыкантъ, но не мошенникъ!

VII.

[Изъ двери въ корридоръ РОЗАНОВЪ.]

РОЗАНОВЪ.

Сдалъ по анатоміи все, чтобъ чортъ ее побралъ.

КРАМАРЕНКО.

Добре.

РОЗАНОВЪ.

И задамъ-же я храповицкаго! До завтрашняго утра. Хочешь апельсинъ? [Вынимаетъ изъ кармана.]

КРАМАРЕНКО.

Наслѣдство получилъ? Откуда сія роскошь?

РОЗАНОВЪ.

Ѣшь. Я вчера отъ твоихъ сосисокъ не отказывался. Ухъ, и высплюсь я!

КРАМАРЕНКО.

Постой,—Скажи мнѣ, шпіонить подло?

РОЗАНОВЪ.

Подло.

КРАМАРЕНКО.

И доносить подло?

РОЗАНОВЪ.

Подло.

КРАМАРЕНКО.

А вотъ я тутъ подслушалъ и хочу передать кой-кому то—что знаю.

РОЗАНОВЪ.

Да кого ты подслушалъ-то?

КРАМАРЕНКО.

Хильца.

РОЗАНОВЪ [махнувъ рукой].

Ну, этотъ раньше тебѣ подлость сдѣлаетъ, чѣмъ ты ему. Я не могу больше. Я спать пошелъ. [Уходитъ.]

VIII.

[КРАМАРЕНКО играетъ. Черезъ отворенную дверь корридора видно, какъ проходитъ ЛЮТИКОВА и возвращается, пропустивъ впередъ ИДУ, въ полномъ траурѣ.]

ЛЮТИКОВА.

Я сейчасъ скажу Леониду Ѳедоровичу. [Къ Крамаренко.] Что это ужъ теперь во всякомъ часу играть начали. Какъ канарейка, цѣлый день трещитъ.

КРАМАРЕНКО.

Виноватъ. [Кланяется Идѣ и отходитъ къ этажеркѣ съ нотами.]

ЛЮТИКОВА.

Извольте присѣсть. Устали, надо быть, послѣ похоронъ-то? Была я, была, какъ-же! Хорошо нынче эти бюры хоронять, — прежде только генераловъ такъ хоронили. Что̀ я хотѣла спросить у васъ. Я женщина ограниченная, даже пенсіона лишена, потому что мужъ мой только медаль одну имѣлъ—и то нестоющую. А всякому слеза своя солона. Ужъ вы извините, но мнѣ чрезвычайно важно знать. Теперь какъ дяденька Леонида Ѳедоровича изволилъ скончаться, вѣдь у Леонида Ѳедоровича, конечно, прекратится его мѣсячная субсидія. Могу-ли я разсчитывать на него, какъ на благонадежнаго жильца, или форменный отказъ ему дать?

ИДА.

Разсчитывайте. Онъ жилецъ благонадежный.

ЛЮТИКОВА.

Ну, вотъ, покорно васъ благодарю. Успокоили мои нервы. А то вѣдь изъ этого самаго безпокойство было. Покорно васъ благодарю. Сейчасъ я доложу о вашемъ прибытіи. [Уходитъ.]

КРАМАРЕНКО.

Осмѣлюсь просить позволенія представиться... Моя фамилія Крамаренко.

ИДА.

Очень рада. Братъ много говорилъ мнѣ о вашемъ талантѣ.

КРАМАРЕНКО.

Справедливый человѣкъ, Леонидъ Ѳедоровичъ,—все цѣнитъ по достоинству: Я рѣшаюсь обратиться къ вамъ съ очень странной просьбой. Мнѣ необходимо имѣть съ вами разговоръ [оглядываясь] и—глазъ-на-глазъ.

ИДА [удивленно].

Со мной? О братѣ, должно быть?

КРАМАРЕНКО.

Нѣтъ... То есть да... То есть какъ вамъ сказать... Пожалуй о немъ... Но, въ сущности, это совсѣмъ не о немъ, хотя непосредственно его касается. Теперь намъ могутъ помѣшать каждую минуту... войти... А это надо не торопясь дѣло сдѣлать.

ИДА.

Хорошо. Пріѣзжайте ко мнѣ завтра утромъ.

КРАМАРЕНКО.

Очень вамъ благодаренъ. Я думаю, что, можетъ быть, нѣкоторымъ людямъ окажу услугу. Хотя другимъ, весьма возможно, не только услуги не окажу, но даже напротивъ. Но все равно. Мнѣ видите, очень хочется вывести одного гуся на свѣжую воду. Конечно, это Леонида Ѳедоровича касается, — иначе, я бы не осмѣлился васъ безпокоить. Премного благодаренъ. Завтра я буду имѣть честь. Вотъ и братъ вашъ. Завтра къ часу я буду. Имѣю честь.

ИДА.

Я васъ буду ждать.

IX.

[ЛЕОНИДЪ и ПЛАУНОВЪ. Первый мраченъ и встревоженъ, второй грустно кротокъ. КРАМАРЕНКО уходитъ въ корридоръ, смѣривъ взглядомъ Плаунова.]

ЛЕОНИДЪ.

Здравствуй, Ида. [Холодно протягиваетъ ей руку.]

[Плауновъ хочетъ поцѣловать ей руку, она дѣлаетъ видъ, что не замѣчаетъ его.]

ПЛАУНОВЪ.

Какъ угодно-съ. [Вздыхаетъ.]

ЛЕОНИДЪ.

Я думалъ, Ида, что со смертью дяди кончатся всѣ наши семейные раздоры и мы будемъ жить мирно. Оказывается, что теперь еще хуже, чѣмъ прежде. Прежде былъ произволъ полусумасшедшаго старика, а теперь— ложь и обманъ.

ИДА [съ болью, нахмурясь].

Кто-же это лжетъ и обманываетъ?

ЛЕОНИДЪ.

Ты.

[ИДА прямо смотритъ на него.]

ЛЕОНИДЪ.

Но всѣ твои уловки и продѣлки мнѣ не опасны, — онѣ обратятся на тебя-самоё.

ИДА.

Что такое? Говори прямо, если хочешь что сказать. И, наконецъ, причемъ этотъ господинъ? Зачѣмъ онъ сидитъ здѣсь?

ЛЕОНИДЪ.

Онъ здѣсь по дѣлу.

ИДА.

Не думаю, чтобы по честному дѣлу.

ЛЕОНИДЪ.

Да, ты права. Онъ пришелъ по поводу тебя.

ИДА.

У меня съ нимъ дѣлъ нѣтъ. Впрочемъ, виновата. Вамъ слѣдуетъ получить пятьсотъ рублей за ваши хлопоты послѣднихъ мѣсяцевъ. Такова была воля дяди.

ПЛАУНОВЪ.

Какъ пятьсотъ? Десять тысячъ!

ИДА.

Дядя оставилъ вамъ пятьсотъ рублей. Потрудитесь придти за ними завтра во второмъ часу или прислать довѣренное лицо.

ПЛАУНОВЪ.

Да вѣдь это грабежъ!

ИДА.

Если не хотите брать, я отъ вашего имени передамъ ихъ въ комитетъ голодающихъ.

ПЛАУНОВЪ.

Я—самъ голодающій! Ни въ какіе комитеты я передавать своихъ денегъ не позволю. И притомъ, я могу доказать, что сумма, предлагаемая вами, далеко не соотвѣтствуетъ дѣйствительности.

ИДА.

Подавайте на меня въ судъ.

ЛЕОНИДЪ.

Что ты дѣлаешь, Ида!

ИДА.

Что?

ЛЕОНИДЪ.

Это ужасно. Ты можешь смотрѣть въ глаза, ты...

ИДА [улыбаясь].

Полно, выпей воды, успокойся и попроси уйти этого господина.

ЛЕОНИДЪ [опираясь на столъ].

Мы знаемъ все!

ИДА.

То-есть, что все?

ЛЕОНИДЪ.

То-есть, мы знаемъ, что въ воскресенье перваго числа было составлено новое духовное завѣщаніе.

[ИДА опускаетъ глаза.]

ЛЕОНИДЪ.

Зачѣмъ ты отъ меня это скрыла? [Она молчитъ.] Мы знаемъ, кто подписался подъ завѣщаніемъ. Болѣе того: извѣстно, что оно передано было дядей тебѣ. Его видѣли у тебя въ рукахъ.

ИДА.

Кто-же это видѣлъ?

ЛЕОНИДЪ.

Вашъ лакей—Никифоръ.

ИДА [нервно смѣется].

У меня въ домѣ вы производите слѣдствіе.

ЛЕОНИДЪ.

Въ домѣ дяди, а не у тебя. Въ домѣ, въ которомъ я не знаю по какому праву ты живешь.

ИДА.

Такова была воля дяди.

ПЛАУНОВЪ.

Позвольте усомниться.

ИДА.

Леонидъ, я еще разъ попрошу тебя,—нельзя-ли, чтобъ онъ ушелъ.

ЛЕОНИДЪ.

Нѣтъ, онъ не уйдетъ. Я ему очень благодаренъ. Онъ первый открылъ мнѣ глаза, и я теперь вижу, что̀ ты такое. Твое смиреніе, любовь,—все это лицемѣріе, за всѣмъ этимъ кроется твоя низкая, мелкая натура.

ИДА.

Пока онъ здѣсь, я тебѣ не скажу ни слова въ отвѣтъ.

ЛЕОНИДЪ.

Да тебѣ нечего отвѣчать мнѣ. Я на тебя всегда смотрѣлъ, какъ на старшую сестру, какъ на моего добраго генія, любилъ, уважалъ, вѣрилъ тебѣ. Я думалъ, что всю жизнь ты останешься передо мной въ этомъ ореолѣ. И вдругъ, я вижу, что ты, какъ и всѣ, ради своихъ прихотей, изъ одного эгоизма готова разбивать счастье другихъ. Ты теперь ни передъ чѣмъ не остановишься, даже передъ преступленіемъ. Я знаю, ты хотѣла разстроить мою свадьбу съ Ксеніей во что бы то ни стало и во что бы то ни стало выйти за меня замужъ. Ахъ, пожалуйста, не дѣлай испуганныхъ глазъ, и глаза твои — такая-же фальшь, какъ и все остальное. Я знаю, ты любишь меня, любишь не такъ, какъ любятъ родственниковъ. Твои глаза и поцѣлуи говорятъ другое. Я все знаю, все, до медальона съ моимъ портретомъ включительно.

[ИДА закрываетъ лицо руками, ПЛАУНОВЪ одобрительно киваетъ головой.]

ЛЕОНИДЪ.

Да я-то тебя не люблю,—слышишь? Если у меня была къ тебѣ родственная привязанность, такъ это была

привязанность ребенка къ его нянькѣ, къ старой дѣвѣ. Но теперь—кромѣ отвращенія, у меня нѣтъ къ тебѣ другого чувства. Ты хотѣла заставить меня уйти отъ дѣвушки, которую я люблю, ты употребляла всѣ хитрости, всѣ извороты лживой женской натуры, чтобы сбить меня съ прямого пути, заставить меня измѣнить своему слову. Но тебѣ не удастся никогда купить меня въ мужья — не удастся. Ты сама себя погубила, скрывъ завѣщаніе, и я пальцемъ не шевельну, чтобы спасти тебя.

ИДА [встаетъ].

Господинъ Плауновъ, теперь ужъ я покорнѣйше попрошу васъ уйти отсюда. Надѣюсь, что вы исполните мою просьбу.

[Плауновъ взглядываетъ на Леонида, опускаетъ глаза и встряхиваетъ головой съ видомъ человѣка, который все сдѣлалъ, что было въ его силахъ, беретъ шляпу, кланяется и, испустивъ глубокій вздохъ и посмотрѣвъ на небо, уходитъ неслышными шагами.]

ИДА.

Выслушай и ты меня, Леонидъ... Девяти лѣтъ ты остался сиротою, и дядя взялъ тебя къ себѣ въ домъ. Вскорѣ переѣхала туда и я, кончивъ институтъ. Мы подружились съ тобой—двое сиротъ. Мы вмѣстѣ учились, вмѣстѣ просиживали цѣлые вечера, вмѣстѣ лѣтомъ гуляли, катались, вмѣстѣ веселились, смѣялись, плакали, грустили. Когда ты былъ боленъ, я не отходила отъ тебя, когда ты чѣмъ-нибудь провинялся передъ дядей,—я тебя защищала. И мнѣ казалось, что ты любишь меня, и мнѣ казалось, что ты мнѣ благодаренъ за все, что я для тебя дѣлала. А съ тобой было не легко: у тебя тотъ вспыльчивый, неудержимый характеръ, который не знаетъ границъ,—что сегодня хорошо, то завтра дурно,—все подъ впечатлѣніемъ настроенія и минуты. Когда ты выросъ, когда ты сталъ уже самостоятельнымъ человѣкомъ, — я полюбила тебя. Да, я полюбила не любовью сестры!

Что-же дурного въ этомъ? Вѣдь я, какъ и ты, росла съ малыхъ лѣтъ сиротою, я не знала теплой ласки ни матери, ни отца, ни сестры, ни брата. А какъ рвалось сердце полюбить кого-нибудь, привязаться къ нему, жизнь за него положить. Ты лжешь,—ты никогда не замѣчалъ съ моей стороны никакихъ порывовъ: ни словомъ, ни намекомъ я никогда не выказывала тò, что, дѣйствительно, волновало меня, я за тебя душу готова была отдать, пойти за тобою слѣдомъ, даже не какъ жена, а какъ экономка, какъ твоя любовница. Но ты не видѣлъ этого, не хотѣлъ видѣть. Теперь прошлое, конечно, умерло — и больше не воскреснетъ. Я поняла, когда въ послѣдній разъ мы говорили съ тобой, тамъ, въ кабинетѣ у дяди,— я поняла, что ты навсегда для меня потерянъ и ко мнѣ не вернешься. Теперь ты въ глаза мнѣ кидаешь обвиненіе въ томъ, что я лгу, скрываю документы, совершаю какія-то преступленія. Это ты говоришь мнѣ, мнѣ — твоей сестрѣ, той Идѣ, которой всегда вѣрилъ, и въ которой усомнился по первому наговору какого-то проходимца. Стыдно, Леонидъ! Оправдываться предъ тобой я не стану,—это слишкомъ для меня унизительно. Дѣлай, что хочешь,—иди, куда хочешь,—Богъ съ тобой, я не буду тебя ни упрекать, ни просить. Мое чувство къ тебѣ слишкомъ глубоко, чтобы можно было сразу, съ корнемъ его вырвать. Ты для меня теперь такъ ничтоженъ, такъ жалокъ... и всетаки я еще люблю тебя... Прощай!.. [Уходитъ.]

ЗАНАВѢСЪ.

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Декорація второго дѣйствія. День.

I.

ИДА и КСЕНІЯ.

КСЕНІЯ.

Онъ пріѣхалъ ко мнѣ, только-что папа ушелъ въ должность. Я почти не замѣчала раньше этого Хильца. Онъ такой противный. Однѣ его холодныя, мокрыя, какъ лягушки, руки чего стоятъ. И вдругъ, онъ говоритъ, что, если я не соглашусь выйти за него замужъ, то папа долженъ идти въ Сибирь. Я просила подождать отвѣта, но онъ сказалъ, что некогда. Онъ говорилъ, что вы гадкая, низкая женщина, что вы отбиваете у меня Леонида, что вы какимъ-то обманомъ хотите получить наслѣдство...

ИДА.

И вы повѣрили этому?

КСЕНІЯ.

Нѣтъ, я этому не повѣрила. Я никогда не повѣрю, когда будутъ дурно говорить про васъ. Вы не способны ни на какой дурной поступокъ.

ИДА.

Вы лучше вашего жениха, — онъ вчера въ глаза кинулъ мнѣ упрекъ въ томъ, что я поступаю безчестно.

КСЕНІЯ.

Леня вамъ смѣлъ это сказать? Да какъ онъ рѣшился! Я сегодня-же его заставлю просить у васъ прощенія.

ИДА.

Не надо мнѣ, Ксенія, его извиненій. Вотъ что вы скажите мнѣ лучше: вы очень любите Леонида?

КСЕНІЯ.

Я такъ его люблю... Я не могу вамъ выразить. Во снѣ я все время только его и вижу. И все я вижу, что мы съ нимъ живемъ въ какихъ-то маленькихъ свѣтлыхъ комнатахъ,—и будто это Венеція. И мы съ нимъ говоримъ, говоримъ—безъ конца. Утромъ я проснусь—думаю о немъ. Умываюсь, причесываюсь, иду гулять, — вижу и слышу его. На улицѣ всѣ мужчины мнѣ кажутся на него похожими. Если я день его не вижу, у меня такая пустота дѣлается вотъ тутъ и плакать хочется и папѣ я дерзости говорю, и съ попугаемъ не разговариваю, и всѣ мнѣ кажутся гадкими, и я сама хуже всѣхъ, я уткнусь въ подушку и не могу спать — и точно камень какой въ груди, и мнѣ никого и ничего не надо.

ИДА.

Вы всегда будете его любить, никогда не разлюбите?

КСЕНІЯ [прижимаясь къ ней].

О, никогда!

ИДА [цѣлуя ее въ голову].

Любите его, милая дѣвочка, — постарайтесь умѣрить его вспыльчивость, научите его быть добрѣе и снисходительнѣе къ людямъ. [Вынимая изъ кармана золотой медальонъ на цѣпочкѣ.] Посмотрите,—это его портретъ, когда ему былъ двадцать одинъ годъ. Правда, какъ онъ хорошъ здѣсь? Возьмите, носите его — онъ скорѣе по праву принадлежитъ вамъ, чѣмъ мнѣ.

II.

[ЛАКЕЙ справа, подаетъ двѣ карточки.]

ИДА.

Крамаренко и Диканскій. Кто такой Диканскій? Я не знаю. Просите сюда въ кабинетъ, я сейчасъ выйду. Пройдемте ко мнѣ на минуту.

[Уходятъ.]

III.

[Справа входятъ КРАМАРЕМКО и ДИКАНСКІЙ.]

ЛАКЕЙ [впустивъ ихъ].

Просятъ обождать.

ДИКАНСКІЙ [остановясь посрединѣ комнаты].

О-хо-хо-хо! Это я тебѣ скажу! [Осматриваясь.] Шишкинъ, Айвазовскій... А это Мессонье, должно быть? Вотъ ужъ не знаешь, гдѣ что встрѣтишь... Мессонье! Да какой шикарный, чортъ его дери! [Становится колѣномъ на правый диванъ.] Ишь, комаринымъ жаломъ писалъ. Должно быть, доска металлическая. [Слегка щупаетъ пальцемъ.] Такъ и есть, Ай-ай-ай! Вѣдь это тысячъ тридцать франковъ, по меньшей мѣрѣ, стоитъ. [Переводитъ глаза выше.] А это Фортуни. [Захлебывается.] Крамаренко, дикарь, смотри, видишь ты эту акварельку? Вотъ за эту ручку, за одну ручку, я отдамъ всю современную школу. [Съ ужасомъ берется за голову и качаетъ головой.] Какъ писалъ, Боже ты мой, какъ писалъ! О-тто, маляръ былъ. Нашимъ—только ему кисти мыть.

КРАМАРЕНКО.

А еще идти сюда не хотѣлъ.

ДИКАНСКІЙ.

Почему-же я зналъ, что̀ здѣсь такое! [Осматривается.] Ну, бронза, это—современная, парижская: ишь, руки и ноги вывихнуты,—это теперь въ модѣ. Развихлялись всѣ. Ну—нехай имъ. Вотъ Шишкинъ—на совѣсть. Это чья фигурка? Делароша. Я не люблю Делароша, хотя въ Академіи у его «Кромвеля» сапоги,—знаешь такъ чемоданисто написаны. А это что наверху,—не видно? Хоть-бы подсадилъ ты меня, дикарь.

КРАМАРЕНКО.

Ты еще предложи мнѣ въ чехарду здѣсь играть!

ДИКАНСКІЙ [не слушая его].

Странная штука это искусство. Пишемъ мы для толпы. Толпа искусства не понимаетъ. Критикъ объяснить ей ничего не можетъ, потому что самъ только «жупельныя» слова знаетъ, а въ искусствѣ ни-ни. Товарищи хорошимъ вещамъ завидуютъ и даже ругаютъ. И выходитъ, что пишутъ картины для дальнѣйшихъ поколѣній художниковъ. Поздній потомокъ пойметъ насъ, тѣхъ именно, кто теперь въ тѣни остался. А что, коли я на стулъ стану? Посторожи-ка, дикарь. [Становится.] Сочный этюдикъ! Ловко! Должно, Рѣпина.

КРАМАРЕНКО.

Слѣзай!

ДИКАНСКІЙ [быстро спрыгивая]

Идетъ кто? Или ты совралъ?

[Входитъ ИДА.]

IV.

КРАМАРЕНКО.

Согласно вашему позволенію, осмѣлился явиться. Болѣе того, я рѣшился привести нашего общаго друга—моего и вашего брата—художника Диканскаго.

ИДА.

Очень пріятно. Садитесь. [Садится справа на диванъ, рядомъ съ ней на креслѣ Крамаренко. Противъ нея—тоже въ креслахъ—Диканскій, который все время смотритъ черезъ ея голову на Мессонье.]

КРАМАРЕНКО.

Конечно, я удивилъ васъ вчера смѣлой просьбой, но, какъ вы сами увидите... Впрочемъ, если позволите, я безъ предисловій.

ИДА.

Да, пожалуйста.

КРАМАРЕНКО.

Изволите видѣть. Въ петербургскихъ домахъ почему-то архитектора строятъ удивительно тонкія стѣны. Двери затворяются тоже какъ-то плохо, всегда въ нихъ щель либо снизу, либо въ серединѣ. Поэтому, несмотря на полнѣйшее нежеланіе, слышно рѣшительно все, что дѣлается за стѣной. Вдобавокъ у меня чрезвычайно изощренъ слухъ, такъ что за двѣ комнаты разговоръ доходитъ до меня отъ слова и до слова. Согласитесь, что это чрезвычайно непріятно.

ИДА.

Вѣроятно.

КРАМАРЕНКО.

А живу я въ меблированныхъ комнатахъ, гдѣ всегда себя чувствуешь, точно на пароходѣ. Чуть пошевельнешься,

ужъ всѣ такъ съ любопытствомъ и смотрятъ. Такъ вотъ-съ, благодаря стеченію и совокупности всѣхъ этихъ гнусныхъ обстоятельствъ, довелось мнѣ узнать слѣдующее: живетъ у насъ господинъ Хильцъ, кандидатъ—только не на каѳедру, а на червоннаго валета. Впрочемъ, это мое личное убѣжденіе. Такъ какъ мнѣ извѣстно, что вы нѣсколько заинтересованы господиномъ Бѣломорцевымъ... Хильцъ вчера...

ДИКАНСКІЙ.

Виноватъ, я перебью тебя... Сударыня, не можете-ли вы сказать, сколько было заплачено за этого Фортуни?

ИДА.

Право, не знаю.

КРАМАРЕНКО.

Ну, что-же ты меня на важномъ мѣстѣ перебиваешь... Такъ вотъ-съ, Хильцъ вчера утромъ сдѣлалъ доносъ на господина Бѣломорцева. И, по всѣмъ вѣроятіямъ, у него на службѣ будетъ непріятность, и—грандіозная. Мнѣ и хотѣлось немедленно васъ оповѣстить объ этомъ. Не спрашивайте, какъ и почему я узналъ. Обстоятельства такъ сложились, что я даже видѣлъ самый документъ, хотя и черновой, писанный господиномъ Хильцемъ. Очевидно, требуется дѣйствовать немедленно. Я счелъ своимъ долгомъ пріѣхать къ вамъ, такъ какъ, кромѣ того, мнѣ извѣстно о посягательствѣ этого нѣмца на руку дочери господина Бѣломорцева.

ИДА.

Я вамъ очень благодарна. Я сейчасъ распоряжусь. [Идетъ къ телефону на письменномъ столѣ и звонитъ.] Номеръ тысяча четыреста...

ДИКАНСКІЙ.

Знаешь, у нея какая-то игра въ глазахъ, когда она слушаетъ. Иногда точно тучки плывутъ, а потомъ опять

ясно. Её на оливковомъ бы фонѣ написать. Этакая золотистая плюшевая портьера.

КРАМАРЕНКО.

Мы сперва дѣло свое кончимъ, а потомъ о картинахъ будемъ говорить.

ИДА [въ телефонъ].

Антипъ Васильевичъ дома? Уѣхалъ? Куда? Ахъ, сюда ко мнѣ! И давно? Благодарю васъ. [Закрываетъ телефонъ.] Сейчасъ пріѣдетъ мой повѣренный, и я распоряжусь.

КРАМАРЕНКО.

Кромѣ того, вотъ и Диканскій имѣетъ нѣчто сообщить вамъ по поводу того-же Хильца и Бѣломорцева.

ИДА [со вниманіемъ смотритъ на Диканскаго].

Я васъ слушаю.

ДИКАНСКІЙ.

Я не хотѣлъ, въ сущности, мнѣ что-же... Но вотъ онъ—консерваторъ, говоритъ, что надо сказать. Я живу стѣна объ стѣну съ Хильцемъ. Мнѣ еще слышнѣе, чѣмъ ему. Какъ Хильцъ сдѣлаетъ пакость какую съ выгодой для себя, такъ придетъ домой и нѣмецкую шансонетку поётъ. Другихъ, болѣе дорогихъ развлеченій онъ не допускаетъ. Тутъ, въ январѣ, онъ очень ужъ распѣлся, а на другой день мнѣ мой братъ говоритъ,—мой братъ служитъ въ текущемъ счетѣ въ «обществѣ учетно-поземельнаго кредита», такъ онъ говоритъ, что Хильцъ на свой текущій счетъ четыре тысячи положилъ... И деньги эти тамъ не тронуты и лежатъ.

ИДА [не понимая].

Съ какой-же стороны это меня касается?

КРАМАРЕНКО.

Васъ не касается совсѣмъ... Но по справкамъ оказывается, что это — деньги господина Бѣломорцева, и даны Хильцу на какую-то аферу. Вотъ какъ я узналъ это отъ Диканскаго, такъ и рѣшилъ передать это вамъ. Я думаю, и объ этомъ слѣдуетъ предупредить господина Бѣломорцева, чтобъ онъ зналъ, какой это гусь. Вѣдь вотъ я теперь увѣренъ, что вы чуть-ли не съ презрѣніемъ на насъ смотрите: подслушали что-то у дверей и прибѣжали скорѣе передать.

ИДА.

Нѣтъ, вы хорошо сдѣлали, что пришли.

ДИКАНСКІЙ.

Да это все онъ,—я тутъ не при чемъ. Мое дѣло сторона, я никогда не путаюсь ни во что и мнѣ совѣстно, что я такъ вломился въ ваше обиталище. Но разъ ужъ вломился, позвольте васъ просить объ одномъ крайнемъ одолженіи. Вы мнѣ можете наслажденіе на всю жизнь доставить. Разрѣшите скопировать этого Фортуни.

ИДА.

Пожалуйста, копируйте—очень рада.

ДИКАНСКІЙ.

Я осторожненько со стѣнки сниму и такъ-же бережненько повѣшу. Мнѣ денька три-четыре всего.

V.

[БОЛОТНИКОВЪ справа, очень пожилой, съ большой рыжей бородой,— похожъ нѣсколько на кучера изъ купеческаго дома].

ИДА [поднимаясь, ему навстрѣчу].

Добрый день, Антипъ Васильевичъ. Я телефонировала вамъ. Надо какъ можно скорѣе распорядиться деньгами Бѣломорцева.

БОЛОТНИКОВЪ [московскимъ говоромъ].

Да я ужъ распорядился. Сегодня къ одиннадцати часамъ все было послано въ банкъ. Я и росписку получилъ.

ИДА.

Ну, вотъ и прекрасно. Знакомьтесь господа между собою. [Подходитъ къ двери налѣво.] Ксенія, идите сюда.

VI.

[КСЕНІЯ входитъ.]

ИДА.

Вашего папы дѣла̀ устроены. [Тихо говоритъ съ ней въ глубинѣ.]

БОЛОТНИКОВЪ.

Очень пріятно. [Диканскому.] Если не ошибаюсь, вы писали портретъ присяжнаго повѣреннаго Вахрушина? Вы? Родной мой, нельзя-ли и меня написать? Только во весь ростъ, въ моемъ кабинетѣ, и въ рукѣ уставы 64-го года.

ДИКАНСКІЙ.

Это все можно. Даже, если желаете, можно Ѳемиду или Солона сбоку помѣстить.

БОЛОТНИКОВЪ [беретъ его за пуговицу.]

Что-жъ, Солона, знаете, это прекрасно. Ѳемиды я не люблю: ужъ слишкомъ аллегорично, глаза завязаны — и все такое. А Солонъ—дѣло другое—и юридическія и финансовыя реформы производилъ съ большимъ тактомъ. Все-таки на память дѣтямъ останется. Зайдите-ка ко мнѣ—до десяти ежедневно. [Вынимаетъ карточку.]

КРАМАРЕНКО [Идѣ].

Позвольте откланяться.

ИДА.

Нѣтъ, я васъ попрошу остаться. Мнѣ, быть можетъ, понадобится ваше присутствіе.

VII.

БѢЛОМОРЦЕВЪ [справа.]

Йда Константиновна, какъ васъ благодарить? [Цѣлуетъ ея руку.] Словъ нѣтъ. Повѣрьте, при первой возможности я разочтусь.

БОЛОТНИКОВЪ [жметъ руку Бѣломорцеву].

Старый пріятель! [Къ Идѣ.] Мы вѣдь товарищи по гимназіи, рядомъ сидѣли. Я ему латинскіе переводы дѣлалъ, а онъ за меня логариѳмы подыскивалъ. [Беретъ за пуговицу и отводитъ его всторону.] А это, Бѣломорцевъ, не по пріятельски.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Что такое?

БОЛОТНИКОВЪ.

Узнаю вчера, что ты въ такомъ критическомъ положеніи. Отчего было ко мнѣ не обратиться? Неужели у

меня не нашлось-бы какихъ-нибудь семи тысячъ для стараго, школьнаго друга?

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Не хотѣлъ рисковать—получить отказъ.

БОЛОТНИКОВЪ.

Вотъ за это и журю. Не хорошо, не по пріятельски.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

А помнишь четыре года назадъ?

БОЛОТНИКОВЪ.

Что такое?

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Я обратился къ тебѣ съ просьбой о восьмистахъ рубляхъ,—ты отказалъ.

БОЛОТНИКОВЪ.

Не можетъ быть.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Однако было.

БОЛОТНИКОВЪ.

Но что-же изъ этого слѣдуетъ? То,—что у меня не было тогда денегъ свободныхъ.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Душа моя, ты тогда съ барона Тербеца получилъ сорокъ тысячъ за желѣзнодорожный процессъ.

БОЛОТНИКОВЪ.

Ну, тогда, дружокъ, это недоразумѣніе. [Отходитъ отъ него.]

VIII.

ПЛАУНОВЪ [справа. Краснѣе обыкновеннаго].

Имѣю честь. [Сухо кланяется Идѣ.] Имѣю честь, господинъ Бѣломорцевъ... Честь имѣю, господинъ піанистъ... господинъ портретистъ... [При видѣ Болотникова лицо его вытягивается.] А-а, батюшка, давно не имѣлъ чести. Какъ поживаете?

БОЛОТНИКОВЪ [вынимая изъ портфеля бумагу].

Васъ, господинъ Плауновъ, я могу обрадовать. Вы получите наслѣдство.

ПЛАУНОВЪ [у него очки сползаютъ съ носа].

А-а!

БОЛОТНИКОВЪ.

Пятьсотъ... но не тысячъ...

ПЛАУНОВЪ.

Во второй разъ слышу эту цифру,—и не могу съ ней согласиться. Въ завѣщаніи говорилось о десяти тысячахъ. Если-же изъ нихъ осталась двадцатая часть, то, очевидно, тутъ прискорбное недоразумѣніе.

БОЛОТНИКОВЪ.

Никакого-съ.

ПЛАУНОВЪ.

Недоразумѣніе. И повѣрьте, что у меня есть факты.

БОЛОТНИКОВЪ.

У меня тоже факты.

ПЛАУНОВЪ.

Вообще, въ этихъ фактахъ надо разобраться. Тутъ есть кой-какіе недочеты. И вотъ, мы съ Леонидомъ Ѳедоровичемъ для этого и прибыли сюда.

ИДА.

А онъ пріѣхалъ тоже. И прекрасно. [Подходитъ съ Ксеніей къ Бѣломорцеву.]

ПЛАУНОВЪ.

Они сейчасъ будутъ. А я только-что отъ судебнаго пристава, моего стараго пріятеля,—хотѣлъ ему внушить о незаконности дѣйствій, но, къ сожалѣнію, не засталъ дома. Почему до сихъ поръ не производятъ описи, что это такое?

БОЛОТНИКОВЪ.

Что у васъ за привычка соваться въ чужія дѣла? И приставъ былъ здѣсь, и все сдѣлано, что надо.

ПЛАУНОВЪ.

Не въ чужія дѣла я путаюсь, а за правду стою. Правда для меня прежде всего. А здѣсь неправда творится,—и хочется мнѣ на все это пролить свѣтъ.

КРАМАРЕНКО.

Я думаю, если вы его прольете, такъ вамъ-же будетъ хуже.

ПЛАУНОВЪ [оглядывается].

Кажется, я имѣю честь говорить съ господиномъ Болотниковымъ, а не съ кѣмъ другимъ. [Крамаренкѣ.] Что вы на меня смотрите?

КРАМАРЕНКО.

И воробей на кошку смотритъ. Я удивляюсь на васъ.

ПЛАУНОВЪ.

Удивляетесь, господинъ піанистъ?

КРАМАРЕНКО.

Удивляюсь. Какъ это вы за правду стоите, а сами съ господина Бѣломорцева хотите двадцать пять процентовъ взять?..

ПЛАУНОВЪ.

Что такое, что такое? Какіе двадцать пять...

КРАМАРЕНКО.

А за тѣ деньги, которыя черезъ Хильца вы хотите подъ вексель дать?

БѢЛОМОРЦЕВЪ [Плаунову].

Ахъ, такъ это вы мой благодѣтель?

БОЛОТНИКОВЪ [Плаунову].

Душенька,—да это подъ законъ о ростовщикахъ подходитъ!

ПЛАУНОВЪ.

Позвольте, господа, позвольте. На одного нападаетъ цѣлый десятокъ; на слабаго, беззащитнаго старика. Господинъ піанистъ говоритъ голословно. Кому я давалъ деньги въ ростъ на незаконныхъ условіяхъ? Никому. А что, дѣйствительно, припоминаю,—испытывалъ нѣкоего господина Хильца для своихъ личныхъ цѣлей и говорили мы о стѣсненномъ положеніи господина Бѣломорцева,—это было. А рядомъ въ комнатѣ на диванѣ лежалъ въ притворномъ снѣ господинъ Крамаренко и, воспринявъ краемъ уха нѣкоторые обрывки изъ этого разговора, теперь распространяетъ обо мнѣ слухи, могущіе повредить моему честному имени. Не хорошо-съ, молодой человѣкъ, не хорошо!

КРАМАРЕНКО.

Я и не думалъ спать. Я еще слышалъ кое-что о тѣхъ деньгахъ, что господинъ Бѣломорцевъ далъ Хильцу. Вы же совѣтовали эти-же деньги господину Бѣломорцеву подъ проценты дать...

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Тѣ деньги на биржѣ погибли безвозвратно.

КРАМАРЕНКО.

А вотъ спросите-ка у Ванъ-Дика на этотъ счетъ.

ДИКАНСКІЙ.

Пойдемте всторонку, я вамъ разскажу. Вотъ и господинъ Болотниковъ послушаетъ.

ПЛАУНОВЪ.

Это западня какая-то! Удивляюсь долготерпѣнію Господа! Какъ жить послѣ этого! [Съ омерзѣніемъ.] Шпіонятъ, переносятъ, ловятъ, стращаютъ... Ида Константиновна, матушка, — вы еще молодая особа, побойтесь Бога. Вѣдь вы можете подтвердить, что̀ мнѣ по первому завѣщанію приходилось.

БОЛОТНИКОВЪ [Бѣломорцеву].

Что-жъ, чудесно... Можно слѣдствіе произвести и Хильца этого потянуть.

IX.

ЛЕОНИДЪ [справа].

Фу, какое блестящее общество! [Цѣлуетъ руку невѣсты, здоровается съ ея отцомъ, слегка кланяется Болотникову; сестрѣ и прочимъ даже не кланяется.]

ИДА.

Я очень рада, я только тебя и ждала.

ЛЕОНИДЪ.

Я не знаю, будешь-ли ты рада моему визиту. Но я пріѣхалъ, чтобъ покончить со всей этой мерзостью, и навсегда. Хорошо, что здѣсь твой повѣренный.

ИДА.

Слушай, Леонидъ. Я ничего не имѣю относительно того: въ послѣдній разъ мы видимся, или нѣтъ. Это зависитъ отъ тебя. Но мнѣ кажется, намъ незачѣмъ наши семейныя пререканія дѣлать достояніемъ всѣхъ.

ЛЕОНИДЪ.

А я хочу на площади кричать о томъ, что̀ здѣсь дѣлается,—о томъ, какъ ты скрыла духовное завѣщаніе...

ИДА.

Постой. Ты вчера глазъ-на-глазъ осмѣлился мнѣ кинуть это обвиненіе. Сегодня ты повторяешь его при постороннихъ. Значитъ, ты считаешь меня на это способной?

ЛЕОНИДЪ [послѣ нѣкотораго усилія].

Д-да!

КСЕНІЯ [кидаясь къ нему].

Лёня, что ты говоришь, да ты—сумасшедшій! Ты знаешь, какъ я люблю тебя, но послѣ этого...

ИДА.

Оставь его, Ксенія... Дай мнѣ кончить... Когда я скрывала завѣщаніе?.. Спросилъ-ли ты хоть разъ объ немъ у меня?

ПЛАУНОВЪ.

Я, матушка, спрашивалъ у васъ объ этомъ третьяго дня.

ИДА.

Да. Вы спросили, у меня-ли духовное завѣщаніе,—я сказала—нѣтъ,—потому что оно было у моего повѣреннаго. А входить въ подробности съ вами, я не считала нужнымъ. Я вообще хотѣла, у меня была причина не говорить о завѣщаніи, до его утвержденія, даже съ Леонидомъ.

ЛЕОНИДЪ.

Почему-же это даже со мной? Говори, пожалуйста, не стѣсняйся, при всѣхъ; у меня никакихъ тайнъ нѣтъ.

ИДА.

Ты хочешь этого? Хорошо. Я не хотѣла дѣлать тебѣ преждевременно непріятности,—и только потому отговаривалась незнаніемъ. По завѣщанію, тебѣ ничего не отказано.

ЛЕОНИДЪ [закусывая губы].

Вотъ какъ!

ПЛАУНОВЪ.

Хо-хо! Такъ-таки все на университеты?

ИДА.

Нѣтъ. Оставлено все мнѣ.

ПЛАУНОВЪ [срываясь съ мѣста].

Позвольте поздравить, Ида Константиновна. Ручку можно?

ИДА [пряча руки].

Нѣтъ, нельзя.

БОЛОТНИКОВЪ.

Если желаете, я могу вамъ нотаріальную копію показать. Завѣщаніе ужъ третій день, какъ въ судѣ.

ЛЕОНИДЪ.

Нѣтъ, благодарю васъ.

ПЛАУНОВЪ.

Это любопытно,—позвольте. [Беретъ бумагу.]

ИДА.

Зачѣмъ мнѣ было говорить тебѣ о томъ, что задѣвало твое самолюбіе, лишало, быть можетъ, надеждъ? Дядя, въ минуту сильнаго гнѣва на тебя, сдѣлалъ это завѣщаніе. Весьма вѣроятно, что онъ потомъ переписалъ-бы его, измѣнилъ. Теперь-же—дѣло сдѣлано, поправить его нельзя.

ЛЕОНИДЪ.

Но всетаки,—отчего я узнаю обо всемъ послѣднимъ, а какой-то Болотниковъ—первымъ?

ИДА.

Ты напрасно упрекаешь Антипа Васильевича. Онъ первый пріѣхалъ послѣ смерти дяди, онъ мнѣ помогъ во всемъ. Мнѣ нужны были деньги на первое время,—онъ мнѣ ихъ далъ.

БОЛОТНИКОВЪ.

Пустяки самые—двѣнадцать съ чѣмъ-то тысячъ. Не стоитъ объ этомъ говорить. А что господинъ Барабинъ протестуетъ, мнѣ это все равно, увѣряю васъ, и даже останавливать его нѣтъ никакой причины.

X.

ЛАКЕЙ [справа, подаетъ Бѣломорцеву карточку].

Желаютъ васъ на минуту видѣть.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Это—Хильцъ. Ида Константиновна, вы мнѣ позволите принять его при всѣхъ?

ИДА.

Пожалуйста. Просите ихъ сюда.

ВОЛОТНИКОВЪ.

Посмотримъ, что это за экземпляръ.

XI.

[Всѣ сидятъ въ такомъ порядкѣ: у камина — Ида, ближе къ публикѣ рядомъ съ ней—Ксенія; по другую сторону Бѣломорцевъ; направо—на диванѣ Плауновъ; возлѣ него Болотниковъ. Леонидъ стоитъ посрединѣ. Крамаренко и Диканскій въ глубинѣ смотрятъ картины. Справа входитъ Хильцъ.]

ХИЛЬЦЪ [дѣлаетъ почтительный поклонъ хозяйкѣ и останавливается посрединѣ комнаты].

Глубоко извиняюсь, Павелъ Платоновичъ, но я пріѣхалъ за вами изъ банка. Ваше присутствіе необходимо.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Васъ кто послалъ?

ХИЛЬЦЪ.

Никто. Я самъ счелъ своею обязанностью пріѣхать. Меня глубоко поразило, что вы находитесь здѣсь. Черезъ два часа будетъ ревизія.

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Господь съ ней,—пусть. У меня все въ порядкѣ.

ХИЛЬЦЪ.

Не совсѣмъ въ порядкѣ.

ПЛАУНОВЪ [отрываясь отъ бумаги].

Батюшка, да опоздали вы! Не удалась ваша мошенническая продѣлка. Достали денегъ безъ васъ, видимое дѣло. [Продолжаетъ читать. Хильцъ точно каменѣетъ при этихъ словахъ и безсмысленно смотритъ на всѣхъ.]

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Сознайтесь, Хильцъ, эта экстренная ревизія черезъ васъ идетъ?

КРАМАРЕНКО [горячо].

А знаете, Ида Константиновна, если вы такой отрядъ соберете,—сколько молодежи, хорошей молодежи, съ вами поѣдетъ! Только дайте работы. Вѣдь ты поѣдешь, Ванъ-Дикъ?

ДИКАНСКІЙ.

Натурально.

ИДА.

Поговоримъ еще, господа, объ этомъ, — время будетъ! Такъ я на васъ разсчитываю...

ПЛАУНОВЪ.

А я-съ не поѣду. У меня у самого будутъ дѣти голодныя, если вотъ такія завѣщанія часто будутъ дѣлаться.

ИДА.

Я надѣюсь, господинъ Плауновъ, что не только вы со мной не поѣдете, но даже и въ домъ ко мнѣ никогда не придете. Я нарочно поэтому просила Антипа Васильевича немедленно, до утвержденія, расплатиться съ вами, чтобъ не было у васъ предлоговъ бывать здѣсь...

ПЛАУНОВЪ [подходя къ ней].

Быть можетъ, хоть пять тысченокъ вы отъ себя дадите? Вотъ вы какимъ-то тамъ невѣдомымъ голодающимъ на краю свѣта помогать хотите и думаете, что они болѣе нуждаются, чѣмъ я. А вѣдь это—благотворительность, неправильно поставленная. Надо благотворить, не разбирая. Обдуманность здѣсь неумѣстна. Кто ближе къ вамъ стоитъ, кто первый подошелъ, тому—не взирая—и подайте. Вотъ что истиннымъ христіанствомъ-то называется.

БОЛОТНИКОВЪ [писавшій въ глубинѣ].

Ничего вы болѣе вашихъ пятисотъ не получите. Вотъ вамъ чекъ—именной, такъ что вы въ банкѣ потрудитесь удостовѣрить подпись.

ПЛАУНОВЪ [беретъ чекъ и со вздохомъ].

Куда мы идемъ, Боже мой, куда мы идемъ!

БОЛОТНИКОВЪ.

Я иду въ Сенатъ. [Жметъ руку Идѣ и прощается съ остальными всѣми.] А вы куда идете—не знаю. Въ банкъ, я полагаю.

ПЛАУНОВЪ.

Да, пойду побираться. Даже въ такомъ домѣ, среди такого великолѣпія, гдѣ въ виссонъ и пурпуръ одѣваются,—и тамъ только крохи со стола падаютъ!

КРАМАРЕНКО.

А вамъ бы живьемъ всѣхъ глотать! [Идѣ.] Позвольте и намъ откланяться.

ИДА [весело].

Такъ мы образуемъ отрядъ?

КРАМАРЕНКО.

Всё устроимъ. [Прощается съ ней.]

ДИКАНСКІЙ.

А Фортуни я приду копировать. [Прощается съ Идой.]

БОЛОТНИКОВЪ [идя къ выходу].

Помните: съ Солономъ?

ДИКАНСКІЙ [идя къ выходу].

Да ужъ гдѣ забыть!

ПЛАУНОВЪ [слѣдуя за ними].

Когда-нибудь да восторжествуетъ правда! Ударитъ часъ — и восторжествуетъ!

БѢЛОМОРЦЕВЪ.

Ну, и мнѣ тоже въ банкъ пора... Спасибо, Ида Константиновна, спасибо!.. [Уходитъ.]

[Леонидъ все время задумчиво сидѣлъ справа. Ида подходитъ къ нему.]

ИДА.

Итакъ, Леонидъ, мы видимся въ послѣдній разъ?

ЛЕОНИДЪ [поднимая голову].

Не знаю.

ИДА.

Ну, вотъ мы теперь все свои. Скажи, Леонидъ, въ чемъ же была моя вина? Завѣщаніе я узнала только послѣ смерти дяди, когда Болотниковъ пріѣхалъ, вскрылъ его при мнѣ, прочелъ и взялъ къ себѣ. Знаешь-ли, на что уполномочилъ меня въ немъ дядя?

ЛЕОНИДЪ.

Не давать мнѣ ни гроша?

ИДА.

Нѣтъ, не только это. Онъ желаетъ, чтобъ имущество его тратилось такъ, какъ онъ самъ его тратилъ при жизни. А ты знаешь, какъ широко онъ велъ дѣло благотворительности.

ЛЕОНИДЪ.

Ты хочешь мнѣ предложить мѣсто въ его богадѣльнѣ?

ИДА.

Стыдись, Лёня, нехорошо такъ говорить. Ты больно оскорбилъ меня вчера, еще больнѣе оскорбилъ сегодня. И

не тѣмъ, что ты при всѣхъ сказалъ, будто я утаила документъ. Всѣ знаютъ, что это вздоръ,—и ложь обратилась на тебя самого. Больно мнѣ, что ты повѣрилъ въ возможность этого и открыто признался. И я стала такъ одинока, такъ далека ото всѣхъ. Сегодня я вполнѣ. навсегда оторвала тебя отъ сердца. Вчера я еще сомнѣвалась въ этомъ,—теперь для меня сомнѣній нѣтъ. Одинокой я и останусь и съумѣю такъ прожить до конца моихъ дней. Я хочу только одного. Когда наступитъ та минута, которая раньше-ли, позже-ли, но всякаго изъ насъ ждетъ, когда наступитъ мгновеніе — обернуться назадъ и сказать: — «Жизнь кончена!», чтобъ въ эту минуту не стало стыдно и горько за себя.

КСЕНІЯ.

Нѣтъ, мы не оставимъ васъ. Я не знаю, какъ хочетъ Леонидъ, но вы будете всю жизнь для меня лучшимъ другомъ. Этотъ медальонъ, что вы дали, никогда я не сниму. Всегда и вездѣ онъ будетъ со мною.

ЛЕОНИДЪ.

Какой медальонъ? [Она подаетъ. Онъ взглядываетъ.] Ты его отдала ей?

ИДА [спокойно, стоя передъ нимъ].

Да, отдала.

ЛЕОНИДЪ.

Хорошо. [Встаетъ.] Ты всегда останешься собою, Ида.

ИДА.

Я еще не кончила. Дядя не хотѣлъ сдѣлать тебя своимъ наслѣдникомъ, наслѣдникомъ его школъ, пріютовъ и убѣжищъ, и я противъ его воли не пойду и передавать ихъ тебѣ я не стану. Онъ запрещаетъ мнѣ передавать тебѣ его недвижимости, но онъ отдалъ мнѣ все свое со-

стояніе въ безконтрольное владѣніе. Онъ зналъ, когда писалъ, какъ я люблю тебя, онъ зналъ, что, отдавая все мнѣ, онъ отдаетъ многое и тебѣ. И, если теперь любовь моя унеслась, какъ дымъ, такъ вѣдь едва-ли дядя предполагалъ такой скорый разрывъ между нами. Я считаю своею обязанностью сказать тебѣ: ты можешь пользоваться моимъ имуществомъ. Можешь даже жить въ этомъ домѣ,— я здѣсь не останусь,—эти потолки, двери и шкапы меня давятъ,—я уйду отсюда въ деревню. И потомъ, ты самъ назначь: сколько ты хочешь получать въ годъ содержанія, и оно тебѣ будетъ выдаваться аккуратно.

ЛЕОНИДЪ.

Ида! Ида! Какъ ты не умѣешь кривить душою!.. Вздумала ты скрыть на время вопросъ о завѣщаніи, и въ результатѣ — разрывъ между нами. Презрѣніе ко мнѣ еще болѣе заставляетъ тебя быть великодушной, и вотъ ты позволяешь себѣ вкривь и вкось толковать завѣщаніе дяди. Нѣтъ, Ида, нѣтъ! Я взбалмошный, вспыльчивый, рѣзкій, быть можетъ, очень дурной человѣкъ, но я не хочу, чтобъ изъ-за меня шевельнулась у тебя когда-нибудь въ сердцѣ мысль, что я заставилъ тебя идти на сдѣлку съ совѣстью. Будь чиста и свѣтла, какъ прежде, а мнѣ ничего не надо. Я отказываюсь отъ дядиныхъ денегъ,— пробью дорогу самъ. Ты найдешь имъ лучшее употребленіе, чѣмъ я, — я въ этомъ увѣренъ. Я много думалъ о томъ, что ты мнѣ говорила о женитьбѣ. Ты права. Сейчасъ я не женюсь. Я уѣду одинъ за границу; черезъ годъ вернусь. Тогда увидимъ, что дѣлать. Если она скажетъ «да», тогда мы обвѣнчаемся, сойдемся болѣе сознательно, чѣмъ теперь, болѣе провѣривъ себя.

БѢЛОМОРЦЕВЪ [жметъ ему руку].

Да, да, хорошо, Леонидъ, это хорошо.

ЛЕОНИДЪ.

Сестра, я зайду къ тебѣ до отъѣзда. [Цѣлуетъ ея руку.] Прости меня. Да, я знаю, я не стою тебя. Но подожди, быть можетъ, современемъ... Ну, не будемъ теперь говорить объ этомъ. [Подходя къ Ксеніи.] И тебя я тоже не стою. Поѣзжай съ Идой въ деревню, посмотри на то, что она будетъ дѣлать,—и помоги ей, чѣмъ можешь. А теперь я пойду. Мнѣ еще въ академію надо. До свиданья. [Уходитъ.]

[Ида задумчиво сидитъ въ креслахъ. Ксенія тихо къ ней подходитъ.]

КСЕНІЯ.

Милочка, что вы задумались? Что съ вами? [Садится у ея ногъ на скамейкѣ.] Вы возьмете меня къ себѣ, какъ хочетъ Лёня? Да? Возьмете?

ИДА [беретъ ея голову, поворачиваетъ къ себѣ и долго смотритъ въ глаза; почти шепотомъ].

Да, возьму.

КСЕНІЯ.

Отчего-же вы плачете?

ИДА.

Мы поѣдемъ съ тобою въ деревню. Мы будемъ дѣлать для другихъ все, что можемъ, все,—что будетъ въ нашихъ силахъ. Мы расширимъ нашу больницу, мы будемъ ѣздить по деревнямъ, разыскивая тѣхъ, кому надо помочь. Стариковъ и старухъ перевеземъ въ наши убѣжища, тамъ они спокойно будутъ ждать своего конца. Мы станемъ учить дѣтей,—и учить главному: любить своихъ ближнихъ, умѣть помогать имъ и... прощать. Мы научимъ ихъ забывать обиды и помнить одно добро. Дѣти будутъ рости, научатъ тому-же другихъ, и сѣмена нашей маленькой школы тоже будутъ рости и все больше давать плодовъ. Потомъ мы поѣдемъ туда, гдѣ люди болѣютъ и мрутъ отъ

голоду, гдѣ они похожи не на людей, а на загробныя тѣни. Тамъ жизнь въ тягость, тамъ завидуютъ смерти, тамъ ждутъ ее, какъ избавительницу отъ страданій. И мы пріѣдемъ къ нимъ и дадимъ имъ все, что въ силахъ будемъ дать. Купимъ хлѣба, коровъ, лошадей, починимъ ихъ избы. Мы накормимъ дѣтей, согрѣемъ ихъ, прикроемъ ихъ прозябшія, посинѣлыя тѣльца; будемъ ходить, какъ сидѣлки за больными. Мы оживимъ умирающихъ, мы заставимъ улыбаться ихъ, забыть ихъ старыя слезы... Да, Ксенія, мы такъ и сдѣлаемъ. Да?

КСЕНІЯ.

А зачѣмъ-же слезы у васъ такъ и текутъ, такъ и бѣгутъ по щекамъ?

ИДА [обнявъ ее].

И такъ, дѣточка, хорошо всѣмъ будетъ, — всѣ простятъ и забудутъ то дурное, что было въ прошломъ, всѣ прежнія обиды — и на душѣ будетъ свѣтло, весело, радостно...

ЗАНАВѢСЪ.

Лейтенантъ С.

ВЪ ТРОПИЧЕСКУЮ НОЧЬ.

ЭСКИЗЪ.

Это было нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ іюнѣ мѣсяцѣ, насколько мнѣ помнится. Крейсеръ «Скорый», на которомъ я плавалъ, подходилъ на видъ острова Цейлона. День былъ безупречный, и я стоялъ свою вахту съ удовольствіемъ. Синій куполъ небеснаго свода сливался съ лазурною водою Индійскаго океана, и солнце стояло еще высоко на небѣ. Океанъ колыхался, почти незамѣтно для глазъ, широкою, тяжелою зыбью, не возмущавшею его зеркальной поверхности. Какъ грозное привидѣніе, скользилъ нашъ быстроходный красавецъ, пугая населеніе подводнаго царства; летучія рыбы поминутно срывались со всѣхъ сторонъ изъ прозрачной воды и, блеснувши на солнцѣ чешуей, опять погружались въ свою стихію, оставляя на поверхности едва замѣтные круги. Иногда тупорылая акула, мирно дремавшая въ водѣ, поспѣшно отплывала всторону, показывая свое неуклюжее тѣло. Было жарко, и солнце жгло голову сквозь поставленный на мостикѣ тентъ.

— Что, Сергѣй Степановичъ, открылся берегъ?—вывелъ меня изъ созерцательнаго состоянія командиръ, поднявшись на вахтенный мостикъ.

— Точно такъ. Я сейчасъ послалъ вамъ доложить.

Командиръ взялъ бинокль, и мы вмѣстѣ стали разглядывать еще неопредѣленныя очертанія берега.

— Велите приготовить якорь къ отдачѣ и пришлите мнѣ сказать, когда откроется берегъ.

— Есть.

Передавъ бинокль сигнальщику и приказавъ смочить горячую палубу водой, командиръ направился къ себѣ внизъ, гдѣ по цѣлымъ часамъ онъ неподвижно сидѣлъ на креслѣ, закинувъ голову назадъ и положа одну ногу на другую.

— Разсыльный! Доложи старшему офицеру, что командиръ приказалъ якорь къ отдачѣ приготовить, и скажи въ каютъ-компаніи господамъ офицерамъ, что открылся берегъ.

Разсыльный побѣжалъ внизъ.

— Вахтенный! Обѣ вахты наверхъ! Якоря отвалить!

Пока мое приказаніе передавали дудками по всѣмъ палубамъ, я опять принялся ходить по мостику. На палубѣ зашевелились. Вышелъ старшій офицеръ, забѣгали люди, застучали блоки, и корабль принялъ тотъ оживленный видъ, какой онъ принимаетъ всегда передъ якорной стоянкою. Мы уже десять дней какъ вышли изъ Адена и всѣ ожидали Коломбо съ нетерпѣніемъ.

Старшій штурманъ съ картой входа въ Коломбо пришелъ на мостикъ.

— Какъ вы думаете, Александръ Ивановичъ, часа черезъ полтора будемъ на якорѣ?

— Не знаю-съ, не знаю-съ, государь мой, можетъ быть, и будемъ.

Штурмана никогда не отвѣчаютъ на такіе вопросы утвердительно.

Берегъ, между тѣмъ, росъ и въ ширь, и въ вышину. Уже можно было отличить деревья отъ построекъ; справа и слѣва отъ берега выросли ряды высокихъ деревьевъ, приподнятыхъ надъ чертою горизонта, едва замѣтно забѣлѣлъ маякъ, и «жемчужина Индійскаго океана» все яснѣй и яснѣй стыдливо выходила изъ синихъ водъ, сплошною, подступившею къ самому берегу, стѣною стройныхъ пальмъ.

Ударило восемь склянокъ—четыре часа пополудни, и я, смѣнившись съ вахты, пошелъ внизъ выпить стаканъ чаю, такъ какъ зналъ, что черезъ нѣсколько минутъ вызовутъ всѣхъ наверхъ и придется быть на верхней палубѣ еще добрый часъ. Огромная наша каютъ-компанія была совершенно пуста; даже всѣ вѣстовые ушли наверхъ полюбоваться на новый городъ. Попивая съ наслажденіемъ остывшій уже чай, я предался мечтаніямъ о берегѣ, искренно сожалѣя, что товарищъ и пріятель мой мичманъ Ловцовъ, съ которымъ мы всегда совершали береговыя прогулки, заболѣлъ лихорадкой и, вѣроятно, не сойдетъ на берегъ. Дверь одной изъ каютъ открылась, и, напѣвая арію князя изъ «Онѣгина», подошелъ къ столу лейтенантъ Неруповъ.

— Что, подходимъ, кажется, Сергѣй Степановичъ, къ якорному мѣсту?

— Да, сейчасъ придемъ.

— Ты сегодня съѣдешь на берегъ?

— Непремѣнно. Командиръ хочетъ поставить всѣхъ въ общую вахту, чтобы всѣ успѣли побывать въ Кенди.

— А въ Кенди ты поѣдешь?

— Обязательно.

— Поѣдемъ вмѣстѣ.

— Прекрасно.

Рѣзкій свистъ дудокъ наверху прервалъ нашъ разговоръ.

Схвативъ фуражки, мы выбѣжали на палубу къ своимъ мѣстамъ.

«Скорый» огибалъ широкій волноломъ, входя на Коломбскій рейдъ. Десятки шлюпокъ съ бронзовыми людьми спѣшили къ намъ со всѣхъ сторонъ; на купеческихъ корабляхъ тѣснились люди, съ любопытствомъ осматривая новаго пришельца. Флаги разныхъ національностей и разныхъ цвѣтовъ приспускались при нашемъ проходѣ, отдавая международный долгъ вѣжливости и почтенія военному кораблю, и, получивъ отъ насъ отвѣтный салютъ, тихо поднимались до мѣста. Занятый постановкой праваго трапа, я украдкой взглядывалъ на берегъ. Мы уже успѣли побывать за наше плаваніе въ кое-какихъ красивыхъ мѣстахъ, но тутъ было что-то особенное. Чувствовалась, при взглядѣ на береговую растительность, полная мощь тропической природы.

— Что, Мирошинъ, красиво? — Спросилъ я бойкаго унтеръ-офицера, работавшаго у трапа.

— Красиво, ваше благородіе. И народъ чудной. Эй ты, пошелъ вонъ!—крикнулъ Мирошинъ, замѣтивъ, что какой-то туземецъ уже успѣлъ привязать свою шлюпку къ нашему борту и, карабкаясь, хотѣлъ лѣзть наверхъ.—Я вотъ тебя сейчасъ!

Сингалезецъ сильнымъ прыжкомъ прыгнулъ назадъ въ шлюпку и, весело оскаливъ бѣлые зубы, отвѣчалъ гортанными криками.

— Изъ правой бухты вонъ, — раздался зычный басъ старшаго офицера.

— Отдать якорь.

Правый якорь съ плескомъ и шумомъ полетѣлъ въ воду.

Отдали лѣвый якорь, и крейсеръ, остановившись, началъ поворачиваться на мѣстѣ, чтобы окончательно установиться противъ теченія.

Послѣ долгихъ и шумныхъ споровъ въ каютъ-компаніи была, наконецъ, составлена очередь вахтъ и вывѣшено росписаніе.

Свободная половина офицеровъ начала собираться на берегъ. Мичмана̀ осадили каюту ревизора и настойчиво просили денегъ.

— Подите, спросите командира. Если онъ прикажетъ вамъ выдать впередъ содержаніе, тогда сдѣлайте одолженіе,—а у меня лишнихъ денегъ нѣтъ.

— Да ну, Матвѣй Николаевичъ, стоитъ-ли безпокоить командира такими пустяками? Право, теперь до Нагасаки не съѣду больше на берегъ,—жалобно молилъ ревизора мичманъ Бѣловъ.

— Эхъ, не отвяжешься отъ васъ. Вотъ получайте по золотому на брата,—раскошелился, наконецъ, нашъ толстый Матвѣй Николаевичъ, сердясь и спѣша въ своей широкополой шляпѣ и съ палочкой подъ мышкой на отходящую шлюпку.

Я на шлюпку не спѣшилъ, такъ какъ зналъ, что со своимъ спутникомъ все равно опоздаю. Меня очень удивило предложеніе Нерупова ѣхать вмѣстѣ на берегъ. Сейчасъ объясню почему.

Лейтенантъ Лука Ивановичъ Неруповъ былъ общимъ любимцемъ у насъ въ каютъ-компаніи. Всегда живой, веселый, разговорчивый, онъ своими безконечными спорами занималъ иногда все наше общество; особенно любилъ онъ военные споры. Страшный воинъ на словахъ—онъ, въ сущности, былъ добрѣйшимъ человѣкомъ и, доказывая пользу войны, крича и противорѣча нерѣдко самому себѣ, иногда приводилъ въ восторгъ всю каютъ-компанію. Лукѣ Ивановичу было лѣтъ тридцать пять, онъ былъ средняго роста, крѣпко сложенъ и вообще имѣлъ наружность обыкновенную, но симпатичную. У него были двѣ слабости. Во-первыхъ, онъ страстно любилъ музыку и пѣ-

ніе и говорилъ, что собирался даже поступить въ оперу, а во-вторыхъ—онъ не могъ, положительно не могъ, равнодушно видѣть существо прекраснаго пола. Эта вторая слабость служила источникомъ безпрестанныхъ насмѣшекъ надъ Лукой Ивановичемъ. На берегъ онъ съѣзжалъ всегда одинъ, чтобы сохранить себѣ полную свободу дѣйствій, и вотъ почему предложеніе его ѣхать вмѣстѣ со мной меня удивило.

Черезъ часъ Лука Ивановичъ, сіяющій и раздушенный, вышелъ изъ своей каюты, въ сѣренькомъ пиджакѣ — съ тропическимъ шлемомъ въ рукахъ.

— Я готовъ,—произнесъ онъ, охорашиваясь передъ зеркаломъ и протирая пенснэ.

— И я тоже.

Легкая мѣстная долбленая ладья съ тремя темными гребцами понесла насъ по гладкой водѣ. Гребцы дружно наваливались на длинныя весла, сопровождая каждый гребокъ какими-то возгласами, перешедшими подъ конецъ въ монотонный напѣвъ. Было уже совсѣмъ темно. Не крадучись,—какъ у насъ на сѣверѣ,—а царственно и властно, наступила ночь, потушивъ въ небѣ краткую зарю. Зарница блистала во всѣхъ частяхъ неба, а изъ-подъ веселъ вылетали цѣлые снопы фосфорическаго голубого свѣта.

— Правда, хорошо?—спросилъ я своего спутника.

— Да, недурно. Я увѣренъ, что ты слагаешь уже въ умѣ какіе-нибудь стихи: тропики, пальмы, южныя звѣзды...

— Нѣтъ, пока ничего не слагаю.

— А знаешь, Сергѣй Степановичъ, вѣдь всѣ поэты всетаки страшно много врутъ. Признайся откровенно!.. Для краснаго словца они часто не щадятъ истины.

— Ну, съ этимъ я не согласенъ; далеко не всѣ. А потомъ, какое тебѣ дѣло: правду онъ пишетъ, или вретъ; лишь

бы съумѣлъ передать тебѣ свое настроеніе. Если ты, Лука, влюбленъ въ женщину, то для тебя она совершенство, богиня, а для другихъ—простая смертная. Но, если-бы ты съумѣлъ заставить другихъ взглянуть на нее твоими глазами, то и другіе стали-бы влюбленными, хоть на мигъ. Въ этомъ, по моему, сила поэзіи. Бываютъ и декадентскіе стихи, передъ которыми становишься въ тупикъ: настроеніе уродливое, но выражено оно сильно и вѣрно, что всегда чувствуется.

— Зачѣмъ-же навязывать читателю уродливое настроеніе?

— Вотъ это вопросъ другой.

— Да я, Сергѣй Степановичъ, и не говорю о декадентахъ. Богъ съ ними! Вотъ мы теперь съ тобой на Цейлонѣ. Помнишь у Тургенева есть повѣсть: «Пѣснь торжествующей любви». Тамъ одинъ герой пріѣзжаетъ отсюда въ Италію и весь пропитанъ, такъ сказать, поэзіей этихъ мѣстъ. Ну, вотъ поищи здѣсь чего-нибудь подобнаго! Кромѣ гнуснаго мотива этихъ черномазыхъ эфіоповъ ничего не услышишь; развѣ еще «тарарабумбію».

— Да. Мы съ тобой, можетъ быть, ничего и не услышимъ.

Мы оба помолчали, и Лука Ивановичъ запѣлъ арію изъ «Травіаты».

До берега было недалеко, и минутъ черезъ двадцать мы были уже на твердой землѣ. Насъ окружила сразу цѣлая куча сингалезовъ съ предложеніемъ разныхъ услугъ, но Лука Ивановичъ грозно прикрикнулъ на нихъ, и они разбѣжались всѣ, кромѣ одного, который, несмотря ни на какіе крики, бѣжалъ впереди, указывая намъ дорогу до самой гостинницы. Высокій залъ гостинницы сіялъ. За столиками въ столовой сидѣло большое общество. Благодаря тропическому климату, дамы не надѣваютъ здѣсь ничего лишняго, и туалеты ихъ являютъ легкость необыкновенную. Мужчины были одѣты въ коротенькія бѣлыя куртки

съ широкими тропическими поясами и блистали безукоризненностью бѣлья.

Почти всѣ столики были заняты. Большая компанія нашихъ офицеровъ сидѣла за однимъ изъ нихъ, привлекая своими громкими и непринужденными разговорами косые взгляды англійскихъ джентльменовъ. Джентльмены, кончая обѣдать, уходили на террасу, гдѣ, закуривая сигары и развалившись на длинныхъ креслахъ, предавались послѣобѣденному кейфу, любезничая съ дамами подъ освѣжительными взмахами широкихъ опахалъ, подвѣшенныхъ къ потолку и приводимыхъ въ движеніе темнокожими молодыми людьми.

Странное впечатлѣніе производятъ съ перваго взгляда сингалезы въ своихъ женскихъ одеждахъ съ приколотыми поверхъ головы, въ шиньонъ, блестящими, черными волосами. Мнѣ бросилась въ глаза грустная вдумчивость ихъ бронзовыхъ лицъ, напоминающихъ европейскія по своему складу.

Выпивъ водочки,—которую, къ вящей славѣ нашей родины, можно встрѣтить теперь почти на всѣхъ большихъ торговыхъ пунктахъ міра,—и довольно вкусно пообѣдавъ, мы также перешли съ Лукой Ивановичемъ на террасу, гдѣ съ наслажденіемъ втягивали въ себя прохладу вечера, смѣнившаго томительный день.

— Что, разбѣгаются глаза? — спросилъ я своего собесѣдника, кивая на быстроногихъ миссъ, поминутно шмыгавшихъ по террасѣ.—Посмотри, вѣдь есть хорошенькія.

Лука Ивановичъ промычалъ въ отвѣтъ что-то невнятное.

— Я говорю: есть хорошенькія, погляди-ка, вонъ сидитъ съ двумя господами налѣво.

— Да, недурна. Дурно только то, что съ двумя господами.

— Эхъ, Лука, Лука, когда ты остепенишься?

Къ намъ подошелъ хозяинъ гостинницы сказать, что номеръ пятый свободенъ и оставленъ для насъ.

— Итакъ, Лука Ивановичъ, завтра съ первымъ поѣздомъ ѣдемъ въ Кенди.

— Да, да,—отвѣчалъ Неруповъ разсѣянно.

Повернувъ голову, я увидѣлъ причину его разсѣянности. Къ миловидной англичанкѣ подошла по какому-то дѣлу горничная, и мой Лука не сводилъ съ нея глазъ. Горничная была тоже англійской породы и уже не первой молодости. Восторженные взоры моего товарища, повидимому, нисколько не смущали ея, а напротивъ—нравились, по крайней мѣрѣ, проходя мимо насъ, она даже улыбнулась.

Я покосился на Нерупова и тоже улыбнулся.

— Послушай, ты посиди здѣсь, я сейчасъ приду,—сказалъ онъ, и не успѣлъ я отвѣтить что-нибудь, какъ мой Лука исчезъ.

Плохо дѣло,—подумалъ я—теперь его не скоро отыщешь. Присоединяться къ остальной компаніи мнѣ не хотѣлось; тамъ было очень шумно, а я разсчитывалъ провести вечеръ въ тишинѣ; постоянная совмѣстная жизнь на кораблѣ рождаетъ потребность въ нѣкоторомъ безмолвіи и уединеніи.

Взявъ шляпу и палку, я спустился съ террасы въ садъ и пошелъ куда глаза глядятъ.

Темная тропическая ночь глянула мнѣ прямо въ лицо. Было уже поздно, и городъ засыпалъ. Небо очистилось и пестрѣло ясными звѣздами. Зарница блѣстѣла теперь только у горизонта, освѣщая скопившіяся тамъ черныя тучи. Дышалось легко, полною грудью. Прекрасно шоссированная улица, обсаженная невѣдомыми мнѣ деревьями, привела меня къ пруду. Я не зналъ даже: былъ-ли это прудъ, озеро, рѣка, и пошелъ вдоль заснувшей глади водъ. Деревья тѣснѣе обступали дорогу, и огней не было больше

видно. Боясь заходить слишкомъ далеко, я свернулъ съ дороги и сѣлъ на скамейку у подножія огромнаго древеснаго папоротника. Только остановившись и сѣвъ, различилъ я несмолкающій звукъ тропической ночи; милліоны невидимыхъ существъ наполняли тишину своимъ стрекотаніемъ, сливаясь въ одинъ общій хоръ.

Свѣтящіеся жучки, то погасая, то вспыхивая, показывали направленіе своего полета.

Мнѣ спать не хотѣлось, и я долго сидѣлъ на скамейкѣ, невольно возвращаясь мысленно къ разговору своему съ Лукой Ивановичемъ.

Это тутъ-то нѣтъ поэзіи!—думалось мнѣ.—Самая горячая фантазія художника не передаетъ очарованія такой ночи!.. Нѣтъ! Все въ мірѣ осталось поэтичнымъ, какъ было во всѣ времена. Все, что живетъ,—дышетъ, движется, свѣтитъ. Все, но мы другимъ заняты и не замѣчаемъ этого.

«И ненавидимъ мы, и любимъ мы случайно...»—приходилъ мнѣ на память знакомый стихъ.

Долго сидѣлъ я на скамейкѣ; вспомнилось прошлое, думалось о будущемъ. Мало-ли о чемъ думается въ тихую звѣздную ночь, да еще въ тропическомъ лѣсу!

Рѣзкій женскій смѣхъ въ сторонѣ озера привлекъ мое вниманіе, я сталъ прислушиваться. Звонко раздаваясь по водѣ, зазвучала знакомая мнѣ арія изъ «Травіаты»...

Вотъ она пѣснь торжествующей любви,—подумалъ я и пошелъ къ гостинницѣ.

Викторъ Крыловъ.

ВЪ МИНУТУ СТРАХА.

СЦЕНА ВЪ ОДНОМЪ ДѢЙСТВІИ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Зарубина, Анна Петровна, купеческая дочка.
Гартье, французъ.
Домна, кухарка.

Дѣйствіе происходитъ въ уѣздномъ городѣ, на квартирѣ мирового судьи. Комната—двѣ двери, письменный столъ. Домна входитъ.

I.

ДОМНА, потомъ ЗАРУБИНА.

ДОМНА.

Кто тамъ?.. Кажись — словно кто-то вошелъ. [Заглядываетъ въ другую дверь.] Барышня! Вы тамъ кого ищете?

[Входитъ ЗАРУБИНА; она одѣта въ русскій костюмъ.]

ЗАРУБИНА.

Сюда, что-ли, войти? Къ мировому судьѣ, къ Ильѣ Павлычу?

ДОМНА.

Сюда, пожалуйте.

ЗАРУБИНА [снимаетъ платокъ съ головы].

Скажи ему, милая, пожалуйста, что мнѣ неотлагаемо необходимо его видѣть.

ДОМНА.

А вѣдь ихъ дома нѣтъ.

ЗАРУБИНА.

Мнѣ до зарѣзу, голубушка, понимаешь-ли? Мнѣ до зарѣзу...

ДОМНА.

Да, что-же сдѣлаешь, коли нѣту?.. Онъ сегодня въ деревню уѣхалъ на весь день, тамъ и ночевать будетъ.

ЗАРУБИНА.

И ночевать не пріѣдетъ?.. Господи! Да что-же это я за несчастная такая!.. Какъ-же это такъ, дома нѣтъ?.. Какой-же онъ мировой судья, что дома не сидитъ?..

ДОМНА.

Что-жъ судья?.. Тоже вѣдь какъ люди живутъ: съ гостями водятся. Погодите, вотъ завтра будетъ засѣданіе у него, онъ и пріѣдетъ.

ЗАРУБИНА.

Прямо на засѣданіе... И до засѣданія ничего нельзя будетъ ему сказать? Господи, святители небесные! Да что-же я буду дѣлать? Что я дѣлать буду?

ДОМНА.

А вамъ что надо?

ЗАРУБИНА.

Нѣтъ, нѣтъ! Я не переживу этого! Вотъ напасть нежданая! Господи...

ДОМНА.

Ишь ты, бѣдная барышня убивается какъ... Да что у васъ за напасть, спросить-бы кого, да вотъ, какъ на грѣхъ,—и письмоводитель ушелъ.

ЗАРУБИНА.

И письмоводителя нѣтъ?

ДОМНА.

И лакей нашъ куда-то провалился,—одна я дома, кухарка...

ЗАРУБИНА.

Кончено, кончено! Пропала я, въ конецъ пропала... Завтра... О, Господи! Срамъ-то какой, срамъ-то!.. Вызовутъ къ столу, кругомъ всѣ смотрятъ, слушаютъ... да я и слова сказать не смогу... Господи!.. Послушай, милая... старушка ты милая... Поймай ты Илью Павлыча до засѣданія, разскажи ты ему...

ДОМНА.

Погодите, барышня, нѣтъ... Мнѣ не поручайте, я перепутаю... У меня карахтеръ такой, я все перепутаю; а вотъ, коли хотите, есть у насъ тутъ человѣкъ... Баринъ съ ними очень дружбу ведутъ... французъ... Ему скажите... Французъ теперь дома.

ЗАРУБИНА.

Какой французъ?

ДОМНА.

Гоститъ у насъ французъ, бариновъ пріятель, нашего

Ильи Павлыча, мирового судьи... Настоящій французъ, взаправскій... Какъ Илья Павлычъ въ прошломъ году былъ въ чужихъ краяхъ, такъ познакомился, позвалъ къ себѣ: «пріѣзжай, молъ, французъ, посмотрѣть, какъ у насъ въ Расеи въ уѣздномъ городѣ живутъ»... Ну, ему лестно было взглянуть: у нихъ вѣдь не по нашему... Онъ и пріѣхалъ. Теперь у насъ гоститъ вотъ ужъ съ недѣлю.

ЗАРУБИНА.

Отчего-жъ объ этомъ никто въ городѣ не знаетъ?

ДОМНА.

Да вѣдь чтожъ? — Онъ хоть и французъ, а ничего, такой-же, въ пальтѣ ходитъ, отъ нашего барина не отличишь. Хотите я его позову? Вы ему объясните. Баринъ безъ того судить не начнетъ, что съ нимъ прежде повидается.

ЗАРУБИНА.

Какъ-же мнѣ это ему? Вѣдь я по-французски говорить не умѣю.

ДОМНА.

Не говорите?.. Ай, ай, ай, ай!.. Да ничего, онъ пойметъ. Вы по-русски скажите, онъ пойметъ.

ЗАРУБИНА.

Въ самомъ дѣлѣ?

ДОМНА.

Пойметъ, пойметъ, матушка. Я ему сегодня пирогъ принесла, говорю: «ѣшь, французъ!» Понялъ, все съѣлъ до кусочка.

ЗАРУБИНА [мечтательно, горько].

Господи! Кто теперь несчастнѣе меня?

ДОМНА.

Позвать, что-ли?

ЗАРУБИНА.

Ну, позови...

ДОМНА [въ дверь].

Мусью! Господинъ мусью! Пожалуйте, Васъ спрашиваютъ...

ГАРТЬЕ [за сценой].

Et bien!? qu'est-ce donc? qu'y a-t-il?

ДОМНА.

Пожалуйте сюда... [Зарубиной.] Видите, понялъ, газету бросилъ, идетъ...

[Гартье входитъ.]

II.

Тѣ-же и ГАРТЬЕ.

ГАРТЬЕ.

Qu'est ce qu'il y a?

ДОМНА.

Вотъ тутъ васъ барышня спрашиваютъ.

ГАРТЬЕ [про себя].

Ah! quel joli minoi! [Зарубиной.] Mademoiselle?

ЗАРУБИНА.

Извините, пожалуйста, что я васъ обезпокоила. Мнѣ вотъ она сказала, что вы пріятель нашего мирового судьи, Ильи Павлыча...

ГАРТЬЕ.

Vous désirez?..

ЗАРУБИНА.

Я по-французски не говорю-съ... Извините, но вотъ кухарка сказала...

ДОМНА.

Да вы извольте прямо объяснять: что съ нимъ чиниться! Онъ простой, при немъ нашъ баринъ въ одной фуфайкѣ ходитъ. [Къ Гартье.] Онѣ къ вамъ просьбу имѣютъ.

ГАРТЬЕ.

Si elles s'imaginent que je comprends un mot de ce qu'elles me disent.

ЗАРУБИНА.

Вы понимаете по-русски?

ДОМНА.

Понимаете... Вы понимате?

ГАРТЬЕ [пожимая плечами].

Avec la meilleure intention du monde...

ЗАРУБИНА.

Нѣтъ?.. [Вздохъ.] Что-же мнѣ дѣлать?.. Завтра утромъ что-ли навѣдаться... Нѣтъ теперь на свѣтѣ человѣка несчастнѣе меня... Надо домой идти... [Накидываетъ платокъ на голову.]

ГАРТЬЕ.

Comment? elle s'en va? et je laisserai echapper l'occasion de faire une aussi aimable connaissance... jamais? oh! non!—je m'en vais faire semblant de comprendre... [Зарубиной]. Pardon, mademoiselle, pardon... attendez...

ДОМНА.

Слышишь, пардону запросилъ.

ГАРТЬЕ.

Je ne parle pas le russe... нье говоряй... нье говори...

ЗАРУБИНА.

Вы не говорите по-русски?

ГАРТЬЕ.

Mais je comprends tout... parlez toujours, je comprendrai...

ЗАРУБИНА.

Что-съ?..

ГАРТЬЕ.

Comment dit-on cela? je... je... понимай... понимай...

ЗАРУБИНА.

Вы понимаете?..

ГАРТЬЕ [кивая головой].

Mais oui, mais oui!.. parlez toujours... [Домнѣ.] Toi! Va-t-en la vieille... va-t-en promener. [Машетъ старухѣ рукой.]

ДОМНА.

Изволите видѣть: показываетъ, чтобъ я ушла... Онъ французъ шустрый, съ нимъ легко разговаривать, все объяснишь... [Къ Гартье.] Уйду, уйду, мнѣ и некогда; для тебя-же надо телятину жарить къ обѣду... [Зарубиной.] Поговорите вотъ съ нимъ, поговорите. [Уходитъ.]

III.

ГАРТЬЕ и ЗАРУБИНА.

ГАРТЬЕ [подставляя стулъ.]

Veuillez vous assoir, mademoiselle. [Про себя.] Est elle assez gentille, avec son petit costume mougik... on se croirait au bal masqué de l'Opéra. Une vraie petite poupée à mettre dans la devanture du passage des Panoramas. [Показывая на стулъ.] Mademoiselle...

ЗАРУБИНА [садясь.]

Мерси.

ГАРТЬЕ.

Ah!.. Vous parlez français!.. Vous avez dit: merci.

ЗАРУБИНА.

Вамъ меня не за что благодарить, я для васъ еще ничего не сдѣлала.

ГАРТЬЕ.

C'est tout de même gênant de ne rien comprendre... Bah! je m'en vais etudier la mimique... il n'y a pas autre chose à faire: étudions la mimique... [Садится.] Mademoiselle, je vous ecoute... Ce sera interessant.

ЗАРУБИНА.

Я-съ... въ самомъ несчастномъ положеніи... я... я сегодня получила повѣстку отъ господина мирового судьи, чтобъ явиться завтра въ засѣданіе... [Вынимаетъ повѣстку.] Извольте слушать, даже страшно прочитать: въ качествѣ обвиняемой...

ГАРТЬЕ.

C'est très gentil.

ЗАРУБИНА.

Вы, конечно-съ, тамъ живете гдѣ-нибудь въ Парижѣ, вы не можете знать, кто я такая... Такъ позвольте вамъ замѣтить, что еще, можетъ быть, мой прадѣдушка въ гильдію платилъ; а тятеньку моего, навѣрное, хотѣли у насъ въ городскія головы выбрать... и не выбрали его все изъ-за этого Ивана Кузьмича Перетычкина... Онъ какъ съ нашей тетушкой Ариной Семеновной повздорилъ за то, что она ему три куля овса уступить не хотѣла, онъ еще тогда ей грозился: «Не будетъ твой братъ головой!..» и подговорилъ тамъ какихъ-то, мѣщанскую партію, чтобъ тятеньку не выбрали.

ГАРТЬЕ.

Ce doit être trés sérieux ce qu'elle me dit là!

ЗАРУБИНА.

Да овесъ-то это пустяки; онъ потомъ у Шмульки дешевле купилъ, чѣмъ тетушкѣ давалъ... Главная причина тутъ... Коли этотъ Иванъ Кузьмичъ на насъ взъѣлся и во всякую минуту намъ злодѣйство сдѣлать хочетъ, такъ это изъ-за меня... [Вздохъ.] Конечно, мнѣ, какъ дѣвицѣ, неприлично и говорить объ этомъ... Но, когда доведенная до такой крайности... [Стыдливо опускаетъ глаза.]

ГАРТЬЕ.

Oh, la coquette!.. Elle baisse les yeux... elle fait la confuse... à ce qu'il parait une amourette...

ЗАРУБИНА.

Мнѣ такъ стыдно право... такъ стыдно...

ГАРТЬЕ.

Chère friponne, quand on a des yeux comme les votres il ne faut jamais les baisser... Ah! que c'est contrariant de ne pouvoir se faire comprendre. Je lui dirais un compliment ou une impertinence, que cela reviendrait exactement au même.

ЗАРУБИНА.

Одна крайность только заставляетъ. Ужъ если онъ не постыдился молодую дѣвицу къ мировому притянуть... должна я все разсказать. [Подымаетъ глаза.]

ГАРТЬЕ [любуясь ею.]

A la bonne heure.

ЗАРУБИНА.

Этотъ самый купецъ, Иванъ Кузьмичъ Перетычкинъ, нашъ сосѣдъ по дому, дворы у насъ смежные и сады тоже, одинъ заборъ раздѣляетъ... Только какъ бы вы думали, хватило въ немъ совѣсти, повадился онъ изъ-за забора къ намъ въ садъ заглядывать. Чуть я въ садъ гулять выйду, а онъ щель большую въ заборѣ сдѣлалъ, уткнется носомъ въ щель и смотритъ... Да противный такой, рыжій, глазищи большіе... Я въ первый разъ даже испугалась, какъ замѣтила.. Смотритъ да смотритъ, надоѣлъ, страсти Божія... Я ужъ—громко намекать стала: «Что это, словно, откуда-то разбойничьи глаза глядятъ!» Не унимается... Подругамъ пожаловалась,—такъ Настя его такъ оконфузила... прожженая она такая... [Весело.] Красили у насъ крышу; Настя взяла кисть, подкралась къ забору, къ тому мѣсту, гдѣ онъ притаился, и давай заборъ мазать: все лицо ему зеленой краской смазала, вотъ смѣху было!.. [Хихикаетъ.]

ГАРТЬЕ.

C'est comme un chant d'oiseau que je crois entendre...

ЗАРУБИНА.

И тутъ вѣдь не унялся... Ни много, ни мало, гляжу, лучше того: идетъ къ тятенькѣ... [Начиная горячиться.] Присвататься ко мнѣ вздумалъ, окаянный этакій... [Горячась.] На мнѣ жениться хотѣлъ, каковъ? Нѣтъ, вы скажите—каковъ?

ГАРТЬЕ.

Oh!.. [Про себя.] Il faut bien que je reponde quelque chose, je ne puis pas rester indifferent.

ЗАРУБИНА [жестикулируя].

Вотъ и васъ перевернуло! А каково-же мнѣ-то? Вѣдь на всю жизнь да съ разбойникомъ жить... Ну... тятенька у меня добрый, онъ меня неволить не сталъ... Говоритъ: «Нюша, оно правда, что Иванъ Кузьмичъ купецъ богатый, но ты у меня одно сердце и одна радость; а онъ и при богатствѣ все-жъ-таки воръ и мошенникъ... Такъ, какъ—говоритъ—Нюша, хочешь»... А я тятенькѣ отвѣчаю: «Ваша, молъ, воля, тятенька, для меня священная, потому что какъ отъ Бога вы мнѣ отецъ, а все-жъ-таки, коли съ вашей стороны никакихъ насильевъ нѣтъ, такъ за вора замужъ идти я не согласна». Вотъ его, рыжаго, и спровадили: поворотъ отъ воротъ, безъ васъ, молъ, не соскучимся. [Смѣется.]

ГАРТЬЕ [взявъ ее за руки].

Oh, la petite moqueuse!.. et quel rire! quel rire!.. frais et jeune... On dirait le tintement d'une clochette argentine [Держа ея руку.] Non, non! laisser moi votre main... ma belle enfant, laissez moi cette chère menotte... [Любуется рукой.]

ЗАРУБИНА [отрывая руку].

Ахъ, какой вы хитрый... Онъ ужъ замѣтилъ...

ГАРТЬЕ.

Vous dites?

ЗАРУБИНА.

Замѣтили, что у меня колечко... Это мнѣ Васинька подарилъ... Что вы смотрите... Васинька, онъ мнѣ женихъ,— я въ полномъ правѣ, и скрывать нечего... Какъ только этого, рыжаго-то, спровадили, Васинька сейчасъ сватовъ заслалъ, тятенька и благословилъ насъ... Ужъ не чета Ивану Кузьмичу Васинька мой — кровь съ молокомъ! краснымъ товаромъ торгуетъ—вотъ какъ!.. Въ соборѣ старостой служитъ, какъ бы вы думали... Я Васиньку давно люблю.

ГАРТЬЕ.

Льюблью!.. Понимай! Понимай!.. Льюблью!.. Cela veut dire «aimer»... льюблью... c'est le premier mot qu'un français apprend en Russie... [Про себя.] Je disais bien qu'il s'agissait d'amour.

ЗАРУБИНА.

Ужъ зато, какъ услыхалъ объ этомъ Иванъ Кузьмичъ, краснѣе маку сталъ; рветъ и мечетъ, рветъ и мечетъ, какъ бы какой подвохъ намъ сдѣлать... Кадку разбитую намъ во дворъ черезъ заборъ перекинулъ, дерево у насъ въ саду ночью обломилъ... А тутъ вотъ и случилось это происшествіе: жалобу на меня подалъ мировому... Да за что жалоба-то, вы послушайте,— за пѣтуха... Ей-Богу... Я вѣдь начала, такъ все на чистоту, какъ передъ Богомъ... истинно... все скажу... Вотъ какъ дѣло было...

ГАРТЬЕ.

Elle est charmante...

ЗАРУБИНА.

Купилъ мнѣ мой женихъ, Васинька, у какого-то помѣщика досталъ, сѣренькаго, хохлатаго пѣтушка... Да какой миленькій, да какой ручной! Вѣрите-ли, на рукахъ ношу, а онъ, ничего, сидитъ какъ на насѣстѣ... Только вотъ, на прошлой недѣлѣ, сидимъ мы съ тетенькой Ариной Семеновной у окна, чай пьемъ, вдругъ я слышу за заборомъ у Ивана Кузьмича кудахчетъ курица, да и полно,—кудахчетъ себѣ, да и вотъ... И словно кто-то гоняется, собака лаетъ, шумъ, бѣготня... [Вскакивая.] У меня сердце такъ и ёкнуло... Вотъ говорятъ, предчувствія не бываетъ, а какъ-же не бываетъ, когда вотъ у меня сердце такъ и ёкнуло: ужъ не за моимъ-ли хохланчикомъ тамъ травля завелась?.. Выбѣжала я на крыльцо, давай звать своихъ курочекъ, кричу: цыпъ, цыпъ, цыпъ, цыпъ!

ГАРТЬЕ [подражая ей].

Sip, sip... voila un drôle de mot; qu'est ce qu'il peut bien signifier?

ЗАРУБИНА.

Нечего вамъ насмѣшничать-то, вы слушайте, мнѣ вѣдь не до шутокъ!.. Мигомъ я схватила лѣстницу, приставила къ забору; влѣзла и что-же вижу!.. Мой бѣдный хохланчикъ мечется по двору, а за нимъ и собака-то, и мальчишка, и самъ Иванъ Кузьмичъ, какъ тигра какая, такъ и бросается... Я какъ закричу: «Да какъ вы смѣете моего пѣтуха травить?» А онъ мнѣ: «А зачѣмъ онъ ко мнѣ на дворъ черезъ заборъ перелетѣлъ? Вы чтожъ его не бережете у себя дома?»... А я: «Да развѣ можно взыскивать съ птицы? Она—Божья тварь, она не разбираетъ

свой дворъ отъ чужого... Я на васъ жаловаться буду»...— «Я, говоритъ,—самъ жаловаться буду, вашъ пѣтухъ у меня на окнѣ граненый графинъ разбилъ... Вы, говоритъ,— со злоумышленіемъ его ко мнѣ на дворъ пустили»... Ну, скажите, пожалуйста!.. «Я еще — говоритъ — судиться съ вами буду... вы на меня злоумышленіе имѣли»... «Не я злоумышленіе,—я-то ему говорю,—не я, а вы злитесь на меня, что я васъ прогнала и за васъ замужъ не иду. . И никогда не пойду за такого разбойника, какъ вы!..»

ГАРТЬЕ.

C'est tragique!

ЗАРУБИНА.

Сказала я это, да тутъ только и опомнилась... Слышу— Иванъ Кузьмичъ ужъ кричитъ: «Господа свидѣтели, извольте прислушать, какъ она меня величаетъ... Андроновна!»—Вижу—Андроновна ужъ торчитъ въ окнѣ,—его работница старая; откуда и дворникъ изъ-за угла показался. «Слышите, — говоритъ, — свидѣтели, разбойникомъ зоветъ... Это—оскорбленіе!..» Я такъ кубаремъ съ лѣстницы скорѣе домой... А онъ кричитъ: «Нѣтъ, нѣтъ, врешь, нечего прятаться-то, всѣ слышали... Я васъ за это слово въ тюрьму упрячу!..» Такъ я испугалась и про тетушку забыла и про чай... Въ кусты схоронилась, сижу и плачу... А тутъ прыгъ, прыгъ [начинаетъ всхлипывать], подлетаетъ ко мнѣ мой пѣтушокъ-хохланчикъ; подъ перебранкой-то отъ нихъ вырвался... Только что-же... гляжу! — безъ хвоста... Хвостъ ему весь выдрали... гоняясь-то... Бѣдный мой пѣтушокъ, общипанный теперь, безъ хвоста!.. [Громко плачетъ.]

ГАРТЬЕ.

Oh! la pauvre enfant, comme elle se désole... elle doit avoir perdu sa mère...

ЗАРУБИНА [рѣзко вскакивая и наступая на него].

Какъ-же. онъ не разбойникъ, я васъ спрашиваю?!

ГАРТЬЕ.

Mais non! ce doit être autre chose...

ЗАРУБИНА [постепенно наступая на него].

Развѣ можно пѣтуха такъ тиранить? Съ птичьяго разума развѣ можно взыскивать?.. Графинъ, вишь, разбилъ... Такъ онъ скажи! Я ему, можетъ быть, взамѣнъ графина-то цѣлый приборъ куплю, со стаканами, съ рюмками... Нѣтъ, ему не то надо, а какъ бы зло на мнѣ сорвать...

ГАРТЬЕ.

A qui en a-t-elle? est-ce contre moi qu'elle se fâche ainsi?

ЗАРУБИНА.

Чтожъ это, по вашему, честно, благородно?.. Мы съ тятенькой денегъ не пожалѣемъ... Но какъ онъ смѣетъ!..

ГАРТЬЕ.

Mais, mademoiselle, si je me suis permis de vous prendre la main, ce n'était pas pour vous offenser.

ЗАРУБИНА [упавшимъ голосомъ].

Да еще къ мировому...

ГАРТЬЕ.

Non, ce n'est pas contre moi.

ЗАРУБИНА.

Вы возьмите себѣ это въ голову, каково это намъ,

всему семейству, что меня въ судъ въ качествѣ обвиняемой... Семейство наше первое въ городѣ, уважаемое, и вдругъ этакое... Ужасъ чистый!.. Тетушка, Арина Семеновна, какъ услыхала объ этомъ, въ постель слегла... Вчера весь вечеръ фельдшерица ее бѣленымъ масломъ растирала... Тятенька молебенъ Николаю Угоднику отслужилъ, во избавленіе отъ нечестиваго. А я, какъ полоумная, хожу... Что-же это такое: изъ-за одного слова этакая мараль, честную дѣвушку въ судъ зовутъ... Да я со стыда умру... Кругомъ вѣдь, весь городъ сберется смотрѣть; а не приди я, такъ вѣдь, пожалуй, засудятъ... Мы ужъ аблоката нанимать собирались; да, какъ на грѣхъ, одинъ у насъ тутъ въ уѣздѣ аблокатъ, и тотъ запилъ... Васинька говоритъ: «Я этого Ивана Кузьмича въ дребезги расшибу!» А я не позволяю: боюсь, что и Васинькѣ достанется... Очень ужъ онъ у меня храбрый... «Не бойся,—говоритъ,—я этого Ваньку Перетычкина такъ прижму... Запищитъ! У меня вексель на него». Когда-же это успѣть? Завтра ужъ разбирательство назначено... Такъ вотъ я къ вамъ: будьте такъ добры, попросите вы господина мирового, Илью Павлыча, чтобъ онъ завтра насъ не разбиралъ, потому что, честное слово, поклепъ одинъ... И все объяснится... Дайте только вотъ, чтобъ Васинька... [Онъ жестомъ руки ее останавливаетъ.] Что такое?

ГАРТЬЕ.

Mais... quand je pense... c'est une lâcheté, que je fais: elle venait parler mon ami le juge de paix... C'est peut être très important ce qu'elle me raconte là et moi qui m'amuse... de sa méprise... Ah! C'est bien mal... c'est bien mal...

ЗАРУБИНА.

Чего онъ хочетъ?

ГАРТЬЕ.

Ma pauvre enfant... pardonnez moi... j'ai agi un peu à la légère, je l'avoue... En vous voyant, en admirant vos beaux yeux noires, je n'ai pu resister au désir de passer quelques instants agrèables avec vous... Mais non,—j'aurai beau chercher à être éloquent, se serait peine perdue. Je vais être franc... [Ей, внушительно.] Pardon... [Показываетъ мимикой, что не понимаетъ.] Нье понимай...

ЗАРУБИНА [пораженная, вскрикиваетъ].

Что?

ГАРТЬЕ.

Je!.. je... нье понимай...

ЗАРУБИНА [быстро].

Вы не поняли, что я вамъ говорила?

ГАРТЬЕ [качая головой].

Non.

ЗАРУБИНА.

Ничего не поняли?

ГАРТЬЕ [такъ-же].

Non!

ЗАРУБИНА.

Такъ зачѣмъ-же я вамъ разсказываю!.. Творецъ милостивый!.. Да какъ-же теперь? Я не могу... я не могу... Я здѣсь хоть ночь переночую, а дождусь... Сраму терпѣть—ни за что! [Задумывается.] А вотъ развѣ, вотъ что я сдѣлаю: я письменно напишу все это... и превосходно: у него тутъ и бумага, и все. [Садится къ столу.] Сейчасъ напишу. [Замѣтя на столѣ раскрытое письмо.] Это что?.. Письмо?..

Да, это отъ Ивана Кузьмича... это отъ Перетычкина, я его каракули знаю, онъ намъ счетъ представилъ за разбитый графинъ.

ГАРТЬЕ.

Mademoiselle, ce n'est pas à vous que cette lettre...

ЗАРУБИНА.

Оставьте... Я знаю, что это отъ него... Видите: Иванъ Перетычкинъ... Опять новая жалоба? [Читаетъ.]

ГАРТЬЕ.

On ne lit pas les lettres des autres...

ЗАРУБИНА [внезапно вскрикиваетъ].

Батюшки! Такъ вотъ онъ объ чемъ?! Такъ зачѣмъ-же я... [Разражается неудержимымъ смѣхомъ, такъ что подъ конецъ и Гартье, глядя на нее, смѣется.] Французикъ ты мой!.. Ничего, ты не понимаешь по-русски, миленькій... Вѣдь радость-то какая! Радость-то! Вѣдь суда не будетъ!.. Да я тебя...

[Хочетъ броситься ему на шею, но останавливается.]

ГАРТЬЕ.

Embrassez donc! ne vous gênez pas...

ЗАРУБИНА.

Что̀ я въ самомъ дѣлѣ отъ радости-то обезумѣла... Да слушайте-ка, слушайте! [Читаетъ.] «Послѣ разъясненія съ женихомъ обвиняемой, покорнѣйше прошу отдать мнѣ мою жалобу назадъ, я признаю себя удовлетвореннымъ!» Каковъ мой Васинька-то! Какъ онъ его пугнулъ! Да ты ничего не понимаешь... [Появляется Домна.]

ГАРТЬЕ.

Elle est un peu excentrique...

IV.

Тѣ-же и ДОМНА.

ДОМНА.

Ну что, матушка, объяснила?

ЗАРУБИНА.

И объяснять было нечего, все хорошо, все прекрасно... И суда не будетъ.

ДОМНА.

Ну вотъ, я тебѣ говорила, что онъ все пойметъ.

ЗАРУБИНА.

Мерси.

ГАРТЬЕ.

Je suis charmé de vous avoir été utile, quoique je ne sache pas bien—en quoi.

ЗАРУБИНА.

И хорошо, что вы ничего не поняли: пожалуй, еще насмѣхаться-бы стали надо мной; еще кому-нибудь тамъ, во Франціи у себя, разсказали-бы про все это, а я не хочу...

ГАРТЬЕ.

Elles ne manquent pas d'originalité, ces petites demoiselles russes, mais elles sont adorables.

ЗАРУБИНА.

Прощайте... [Присѣдаетъ и уходитъ.]

ЗАНАВѢСЪ.

СОДЕРЖАНІЕ.

СТРАН.
Отъ редакціи. . . . . I—IV

Allegro.

Зимнею дорогой. Стихотвореніе 111
«Я не зову тебя...» Стихотвореніе 113

К. Д. Бальмонтъ.

Изъ «Красныхъ Цвѣтовъ». Два стихотворенія 109

Кн. В. В. Варятинскій.

Fragment d' «Une année au cloitre». (Отрывокъ изъ «Года въ монастырѣ».) Переводъ стихотворенія А. Н. Апухтина на французскій языкъ. 161
L'orage (Подъ дождемъ.). Переводъ стихотворенія А. Н. Майкова . 164
«Des féeriques mots...» («Волшебныя слова...»). Переводъ стихотворенія А. Н. Апухтина 166
«C'etait à l'aube du printemps...» («То было раннею весной...»). Переводъ стихотворенія гр. А. К. Толстого. 168
«Je n'aime pas ton ironie...» («Я не люблю иронія твоей...»). Переводъ стихотворенія Н. А. Некрасова 172
«Je ne croirai jamais qu'en nos tombeaux austères...» («Нѣтъ, мнѣ не вѣрится...»). Переводъ стихотворенія К. Р. 174
«Quand je la vois venir avec espoir et crainte...» («Вижу-ль я, какъ во храмѣ смиренно...»). Переводъ стихотворенія Я. П. Полонскаго. 176
«Hier je maudissais le bonheur et les fêtes...» («Я вчера еще радъ былъ отречься отъ счастья...»). Переводъ стихотворенія С. Я. Надсона. 178
Les forçats (Колодники.). Переводъ стихотворенія гр. А. К. Толстого. 180

А. Н. Будищевъ.

Отшельникъ. Стихотвореніе 30
«Ты, какъ тѣнь, замерла на порогѣ...» Стихотвореніе 33

В. П. Буренинъ.

Перепоевъ (Изъ «Современныхъ типовъ.»). Очеркъ, сообщенный графомъ Алексисомъ Жасминовымъ 209

П. В. Быковъ.

Изъ природы. Три стихотворенія 58

В. Л. Величко.

Потомокъ Донъ-Жуана. Драматическій отрывокъ, въ стихахъ . . . 9

Гарри.

Четыре сонета. Стихотворенія 38

З. Н. Гиппіусъ. СТРАН.

«Порой всему, какъ дѣти, люди рады...» Стихотвореніе 37

П. П. Гнѣдичъ.

Завѣщаніе. Комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ 307

Гр. А. А. Голенищевъ-Кутузовъ.

На южномъ берегу Крыма. Стихотвореніе 4

В. М. Грибовскій.

Въ послѣдній разъ. Разсказъ 222

А. А. Коринфскій.

Елена-Краса (Пѣсенный сказъ.). Стихотвореніе 114
Чурила (Бывальщина.). Стихотвореніе 121
Пѣвецъ вольныхъ людей (Памяти Д. Н. Садовникова.). Набросокъ . 272

В. А. Крыловъ.

Въ минуту страха. Сцена въ 1-мъ дѣйствіи 451

В. П. Лебедевъ.

Лѣтомъ (Сонеты: I. На рѣкѣ. II. На нивахъ.). Два стихотворенія . 63
Изъ забытыхъ писемъ (Отрывки.). Стихотвореніе 65

Лейтенантъ С.

«Не выдавай своей печали...» Стихотвореніе 94
Забвенье. Стихотвореніе 96
Къ портретамъ. Два стихотворенія 97
Въ тропическую ночь. Эскизъ 441

В. С. Лихачовъ.

Изъ трагедіи Шиллера «Марія Стюартъ» (Дѣйствіе 3-е, явленіе 4-е.). Переводъ въ стихахъ 79

М. А. Лохвицкая.

Сказка о принцѣ Измаилѣ, царевнѣ Свѣтланѣ и Джемали Прекрасной. Стихотвореніе 42

А. А. Луговой.

Изъ прошлаго и настоящаго (Листки моего дневника.). Разсказъ . . 234

К. Н. Льдовъ.

«Отбросивъ земныя одежды...» Стихотвореніе 73
«Ночь умерла...» Стихотвореніе 74

В. А. Мазуркевичъ.

Дума. Стихотвореніе 128

Н. М. Минскій.

Волны (Симфонія.). Стихотвореніе. 130

Д. Л. Михаловскій.

«Водная бездна пылаетъ...» Стихотвореніе 3

П. Ѳ. Порфировъ.

Въ глуши. Пять стихотвореній 101
Акварель. Стихотвореніе 107

К. К. Случевскій.

СТРАН.
Пѣсни изъ «Уголка». Семь стихотвореній 136
Одна изъ встрѣчъ съ Тургеневымъ. Воспоминаніе 199

Н. М. Соколовъ.

Крымскіе наброски. Четыре стихотворенія 90

Вл. С. Соловьевъ.

Отрывокъ изъ одного дневника. Разсказъ 194

Ѳ. К. Сологубъ.

Заклятіе молчанья. Стихотвореніе 68
«Я вѣрю въ творящаго Бога...» Стихотвореніе 70
«Я напрасно хочу не любить...» Стихотвореніе 71
«Побѣждайте радость...» Стихотвореніе 72

Кн. Э. Э. Ухтомскій.

«Весна... Со дна души опять встаетъ смятенье...» Стихотвореніе . . 134
«Мы разлюбили...» Стихотвореніе 135

Ѳ. Ѳ. Фидлеръ.

Der Eintags-Held (Рыцарь на часъ.). Переводъ стихотворенія Н. А. Некрасова на нѣмецкій языкъ 144

К. М. Фофановъ.

Стансы. Стихотвореніе 6

Ѳ. В. Черниговецъ.

«На лазурномъ, безоблачномъ небѣ...» Стихотвореніе 7

О. Н. Чюмина.

«Порывъ безумныхъ упованій...» Стихотвореніе 75
«Міръ очарованный пѣсенъ...» Стихотвореніе 77

В. А. Шуфъ.

«Нынче печальны мы оба...» Стихотвореніе 35
Исторія одного батарда. Разсказъ 257

Н. Н. Юрьинъ.

Чернильный ядъ. Разсказъ 298

І. І. Ясинскій.

«Цвѣла, какъ сонъ, моя весна...» Стихотвореніе 133
Серьезная телеграмма. Разсказъ 187

PG 3226 .D45 1900 C.1
Dennitsa :
Stanford University Libraries
3 6105 040 612 595

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

28D APR - 9 1994
MAY 17 1994
28D NOV 11 1994
28D DEC 12 1994
28D JAN 10 1995
DOC MAY 03 1995
JUL 26 1995
DOC OCT 25 1995